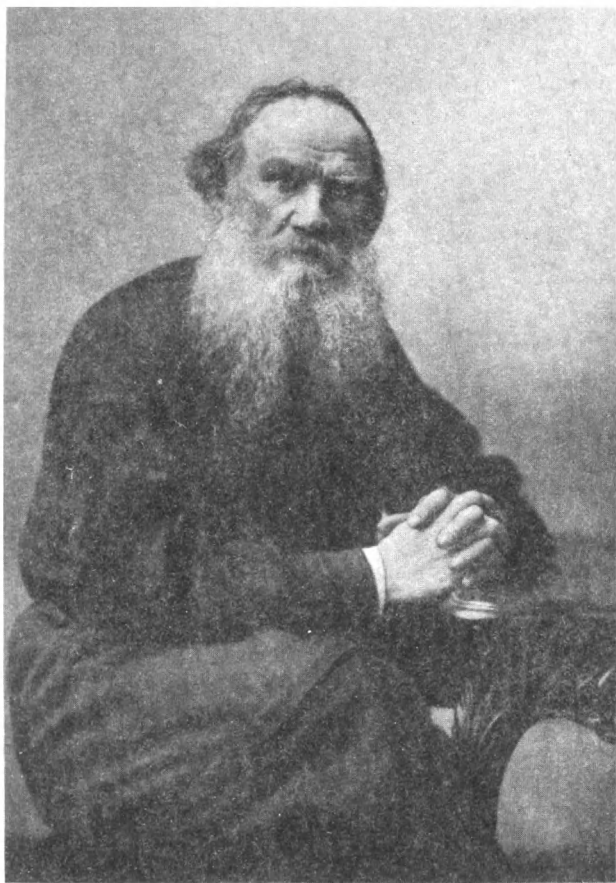


Л. Н.
ТОЛСТОЙ
ИСПОВЕДЬ



Lehrer Thasien





**Л.Н.
ТОЛСТОЙ**

ИСПОВЕДЬ

В ЧЕМ МОЯ

ВЕРА?

Л е н и н г р а д
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
1991

ББК 84.Р1
Т.53

Подготовка текста и комментарии
Г. ГАЛАГАН

Вступительная статья

А. МЕНЯ

Послесловие
А. ПАНЧЕНКО

Редактор
А. ШЕЛАЕВА

Оформление художника
В. НАБОКА

Т $\frac{4702010101-069}{028(01)-91}$ 69-91

ISBN 5-280-01355-2

© Г. Галаган. Комментарии, 1991

© А. Мень. Вступительная статья, 1991

© А. Панченко. Послесловие

«БОГОСЛОВИЕ» ЛЬВА ТОЛСТОГО И ХРИСТИАНСТВО

Из всего наследия Льва Николаевича Толстого наименее доступными широкому читателю по сей день остаются его религиозно-философские произведения. До революции их печатали за рубежом, а если они и выходили в России, то обычно с купюрами. Полностью они опубликованы в юбилейном девяностотомнике, однако он был издан мизерным тиражом и вскоре стал библиографической редкостью.

Иные, быть может, скажут: а стоит ли популяризировать эту сторону творчества писателя? Ведь она неприемлема как для атеиста, так и для церковно-верующего человека. Не лучше ли, как прежде, ограничиваться самым ценным, что оставил нам Лев Толстой: его романами, рассказами, драмами и публицистикой? А его «скучные рассуждения» о религии пусть так и останутся достоянием специалистов-историков, литературоведов...

Трудно, однако, согласиться с подобного рода «цензурным» подходом. Почему, если художественное творчество великого писателя радует и обогащает нас, мы должны проявлять равнодушие к его внутренней духовной жизни, к его исканиям, отраженным в «Исповеди» и других религиозно-философских книгах? «Как бы мы ни спорили с Толстым, — замечает критик Игорь Виноградов, — как бы резко ни отвергали его «ответы» на поставленные им «вопросы», само отношение Толстого к этим вопросам и к поискам ответов на них не может

не отозваться в нашей душе животворным катарсисом ее нравственного обновления»¹.

Нередко, сравнивая Льва Толстого и Ф. М. Достоевского, подчеркивают трагичность последнего, которая, казалось бы, так сильно контрастирует с гармонией и «полноводностью» толстовского мироощущения. Это, конечно, правда, но не вся.

Пусть для многих это покажется парадоксом — Толстой, несомненно, фигура столь же трагичная, как Достоевский. Быть может, даже в большей степени, хотя и по-своему.

Вспомним его боль от разрыва между собственной проповедью и обстановкой, в которой он жил. Вспомним непонимание близких, юродство «толстовцев» (ведь недаром он был иногда готов отречься от них). Вспомним его беспощадную нравственную требовательность к себе, сменявшуюся (особенно в молодые годы) уступками и компромиссами. Достаточно прочесть дневниковые записи Льва Николаевича, чтобы ощутить, насколько трудной и мучительной была внутренняя жизнь этого титана, пожавшего, как редко это бывает, прижизненную славу и получившего мировое признание.

В Библии рассказывается о прорицателе Валааме, который, имея намерения проклинать, помимо своей воли произнес благословение. Нечто подобное случилось и с Толстым, когда он писал «Анну Каренину». Замысел книги был «обличительный», но постепенно выяснилось, что автор не в силах занять в ней позицию грозного судьи. Однако бывало с ним и обратное.

Человек, создавший патристическую эпопею «Война и мир», он осуждал патриотизм.

Написавший бессмертные страницы о любви, о семье, он в итоге отвернулся от того и от другого.

Поборник разума, он отрицал ценность науки.

Один из величайших мастеров слова, он язвительно высмеивал все виды искусства.

¹ В и н о г р а д о в И. Критический анализ религиозно-философских взглядов Л. Н. Толстого. М., 1981. С. 3.

Богоискатель, нашедший обоснование жизни в вере, Толстой в сущности подрывал ее основы.

Проповедуя Евангелие Христово, он оказался в остром конфликте с христианством и был отлучен от Церкви. По меткому наблюдению Николая Бердяева, Толстой «был до того чужд религии Христа, как мало кто был чужд после явления Христа, был лишен всякого чувствования личности Христа»¹.

И наконец, он, поставивший во главу угла непротивление и кротость, был в душе мятежником. Ополчаясь против Церкви и культуры, он не останавливался перед самыми резкими выражениями, подчас звучавшими как грубые кощунства.

И это далеко не все противоречия, терзавшие Толстого. Но и сказанного, думаю, достаточно, чтобы ощутить, какие бури бушевали в его жизни, сознании и творчестве. Это ли не трагедия гения?..

«Исповедь» Льва Толстого, законченная им в 1881 году, — бесценный человеческий документ. В ней он, подобно блаженному Августину и Ж. Ж. Руссо, делится с читателем своей попыткой осмыслить собственный жизненный путь, путь к тому, что он считал истиной.

Впрочем, и все ранее созданное писателем тоже было своеобразной исповедью. Переживания героя «Детства», «Отрочества», «Юности», «Казачков», драма, раскрытая в «Семейном счастье», духовные искания Пьера, князя Андрея, Левина — что это, как не преломление сокровенной жизни самого автора? Особенно Левин выглядит почти двойником Толстого, и его история в романе уже содержит непосредственную прелюдию к «Исповеди».

Исходные предпосылки к созданию «Исповеди» опровер-

¹ Бердяев Н. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого // О религии Толстого: Сб. статей. М., 1912. С. 176.

гают расхожее мнение, будто человек задумывается над вечными вопросами лишь под влиянием трудностей и невзгод. Кризис настиг Льва Толстого в период расцвета его таланта и в зените успеха. Любящая и любимая семья, богатство, радость творческого труда, хор благодарных читателей... И внезапно всплывает холодный убийственный вопрос: «Зачем? Ну а потом?» Очевидная бессмысленность жизни, при отсутствии в ней внутреннего стержня, поражает пятидесятилетнего писателя, словно удар. «Жизнь моя остановилась». Это не просто оцепенение перед ужасом небытия, которое Толстой пережил в Арзамасе, а постоянный фон его существования в казалось бы счастливые 70-е годы.

Свою «Исповедь» Толстой начинает с утверждения, что, потеряв в юности веру, с тех пор жил без нее долгие годы. Справедлив ли он к себе? Едва ли. Вера была. Пусть не всегда осознанная, но была. Молодой Толстой верил в совершенство и красоту Природы, в счастье и мир, которые обретает человек в единении с ней. Здесь было кое-что и от Руссо (Толстой боготворил его), и от стихийного чувства родства со всем мирозданием. Толстовский Оленин из «Казаков» стремился к этому растворению в Бытии, а его приятель дядя Ерощка уже полностью в нем растворен. Он живет, словно зверь или птица. Смерть его не тревожит: «Умру — трава вырастет». Тот же покой растворения грезится Андрею Болконскому, когда он смотрит на старый дуб...

Но этого смутного чувства оказалось недостаточно. Звучал голос совести, подсказывая, что в одной лишь Природе не найдешь источника для нравственной силы.

Быть может, наука знает, в чем смысл жизни?

Но для науки жизнь — просто процесс, естественный процесс и больше ничего. А если так, то жить бессмысленно. Ведь в конечном счете торжествует смерть. Она-то и есть последняя и самая достоверная правда. Что бы ни происходило на Земле — все поглотит мрак. И тут — конец смыслу.

Подтверждение своему пессимизму Толстой искал и в древней, и в новой мудрости: в библейской Книге Еккле-

знаста, в изречениях Будды, в философии Артура Шопенгауэра. Все сходилось либо к побегу в бездумность, либо к радикальному отрицанию жизни. Если она лишь обман, с ней надо поскорее разделиться.

«Вопрос мой,— пишет Толстой,— тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца,— тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра — что выйдет из всей моей жизни?» Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-либо делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежно предстоящей мне смертью?»¹

Наука ответа не давала. Пессимистическая философия вела в тупик. Еще меньше можно было рассчитывать на общественные идеалы, ибо, если не знать, зачем все это, сами идеалы разлетаются в дым.

Надо сказать, что с ранних лет Толстой впитал многое из рационализма XVII—XVIII веков, для которого разум, вернее рассудок, «здравый смысл», был высшим и последним судьей во всех вопросах. От влияния рационализма писатель не освободился до конца дней; но тогда, в момент мучительного кризиса, он вдруг осознал, что «разумное знание» бессильно разрешить его вопрос.

Быть может, вера? Но в глазах Толстого она по-прежнему оставалась чем-то абсурдным. И все же, оглядываясь на других людей, он вынужден был признать, что именно она-то и наполняет их жизнь смыслом.

«Вера,— говорил себе Толстой,— есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь верит. Если б он не верил,

¹ Толстой Л. Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 23. С. 16.— Далее отсылки к этому изданию даются в тексте с указанием тома и страницы.

что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил» (ПСС, 23, 16).

Итак, без веры жить нельзя. Религиозная вера ориентирована на высший Смысл бытия. Люди называют его Богом. Он — основа и первопричина всего. Кажется, это и разуму не противоречит... «И стоило мне на мгновение признать это, — удивлялся Толстой, — как тотчас жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность, и радость бытия» (ПСС, 23, 44). Однако рационалистическая закваска немедленно заявляла о себе. Разве не известно, что вера «неразумна», что «неразумны и уродливы» её ответы на вечные вопросы, что понятие о Боге — не более чем понятие? И тогда все вокруг снова умирало и вновь надвигался призрак самоуничтожения.

В конце концов эта напряженная борьба за смысл жизни оказалась не бесплодной.

Выход был найден. Вера была принята как единственное решение. Однако с немалыми оговорками. Толстой желал, чтобы это было христианство. Но получилось нечто иное. Свое, «самодельное»...

Такой результат не случаен. Истоки его — в юности Толстого. Почти за двадцать лет до кризиса он записал в дневнике (5 марта 1855 года): «Разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — о с н о в а н и е н о в о й р е л и г и и (разрядка моя — А. М.), соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Это — целая программа, которую Толстой позднее и попытался реализовать, вполне в духе старого рационализма. Но каким образом подобный замысел мог возникнуть у человека, посвятившего себя литературе?

Здесь небесполезно вспомнить о том пьедестале, на котором находились писатели России в XIX веке. Образованное общество, утратив в значительной своей части связь с Цер-

ковью, хотело видеть в литературе «учителя жизни». Гоголь и Белинский, Писарев и Чернышевский стали для многих своего рода пророками. Поэтому роль проповедника, которую Толстой-художник взял на себя после происшедшего в нем переворота, вполне соответствовала духу времени.

Однако он хотел быть честным по отношению к «мужику», к его незатейливой органической вере, которая так восхищала писателя. И тогда он начинает эксперимент, правда немного двусмысленный. Чисто внешним образом входит в церковную жизнь: посещает храм, говеет, исповедуется, бывает у епископов и монахов. Но это вхождение было имитацией, почти игрой, и дало обратный результат.

Толстой старался насильно «смирить» себя, но волей-неволей прорывалось то, что жило в нем изначально. Он отдавал себе отчет в том, что христианство привлекает его только этикой. Все прочее казалось лишним. Писатель силился найти компромисс. «Ну что ж, — думал я, — церковь, кроме того же смысла любви, смирения и самоотвержения, признает еще и этот смысл догматический и внешний. Смысл этот чужд мне, даже отталкивает меня, но вредного тут нет ничего» (ПСС, 23, 307). Он продолжает соблюдать посты, ездит в Оптицу пустынь, где беседует со старцем Амвросием. Но трещина не уменьшается, а, напротив, скорее превращается в пропасть. Сначала Толстого неприятно поражает государственность Церкви, частое упоминание за богослужением царствующих особ. Затем в нем вспыхивает возмущение против непонятого славянского языка. Но все это были лишь первые симптомы, предварившие полную неудачу эксперимента.

Лев Толстой отказался от Церкви, в сущности так и не узнав ее. Вникать в дух христианского подвижничества у него не было желания. Уже незадолго до смерти, когда он был у своего соседа по имени Митрофана Лодыженского, выяснилось, что ему незнакомо «Добротолубие», классический памятник православной аскетики. Это тем более удивительно, что в этом обширном сборнике, создававшемся многие века, одно из центральных мест отведено нравственным вопро-

сам, столь занимавшим Толстого. Правда, как говорит Лодыженский, секретарь Толстого Бирюков утверждал, что «Добролюбие» есть в яснополянской библиотеке, но всем стало ясно, что Лев Николаевич его не читал¹. Не пошел он и по пути своего современника, знаменитого хирурга Пирогова, который стал христианином, не утратив своих научных убеждений. Рационализм Толстого был старомодным. Он противился глубокой и сложной христианской мысли. Разум оставался для него здравым смыслом. Писатель не замечал, что здравый смысл едва ли оправдает и ту «очищенную религию», создать которую ему хотелось.

Были ли в то время церковные богословы, которые смогли бы вступить в диалог с Толстым? Были. Но они принадлежали к другой культуре, во многом чуждой его привычному кругу. «Он сам, — вспоминает брат Софьи Андреевны, — сознавался в своей гордости и тщеславии. Он был завзятый аристократ и, хотя всегда любил простой народ, еще больше любил аристократию. Середина между этими сословиями была ему несимпатична»². А именно к этой «середине» и принадлежало духовенство.

Но ведь православная мысль не исчерпывалась в то время «присяжным» школьным богословием. Уже были и Чаадаев, и Киреевский, и Хомяков. Еще в 1875 году Толстой познакомился с Владимиром Соловьевым — восходящей звездой русской религиозной философии. Он тоже прошел через неверие и духовный кризис, тоже искал смысл жизни, но исход его поисков был иным. Как и Толстой, он признавал права разума, но разума в гораздо более широком и емком смысле. И такой разум привел его к Церкви. Поэтому цель своих трудов Соловьев определял так: «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания»³. Разум

¹ Лодыженский М. Свет незримый. Пг., 1915. С. 233.

² Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 1. С. 183.

³ Соловьев В. Собр. соч. СПб., 1911. Т. 4. С. 243.

стал не помехой, а помощником Соловьева в осмыслении веры.

А Толстой? Как он отнесся к этому? Как он, поборник «разумения», встретил идеи христианского философа?

Журналист Владимир Истомин описывает их беседу в Ясной Поляне. Дело происходило в том самом 1881 году, когда была закончена «Исповедь» и когда Соловьев работал над «Духовными основами жизни».

«Лев Николаевич, — пишет Истомин, — решительно ставил свои положения и затем стремительно развивал их и доводил до возможного конца... В.С.Соловьев возражал обыкновенно вторым, и нельзя было не любоваться его выработанной, строго научной системой возражения. Соловьев оставался непоколебимым исповедником св. Троицы и, несмотря на свои молодые годы (ему еще не было тогда тридцати лет), поражал неумолимую логику и убедительностью. В нем несомненно соединялись выдающиеся умственные дарования со строго научной европейской отделкой. Это был не философ-дилетант, а представитель науки, как бы одетый в бранные доспехи своего знания... Странно было с первого раза видеть могучую широкоплечую фигуру как бы степного наездника Толстого, точно сдавливаемую изящными стальными кольцами соловьевского знания. В первый раз в жизни я увидел Льва Николаевича не торжествующим, не парящим сверху, а останавливаемого в своем натиске. Только скромность В. С. Соловьева, как бы не замечавшего своего торжествующего положения, сглаживала всеобщую неловкость»¹.

Толстой, разумеется, оставался при своем. Оказалось, что дело вовсе не в разуме, а в воле, в ее направлении у человека, давно задумавшего создать новую религию. Но по-прежнему он хотел, чтобы она называлась христианской.

¹ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 1. С. 246—247.

Между «Исповедью» и книгой «В чем моя вера?» были написаны «Исследование догматического богословия» и перевод Евангелия. Цель этих двух трудов была недвусмысленной: изобличить «ложное церковное христианство» и утвердить «истинное его понимание». Критика велась опять-таки с позиции «здорового смысла». От церковного вероучения требовалось, чтобы оно отвечало элементарным законам рассудка. А поскольку этого не было и быть не могло, Толстой с триумфом ниспровергал его.

Итак, Предание Церкви, ее философия, ее символика, ветхозаветная часть Библии были отменены. Оставалось Евангелие. В нем-то и намеревался Толстой найти сущность христианской веры.

Хотя он часто говорил, что не хочет толковать Евангелие и даже запретил бы такое толкование, в своем переводе он идет куда дальше вольного парафразы. Он откровенно насилует текст, выбрасывает из него все, что не совпадает с его собственными идеями, прямо искажает смысл написанного.

Читать толстовский перевод необыкновенно поучительно, тем более что он помещает параллельно оригинал и традиционный синодальный перевод. Натяжки и произвольность этого парафразы, состоящего главным образом из нравственных речений Христа, настолько очевидны, что переводчик даже не пытается их затушевать. Филолог И. М. Ивакин, помогавший Толстому, пишет: «С самого первого взгляда мне показалось, что, начиная работать над Евангелием, Лев Николаевич уже имел определенный взгляд. Научная филологическая точка зрения если не была вполне чужда ему, то во всяком случае оставалась на втором, даже на третьем плане»¹.

¹ Ивакин И. Воспоминания о Ясной Поляне // Лит. наследство. 1961. Т. 69. Кн. 2. С. 21—124.

Иисус Назарянин был для Толстого только моралистом, подобным Сократу. Но подлинные источники такого Христа не знают. Чтобы понять, насколько толстовский взгляд отличается от того, что мы находим в Евангелии, уместно прислушаться к современнику писателя князю Сергею Трубецкому. Первоклассный историк, независимый мыслитель, Трубецкой отнюдь не был «присяжным богословом». В своих трудах он убедительно показал, что Евангелие Иисуса Христа есть не набор моральных правил, а провозвестие новой жизни, нового высшего Откровения Творца, которое явлено миру через Его Сына. Христос устанавливает Новый Завет, то есть новый Союз между землей и Небом. В историю входит таинственная сила, которая постепенно ведет ее к преображению, к выходу за пределы несовершенного земного бытия.

Говоря о Нагорной проповеди Иисусовой, которую Толстой считал стержнем Евангелия, Трубецкой справедливо указывал, что она едва ли может характеризоваться как чисто «этическая» проповедь. Он писал: «Не подлежит никакому сомнению, что Христос не принес никакого нового метафизического, философского учения. Но в то же время Он едва ли может быть признан «этиком» или «моралистом» в общепринятом смысле слова. Давно замечено, что отдельные нравственные правила Христа, хотя и не в такой идеальной полноте и чистоте, находились частью в учении еврейских учителей и пророков, частью в морали языческих философов»¹.

Сущность христианства, сущность Евангелия — в тайне самой личности Иисуса Христа. Он не ищет истину, как другие мудрецы, а несет ее в самом Себе. «Это единственное в истории, — пишет Трубецкой, — соединение личного самосознания с богосознанием, которое мы находим только в Нем и которое составляет самое существо Его, не может быть объяснено влиянием Его среды»². Человек волен при-

¹ Трубецкой С. Собр. соч. М., 1908. Т. 2. С. 140.

² Трубецкой С. Учение о Логосе в его истории. М., 1906. С. 379.

нять самосвидетельство Христа или отвергнуть его, ибо он создан свободным существом. Но это самосвидетельство «не продукт, а начало христианства». Без него оно исчезает, растворяется в морализме.

Толстой остается глухим к этому центральному провозвестию Евангелия. Христианство было для него одним из учений, ценность которого лишь в тех этических принципах, которые роднят его с другими религиями. Поэтому-то и личность Христа оказывалась в его глазах чем-то второстепенным.

Максим Горький, вспоминая о встречах с Толстым, пишет: «Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О Буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя — иногда — любит им, но едва ли любит»¹. Эти наблюдения Горького вполне подтверждаются тем, что и как писал сам Толстой о Христе. Поразительно, что он, учивший добру, уважению к человеку, допускал оскорбительные выпады по отношению к Святому и Дорогому для миллионов людей. Такого мы не найдем даже у либеральных протестантов, которые, как и Толстой, считали Христа лишь Учителем веры и жизни.

Бог для Толстого — это не Бог Евангелия, не Личность, которая может открываться людям, а туманное пантеистическое Нечто, живущее в каждом человеке. Станным образом это Нечто является и Хозяином, велящим поступать нравственно, творить добро и уклоняться от зла. Странность заключена в том, что непонятно, как безличное начало способно давать столь конкретные повеления.

Лев Толстой сам сознавал неясность и двусмысленность своей «теологии». В конце жизни он записал в дневнике (30 июля 1906 г.): «Есть ли Бог? Не знаю. Знаю, что есть

¹ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 464.

закон моего духовного существа. Источник, причину этого закона я называю Богом».

Недаром его так тянуло к пантеистическим доктринам, к идее «универсальной религии», которая смогла бы смешать все остальные в аморфное, бескровное единство. Собственно, эта религия и была той, о которой он мечтал еще в юности.

Евангелие ценно для Толстого только потому, что содержит зерна «универсальной религии», зерна, рассеянные по всем священным книгам и писаниям мудрецов.

В трактате «В чем моя вера?» мы читаем: «Учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей (разрядка моя. — *А. М.*). В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа. Христос говорит: не сердись, не считай никого ниже себя, — это глупо. Будешь сердиться, обижать людей, — тебе же будет хуже. Христос говорит еще: не бегай за всеми женщинами, а сойдись с одной и живи, — тебе будет лучше. Еще он говорит: не обещайся никому ни в чем, а то заставят тебя делать глупости и злодейства. Еще говорит: за зло не плати злом, а то зло вернется на тебя еще злее, чем прежде, как подвешенная колода с медом, которая убивает медведя. И еще говорит: не считай людей чужими только потому, что они живут в другой земле, чем вы, и говорят другим языком. Если будешь считать их врагами и они будут считать тебя врагом — тебе же будет хуже. Итак, не делай глупостей, и тебе будет лучше» (ПСС, 23, 423—424).

Такого рода мораль, да еще с утилитарным оттенком, нетрудно вылущить из многих систем и доктрин. Но Толстой настаивал, что это и есть основа Евангелия — истинное христианство.

Под его знаком Толстой поднимает поистине титанический мятеж против всей культуры и цивилизации в целом.

Опущение, почти аскетическое, отрицание всех общественных институтов, всего наследия искусства, науки и, разумеется, Церкви. Находя ценное ядро в любых верованиях, Толстой делал исключение лишь для церковного христианства, которое неустанно и яростно клеймил.

Евангелие говорит о бесконечной ценности человеческой души. Для Толстого личность — лишь временное и преходящее проявление безличного Божества.

«Учение Христа, — говорит Толстой, — есть учение о сыне человеческом, общем всем людям, то есть об общем всем людям стремлении к благу и об общем всем людям разуме, освещающем человека в этом мире... Прежде и после Христа люди говорили то же самое: то, что в человеке живет божественный свет, сошедший с неба, и свет этот есть разум, — и что ему одному надо служить и в нем одном искать благо» (ПСС, 23, 380—381).

Все это мало похоже на Евангелие, и тем более на христианство Нового Завета в целом. Это скорее Восток, причем Восток Дальний, Китай. Конфуций, Мен-цзы, Лао-цзы, которых Толстой так ценил. Немного из буддизма. Если и было у толстовской метафизики что-то не от Востока, взято оно было не столько из христианства, сколько у стойков или морализующих деистов и пантеистов XVII века.

Но строго говоря, ничьим «последователем» Лев Толстой не был. Он был сам по себе. Прочитанное он всегда приводил в согласие со своими идеями.

Вот и разрешается маленькая загадка его «Круга чтения»: почему древние китайцы и Марк Аврелий, Кант и Амиель поют у него в унисон, вторя Льву Николаевичу. Неутомимый творец, работник, создатель целых миров, он словно топором обтесывал их по своей мерке, как обтесывал и Евангелие. Не удивительно, что все они после этого оказываются в толстовской одежде, излагают мысли Толстого.

Историк литературы Д. Н. Овсяннико-Куликовский как-то сказал, что Толстой хотел быть религиозным реформатором, но судьба дала ему вместо мистического дара — литературный. И действительно, когда он от рассказов о своих внутренних исканиях и муках переходит к теоретическому изложению своей веры, его, в сущности, постигает неудача. Эти похожие, как близнецы, повторяющие друг друга трактаты представляют собой «единственную мель в море Толстого», как выразился один критик. Николай Бердяев, с благоговением относившийся к создателю «Войны и мира», признавал, что «всякая попытка Толстого выразить в слове — логизировать свою религиозную стихию порождала лишь банальные серые мысли»¹.

Это едва ли случайно. Неудача Толстого лишь доказывает, что религии искусственно не создаются, не изобретаются.

Не потому ли он, вопреки своему тайному замыслу, отлучившись от «толстовства» и продолжал твердить, что проповедует не свое учение, а Евангелие?

Здесь кроется основная причина его конфликта с Церковью, его отлучения Синодом. Членам тогдашнего церковного руководства не пришло бы в голову отлучать, скажем, откровенных атеистов вроде Писарева или Чернышевского, отлучать российских мусульман или буддистов. Они и так со всей очевидностью находились вне христианства. Известен даже случай, когда математик Марков сам добивался отлучения, поскольку был неверующим.

С Толстым дело обстояло иначе.

Он не только ожесточенно, оскорбительно, забыв об элементарном такте, писал о таинствах Церкви, о ее учении, но утверждал, что является христианином, что только его взгляд на понимание христианства истинен.

¹ Бердяев Н. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого // О религии Толстого: Сб. статей. М., 1912. С. 173.

Вскоре после того, как было обнародовано «определение» Синода, епископ Сергей Страгородский (будущий Патриарх) заявил: «Его не надо было отлучать, потому что он сам сознательно отошел от церкви»¹. И все же отлучение совершилось. Как бы ни оценивать текст самого «определения» Синода, совершенно очевидно, что Церковь должна была как-то ответить на притязания Толстого. Со всей ясностью показать, что она не может согласиться с его пониманием Евангелия.

Хотя Толстой в своем «Ответе Синоду» и обрушился на синодальное «определение», он все же должен был честно признать его правоту. «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной,— писал он,— это совершенно справедливо»².

Иными словами, Толстой подтверждал, что Синод лишь констатирует реальное положение вещей...

Разрыв действительно оказался глубоким.

Речь шла не о частностях и не об оттенках интерпретации Евангелия, а о самой сущности христианских убеждений.

Напомним, что еще прежде, чем в лоне Церкви были написаны четыре Евангелия, она исповедовала Иисуса Христа как высшее самооткровение Бога и Его воли. Бога, постигаемого как личностное Начало. Евангелисты жили этой верой. Между ней и взглядом Толстого, который видел в Христе просто проповедника, учившего «не делать глупостей», компромисс невозможен.

Здесь отступают на второй план особенности толстовского понимания этики Евангелия, идея непротивления, отказ от ценностей культуры и цивилизации. Более того, лишь в этой сфере оставалось некоторое пространство для диалога или даже примирения.

Поэтому и полемика, которую вызвало учение Льва

¹ Записки Петербургских религиозно-философских собраний (1902—1903). СПб., 1906. С. 31.

² Толстой Л. Царю и его помощникам: Ответ Синоду. Берлин, [б. д.]. С. 22.

Толстого, по большей части вращалась вокруг его практической стороны. Вокруг того, что можно было обсуждать, не затрагивая главной темы.

Многие критики справедливо указывали, что в реальных условиях любое общество погигло бы, отказавшись защищать себя от внешних врагов или преступников. «Руссоизм» Толстого, его «опрощение», вызывал подчас самую неожиданную реакцию. Известный протестантский историк Церкви Адольф Гарнак писал о Толстом: «Тысячи наших «интеллигентов» интересуются его рассказами, но в глубине души они успокоены и обрадованы тем, что христианство означает отрицание мира: теперь они наверное знают, что им до него дела нет. Они ведь с полным правом уверены, что этот мир дан им для того, чтобы приложить свои силы в пределах его благ и его учреждений и законов; если христианство требует другого, то его противоестественность доказана»¹.

Лишь немногие отчетливо видели, что Толстой механически перенес нравственные заповеди, обращенные к личности, на весь общественный порядок. А полной аналогии, полного соответствия здесь быть не может.

Так, древняя заповедь «око за око, зуб за зуб» была юридическим правилом, законом справедливости. Христос же призывает человека, в его индивидуальной жизни, возвыситься над справедливостью во имя высшего закона прощения. Таков смысл слов о щеке, подставленной обидчику.

В древности у всех народов месть рассматривалась как священный долг. Согласно же Евангелию, величие духа заключается в том, чтобы воздать добром за зло. Острота и парадоксальность формы, в которой выражена эта заповедь Иисусова, вполне гармонирует с другими Его высказываниями: например, что верблюду легче пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царство Божие, или что обрядовер-фарисей, отцеживая комара, проглатывает верблюда (то есть упускает основное, заботясь о второстепенном).

¹ Гарнак А. Сущность христианства // Общая история европейской культуры. СПб., 1910. Т. 5. С. 69.

Почти все соглашались с Толстым, считавшим, что социальный порядок будет преобразоваться по мере оздоровления личной нравственной жизни людей. Но оппоненты Толстого ясно видели, что личная этика неизбежно опережает социальную, которая вынуждена следовать более примитивным законам. Если отдельный человек лично может простить того, кто причинил ему зло, то социальный закон в этом несовершенном мире должен оставаться на принципах справедливости.

Заповедь Иисусова «не судите» относится отнюдь не к юриспруденции, как утверждал Толстой, отвергавший суд, а к мыслям и чувствам личности, к осуждению как нравственному акту. Судопроизводство же по-своему нравственно лишь тогда, когда исходит из незыблемости закона, из правового сознания. Оно имеет дело не столько с внутренним миром человека, с его моралью, сколько с последствиями нравственного зла, проявления которого вынуждено пресекается.

Что же касается войны, то любой христианин признавал ее злом. Однако, как показал Вл. Соловьев в своей полемике с Толстым, именно с нравственной точки зрения было бы грехом оставить беззащитных во власти насильника. Поэтому и Церковь издавна не отказывала воинам в благословении. Повторяю, тут речь идет опять-таки не о личной, а о социальной этике. И хотя хорошо, когда дистанция между ними сокращается, может ли она полностью исчезнуть?

И, наконец, толстовская концепция опрощения, отказа от культуры. Разумеется, в культуре, как и во всем, что созидает человек на земле, есть немало темного и болезненного. Сегодня уже никто не сомневается в том, что цивилизация несет в себе силы губительные, порабащивающие человека. Но нельзя из-за этого закрывать глаза на положительные стороны культуры и цивилизации, выплескивать, как говорится, ребенка с водой.

Евангелие сложилось в определенных культурных традициях; и вся история христианства неразрывно связана с твор-

чеством, с искусством. И, если продолжить аналогию, само учение Толстого не есть ли феномен культуры?

Опрошение чревато опасностями не в меньшей степени, чем бурный рост цивилизации. «История, — писал русский богослов Борис Титлинов, — представляет нам примеры народов, спускавшихся книзу по ступеням культуры, — и всегда это падение культурного уровня сопровождалось духовным огрублением»¹.

Человечество, наносящее себе раны, призвано и исцелять их, ориентируясь на высшие духовные ценности. Но это далеко от культурного нигилизма. Возрождение духа едва ли будет возможным на пути самоотрицания культуры.

Как бы то ни было, указанные темы остаются дискуссионными, даже если и не покидать почвы христианства, его центральной веры. Поэтому именно в нравственной проповеди Толстого следует искать наиболее ценные, непреходящие элементы его учения.

Приведу один любопытный факт, который невольно заставляет задуматься.

Когда в 1884 году Лев Толстой пытался напечатать книгу «В чем моя вера?», еще мало кто знал о его «богословии». Рукопись была передана в духовную цензуру. И против всех ожиданий, вначале ее расценили положительно. Как писала Софья Андреевна мужу, председатель цензурного комитета архимандрит Амфилохий прочел рукопись и сказал, что «в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он со своей стороны не видит причины не пропустить ее»².

Толстого это сообщение очень обрадовало. «Ничье одобрение мне не дорого было бы, как духовных», — писал он,

¹ Титлинов Б. «Христианство» гр. Л. Н. Толстого и христианство Евангелия. СПб., 1907. С. 179.

² Толстая С. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936. С. 246.

отвечая Софье Андреевне (ПСС, 83, 418). Но все же он предполагал, что книгу скорее всего запретят. И оказался прав.

Что же произошло?

Причины цензурного запрета понять нетрудно. А вот отзыв архимандрита, если он достоверен, вызывает недоумение.

Допустим, что Амфилохий просто невнимательно читал рукопись (вероятно, так и было). Но все же остается вопрос: чем могла эта книга привлечь православного архимандрита, пусть и не заметившего ее антицерковной направленности? Более того, достоверно известно, что ряд духовных лиц с интересом и даже с одобрением отнеслись к идеям Толстого.

По-видимому, главную роль здесь сыграла та серьезность и ответственность, с какими подошел Лев Николаевич к евангельской этике. То, с каким энтузиазмом и вдохновением стремился он вернуть ей подобающее место в христианском обществе. В этом пункте и Вл. Соловьев и другие церковные мыслители могли протянуть ему руку.

Толстой, в сущности, был глубоко прав, называя христианство практическим учением. Кто бы осмелился свести Евангелие к отвлеченной метафизике? То, что человек сделал для другого человека, — он сделал для Бога. Таков Завет Христов, выраженный в 25-й главе Евангелия от Матфея. Не это ли подразумевал апостол Павел, когда говорил о «вере, действующей любовью»?

Прав был Толстой, обличая христиан в забвении важнейших нравственных заповедей Евангелия, которые многим казались неосуществимыми и далекими от жизни. Прав был он и в том, что настаивал на сближении общественного порядка с христианским идеалом.

Современный критик Лев Анненский как-то заметил, что у Толстого было, вероятно, предчувствие надвигающейся эпохи «большой крови». И в самом деле, он умер за несколько лет до первой мировой войны, положившей начало потоку социальных и нравственных катастроф, потрясших человечество. Как тонкий психолог, он не мог не ощущать атмосферы

напряженности и зла, которая постепенно и незаметно окутывала народы, не подозревавшие о близких бурях. Выступая со всей резкостью против войн, жестокости, распутства, несправедливости, Толстой интуитивно чувствовал, что ждать больше нельзя, что необходимо поставить преграду разрушительным силам. И в этом смысле он оказался провидцем.

Не случайно, что в 20-е годы противники милосердия и ненасилия больше всего ополчались именно на эту этическую сторону проповеди Толстого, заявляя, что «практика толстовщины становится хуже ее теории, несравненно враждебнее рабочему классу»¹.

Реалисты, пожалуй, спросят: а мог ли проповедник ненасилия рассчитывать на успех своей проповеди? Ответ лишь один: нравственный идеал потому-то и является идеалом, что превосходит эмпирическую жизнь, данное состояние общества. Впрочем, в какой-то мере положительный ответ на этот вопрос сумел дать Махатма Ганди, положивший многие нравственные идеи Толстого в основу своей политической деятельности.

Трагедия Толстого — это трагедия человека, не избавившегося от гипноза рассудочности, от рационализма. Но несмотря на это, его религиозно-философские писания могут нас многому научить. Толстой напомнил человеку, что он живет недостойной, унижительной, извращенной, суетной жизнью, что народы и государства, называющие себя христианскими, отодвинули на задний план нечто исключительно важное в Евангелии.

Пусть религия Толстого объективно не может быть отождествлена с религией Евангелия; остается бесспорным вывод, к которому он пришел, пережив внутренний кризис. Этот вывод гласит: жить без веры нельзя, а вера есть подлинная основа нравственности.

¹ Лев Толстой как столп и утверждение поповщины: Сб. полезных материалов. М., 1928. С. 4.

Случись так, что Толстой не отвернулся бы от веры в Богочеловечество, от Церкви, его проповедь могла бы обрести бесконечно бóльшую силу воздействия. Вместо разрушения она принесла бы созидание. Но произошло иное.

Тем не менее и неверующий, и церковный христианин, которые не могут (хотя и по разным причинам) принять его «богословия», должны согласиться, что Толстой поистине стал голосом совести России и мира, живым упреком для людей, уверенных, что они живут в соответствии с христианскими принципами. Его нетерпимость к насилию и лжи, его протесты против убийств и социальных контрастов, против равнодушия одних и бедственного положения других составляют драгоценное в его учении.

Приходится признать, что как художник он сделал в этом направлении гораздо больше, чем как теоретик. Но и мир его теорий, его философия не должны оставаться вне нашего внимания.

Вскоре после смерти отлученного от Церкви писателя Сергей Булгаков, тогда уже православный христианин, а позднее священник и богослов, писал: «Даже и теперь трудно отказаться от чувства как бы церковной связи с ним, и, думается мне, это чувство не приходит в противоречие с духом Церкви и любви церковной... Ведь нельзя забывать, что деятельность Толстого относится к эпохе глубокого религиозного упадка в русском обществе. Своим влиянием он оказал и оказывает положительное влияние в смысле пробуждения религиозных запросов»¹.

Важно увидеть это значение Льва Толстого, разглядеть его через туман упрощенной метафизики толстовства. Ведь даже в ошибках великих людей можно найти урок и творческий элемент. И этим уроком и творческим элементом были у Толстого призыв к нравственному возрождению, к поискам веры.

¹ Булгаков С. Л. Н. Толстой // О религии Льва Толстого. М., 1912. С. 12.

Тем, кто начинает читать религиозно-философские книги Толстого, хочется в качестве ориентира привести слова известного публициста и общественного деятеля А. Ф. Кони, познакомившегося с Толстым в 1887 году.

«Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идет на водопой лев и наполняет своим рыканием пустыню. Ему отвечает жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо — пустыня оживает. Так бывало и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия»¹.

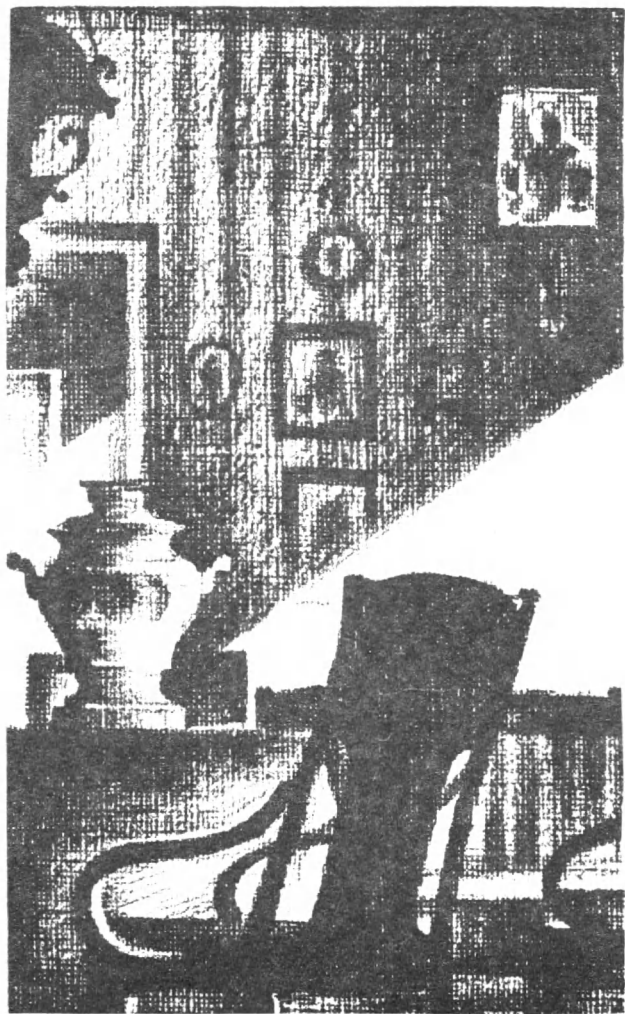
Это образное, но довольно точное изображение места, которое занимают в истории культуры духовные поиски Льва Толстого.

Протоиерей Александр Мень

¹ Кони А. Лев Николаевич Толстой // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 196.



ИСПОВЕДЬ



ИСПОВЕДЬ

(Вступление к ненапечатанному сочинению)

I

Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали предо мной большие; но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все,

и даже старшие, не переставая, поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие

и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтоб он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что

есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди — самые коренные неверующие, потому что если вера для них — средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя — то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, — единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенство-

вание. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, — я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю — составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоцряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, то есть желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, то есть славнее, важнее, богаче других.

II

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни — и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любо-страстие, гордость, гнев, месть — все это уважа-

лось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»¹; еще другого счастья она желала мне — того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья — того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

¹ Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной (фр.).

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих со товарищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, и из людей мысли главное влияние имеем мы — художники, поэты. Наше призвание — учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, — в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я — художник, поэт — писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать; что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы — самые хоро-

шие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы — настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали; плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни — но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, — от чина художника, поэта, учителя — я не отрекся. Я наивно воображал, что я — поэт, художник и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок — до болезненности развивавшуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно — возникает именно то самое чувст-

во, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать — как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, — мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы все еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевным рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того, чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы — очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за

то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы — самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, — стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, — называл всех сумасшедшими, кроме себя.

III

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, в которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: житьсообразно с прогрессом, — говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «Куда держаться?» — если он, не отвечая на вопрос, скажет: «Нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидел, как голова отделилась от тела, и то и другое врозь застучало в ящике, я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. «Все развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь

я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят.

В сущности же я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть — учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел

в пятьдесят лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и обещававшей мне спасение: это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же — в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, — бросил все и поехал в степь к башкирам — дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше.

Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было еди-

ной истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? ну а потом?

Сначала мне казалось, что это так — бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что, если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, — что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая всё на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это — смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это — не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Во-

просы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским именем, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю — зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

IV

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила

мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это — обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти — полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела — какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употребить против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не

знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на поклонах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми-десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, производя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30—40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь,

совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, — как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...»

Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче — завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить — вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто — жестоко и глупо.

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши,

одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь — день и ночь — подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно — неизбежного дракона и мышей, — и не могу отвести от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, — я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно — истина. Остальное все — ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, — любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, — уже не сладки мне.

«Семья...» — говорил я себе; но семья — жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем

же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, — всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина — смерть.

«Искусство, поэзия?..» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это — дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все — и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидел, что и это — обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, — отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить, — зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней — комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни — потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, — игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что

жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это — мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, — знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

V

«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? — несколько раз говорил я себе. — Не может же быть, чтоб это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, — искал, как ищет погибающий человек спасенья, — и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я,

искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние — бессмыслица жизни, — есть единственное несомненное знание, доступное человеку.

Я искал везде, и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по связям своим с миром ученых, мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах, — я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волей-неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои — одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы.

Вопрос мой — тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, — тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, — что выйдет из всей моей жизни?»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

На этот-то один и тот же различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один — отрицательный, другой — положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни.

Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы: это — ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него: это — ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке — метафизика.

С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, который дает знание.

То, в области опытной, я говорил себе: «Все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты — часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом,

и самого себя». Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопросов моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился — я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, — и я увидел, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, — это значит ничего не сказать. Все это — слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни передела, ни зада, ни лучше, ни хуже.

Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? — оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пы-

таются давать решения на вопросы жизни, — к физиологии, психологии, биологии; социологии, — то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою. Если обратишься к отрасли знаний, не занимающихся разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, то восхищаешься силой человеческого ума, но знаешь вперед, что ответов на вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся; а вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношение чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на все это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы».

Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так. Вопрос: зачем я живу? — Ответ: в бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.

То, в области умозрительной, я говорил себе: «Все человечество живет и развивается на основании духовных начал, *идеалов*, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я — часть человечества, и потому призвание мое состоит в том,

чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, — странность, чтобы не сказать — глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое», или: «зачем я живу», или: «что мне делать», — человек должен прежде разрешить вопрос: «что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя.

Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунуки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие

вопросы. Полунауки этой области — науки юридические, социальные, исторические — пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему, разрешают вопрос жизни всего человечества.

Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени и сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторические, и получается чепуха.

Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И наоборот, умозрительная наука — тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука,

составляющая полюс этой полусферы, — метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? и зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет?.. И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она — истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я и весь мир?» — «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем существую я?» — «не знаю».

Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ, — и не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.

VI

В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек.

Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но увидал, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидал мрак, и тоже нет и нет дома.

Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился наконец в том, что выхода нет и не может быть.

Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос.

Ну, я знаю, говорил я себе, все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе: Какой смысл моей жизни?— Никакого. Или: Что выйдет из моей жизни?— Ничего. Или: Зачем существует все то, что существует, и зачем я существую?— Затем, что существует.

Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колеба-

нии бесконечно малых невесомых частиц эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? — был один: ты — то, что ты называешь твоей жизнью, ты — временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; потом взаимодействие этих частиц прекратится — и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты — случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек расскочится — и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний и ничего другого не может сказать, если только она строго следует своим основам.

При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.

Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами.

Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь

балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять так же неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, что там — развитие всего, а здесь — жизни людей. Неправильность одна и та же: развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.

Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами, — там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же — ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой.

«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, — говорит Сократ, готовясь к смерти. — К чему мы, любящие истину, стремимся в жизни? К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»

«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».

«Познавши внутреннюю сущность мира как волю, — говорит Шопенгауэр, — и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоян-

ное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная его форма — субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (*Wille zum Leben*), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так боимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить, — означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, *есть ничто*».

«Суета сует, — говорит Соломон, — суета сует, — все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род переходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклезиаст, был царем над израиелем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим,

чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа... Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это — томление духа. Потому что во mnogой мудрости много печали; и кто умножает познания — умножает скорбь.

Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием и насладюсь добром; но и это — суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела: построил себе дома, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревьев; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселия. И оглянулся я на

все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, — к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это — суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все — суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это — суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего...

Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не

знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.

А вот что говорит индийская мудрость.

Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выпрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это — болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он видит, что несут что-то. «Что это?» — «Мертвый человек». — «Что зна-

чит мертвый?» — спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. «Что же будет с ним дальше?» — спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. «Зачем?» — «Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви». — «И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» — «Да». — «Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше».

И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь — величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость.

Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», — говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно бы быть, — зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни», — говорит Шопенгауэр.

«Все в мире — и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе — все суэта и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», — говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя — надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», — говорит Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.

Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума, — напротив, оно подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества.

Обманывать себя нечего. Все — суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее.

VII

Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей — таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда — большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди — еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шо-

пенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лизут капли меда. Но они лизут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и — конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход — это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попало много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое... Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это — доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый

дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, — неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче-завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидал их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезда на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмыслен-

ность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно — поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я не видал еще иного. Один выход: не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход — пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход: поняв, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то все еще не убивал себя. Четвертый выход — жить в положении Соломона, Шопенгауэра — знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.

Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей

мудрых, приведших нас к признанию бессмысленности жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.

Оно было такое: Я, мой разум — признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы и моего разума, — стало бы, разум есть сын жизни. Жизнь есть все. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает саму жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, говорил я себе. Но я жил, живу еще, и жило и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить?

Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?

Рассуждение о тщете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни?

Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете — органическое и неорганическое — все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки — огромные массы простых людей — ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!

И мне приходило в голову: а что, как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит.

Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица, и не могу жить.

Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя — и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывающая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.

Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писанной торбой?

Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Все же человечество, делающее жизнь, миллионы — не сомневаются в смысле жизни.

В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это — плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь

и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они — бессмыслица! «Тут что-то не так,— говорил я себе. — Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог найти.

VIII

Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, то есть чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сот-

нями подобных мне людей не есть все человечество, что жизни человечества я еще не знаю.

Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших и живых, это — *так*, какие-то скоты — не люди.

Как ни странно, ни невероятно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «Да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»

Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам — самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей

меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, — это повеситься, я чувал, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидел совершенно другое. Я увидел, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их складывается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество — признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог откинуть. Это Бог

1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере — ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.

IX

Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания.

Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот: зачем мне жить, то есть что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучил жизнь.

Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому

что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.

Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.

В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: $a = a$, или $x = x$, или $0 = 0$. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всею наукой на этот вопрос, — только тождества.

И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта — и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, — ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ — ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго

выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тождество: $0 = 0$, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.

Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? — ответ: по закону Божию. — Что выйдет настоящего из моей жизни? — Вечные мучения или вечное блаженство. — Какой смысл, не уничтожаемый смертью? — Соединение с бесконечным Богом, рай.

Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное — вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.

Разумное знание привело меня к признанию

того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидел, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.

Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидел одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.

Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, — смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит — в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к Богу (надо определить веру, а потом Бога, а не через Бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, — вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.

И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнивалось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было ненужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что $0 = 0$, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.

Что такое я? Часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса — вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?

Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понятно, что для решения этого вопроса одинаково недоста-

точно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.

Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия Бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.

Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.

Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, — разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, — это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.

Понятия бесконечного Бога, божественности души, связи дел людских с Богом, понятия нравственного добра и зла — суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.

Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря

на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, — а я так люблю все разумное, — то надо уничтожить жизнь и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет $0=0$, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.

Х

Я понимал это, но от этого мне было не легче.

Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.

Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни.

Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, — я видел, что то, что выдавали

они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, и для каких-то других, чуждых мне целей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.

Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, — не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.

Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета,

болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видел такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.

И я понял, что вера этих людей — не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того, чтобы все человечество могло жить, для того, чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни.

И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем unnecessary им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе

представить их жизни без этих суеверий,— они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — добро. В противоположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти, и страдают с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противоположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем кругу, смерть беспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей,

лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, — многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я взгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противоположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.

И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства — все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысла в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.

XI

И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно

этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, — я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, — был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь — жизнь потворства похоти — была бессмысленна и зла, и потому ответ: жизнь зла и бессмысленна — относится только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже — разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как $2 \times 2 = 4$, но я не при-

знавал ее, потому что, признав $2 \times 2 = 4$, я бы должен был признать то, что я нехорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем $2 \times 2 = 4$. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало.

Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, — что, если б они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос: что такое жизнь, — другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие?

И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, — ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? Я не только не

добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло.

Жизнь мира совершается по чьей-то воле, — кто-то эту жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее — делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее — чего хотят от всех нас и от всего мира.

Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.

Так и не упрекают хозяина те, которые делают

его волю, люди простые, рабочие, неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться.

ХИ

Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял, что, если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его.

В это же время со мной случилось следующее. Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, — во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием Бога.

Я говорю, что это искание Бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание

вытекало не из моего хода мыслей,— оно было даже прямо противоположно им,— но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.

Несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия Божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все-таки искал Бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности доказательства бытия Божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют Богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю Богом?» И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он — творец, промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет Бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Гос-

поди, научи меня, Бог мой!» Но никто не миловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? — Опять Бог.

«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», — говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования Бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот Бог, наш творец, в трех лицах, приславший Сына-искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня Бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и опять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения — то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислу-

шивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал Бога.

«Хорошо, нет никакого Бога, — говорил я себе, — нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о Боге, о том, которого я ищу? — спросил я себя. — Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие Бога — не Бог, — сказал я себе. — Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о Боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. «Так чего же я ищу еще? — вскрикнул во мне голос. — Так вот он. Он — то, без чего нельзя

жить. Знать Бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь».

«Живи, отыскивай Бога, и тогда не будет жизни без Бога». И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня.

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, — та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, то есть жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, то есть вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.

Со мной случилось как будто вот что: я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на се-

редину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки, огромные корабли, полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И я поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я услышал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидел лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о берегу, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег — это был Бог, направление — это было предание, весла — это была данная мне свобода выгрестись к берегу — соединиться с Богом. Итак, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.

Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни — спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-Божьи, а чтобы жить по-Божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольничьего народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противил-

ся ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во мне противления.

Отношение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться понимать их.

Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и все человечество с его разумом, из таинственного начала. Это начало есть Бог, начало и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от Бога дошло до меня мое тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Все то, во что истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это значит только то, что я не понимаю ее. Кроме того, я говорил себе: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, кото-

рый не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика раба, несмышленного ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и образования, — естественно, если есть один ответ, отвечающий на вечный один вопрос жизни: «Зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» — то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я не мог этого сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши русские богословские сочинения.

По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что Божеская истина не может быть доступ-

на одном человеке, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться с тем, с чем не согласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься возможности познать истину. Я не видал тогда софизма, находящегося в этом рассуждении. Я не видал тогда того, что единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе, не видал и того, что любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною — отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили, и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими пред-

ками и современниками, для того чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «Возлюбим друг друга да единомыслием...» Дальнейшие слова: «Исповедуем Отца и Сына и Святого Духа» — я пропускал, потому что не мог понять их.

XIV

Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектения все яснее и яснее становится для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова: «Пресвятую владычицу нашу Богородицу и всех Святых помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу-Богу предадим», — если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под ноzi врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, — молитвы эти и другие, как Херувимская и все таинство проскомидии или «взбранный воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подво-

дя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к Богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, то есть посвятить один день на обращение к Богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресения назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявление, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокоивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видеть того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставляем в дилемму — или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила — все это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие

я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каюсь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что все в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что, помимо веры, я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме гибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести его. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и все еще верил, что в том вероучении,

которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о Боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открывалось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа-царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодеце, о монахе, нашедшем золото, о Петре-мытаре; там — история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там — истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.

XV

Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончай-

шими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.

Так я жил года три, и первое время, когда я как оглашенный только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «Я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью — противное самым основам той веры, которою я жил, — окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквям — к католицизму и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой воз-

мужной истины. И я увидал, что всех, не исповедующих одинаково с ними веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидал, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, — православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и видавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какою должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение, — и я думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал все, что мог,

по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире — это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне все, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению все наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, — говорил я, — выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь

с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к filioque¹ и папе делайте как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти — блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков.

И я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола Всевышнего, — для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедовать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, то есть по времени прилагали высшую меру наказания; в наше

¹ и сына (лат.). — *Ред.*

время прилагают тоже высшую меру — запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел чинов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

XVI

И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде оттал-

кивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, — я все-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, — исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или по крайней мере неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это — одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того чтобы понять его, даже и не то что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно необъяснимому; я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования мое-

го ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.

Это было написано мною три года назад.

Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидел сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помо-

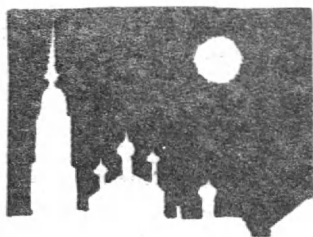
чах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени — на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя то, чего прежде мне и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать — вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно

скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? — спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» — и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню все, что было, и вспоминаю, как это все случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну а теперь что же, я вишу все так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не под-

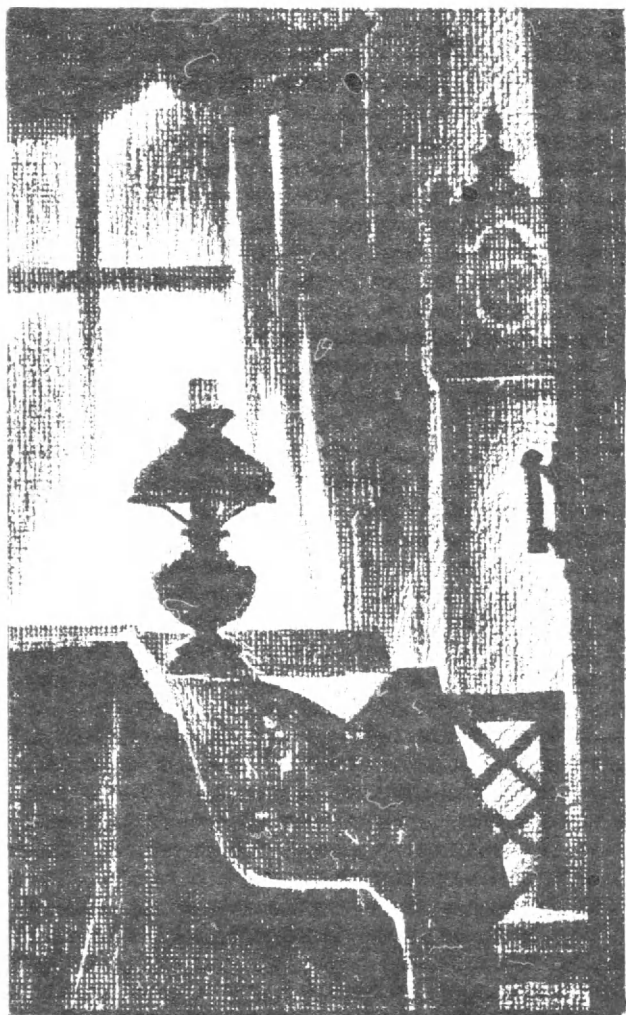
лежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.

1879—1882





**В ЧЕМ МОЯ
ВЕРА?**



В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?

Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова, то есть не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия всякой веры.

Пять лет тому назад я поверил в учение Христа — и жизнь моя вдруг перевернулась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, что прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогой решил, что дело это ему совсем не нужно, — и повернул домой. И все, что было справа, — стало слева, и все, что было слева, — стало справа: прежнее желание — быть как можно дальше от дома — перевернулось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни — желания мои стали другие: и доброе и злое перевернулось местами. Все это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде.

Я не толковать хочу учение Христа, я хочу только рассказать, как я понял то, что есть самого

простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье.

Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.

Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и уму, — умные и глупые, — равны перед Богом, что всем доступна Божеская истина. Христос сказал даже, что воля Бога в том, что немудрым открывается то, что скрыто от мудрых.

Не все могут быть посвящены в глубочайшие тайны догматики, гомилетики, патристики, литургики, герменевтики, апологетики и др., но все могут и должны понять то, что Христос говорил всем миллионам простых, немудрых, живших и живущих людей. Так вот то самое, что Христос сказал всем этим простым людям, не имевшим еще возможности обращаться за разъяснениями его учения к Павлу, Клименту, Златоусту и другим, это самое я не понимал прежде, а теперь понял; и это самое хочу сказать всем.

Разбойник на кресте поверил в Христа и спасся. Неужели было бы дурно и для кого-нибудь вредно, если бы разбойник не умер на кресте, а сошел бы с него и рассказал людям, как он поверил в Христа.

Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь.

Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живет так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив и страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же.

Во всем этом я был совершенно подобен разбойнику, но различие мое от разбойника было в том, что он умирал уже, а я еще жил. Разбойник мог поверить тому, что спасение его будет там, за гробом, а я не мог поверить этому, потому что кроме жизни за гробом мне предстояла еще и жизнь здесь. А я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасна. И вдруг я услышал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и, вместо отчаяния, я испытал радость и счастье жизни, не нарушимые смертью.

Неужели для кого-нибудь может быть вредно, если я расскажу, как это сделалось со мной?

I

О том, почему я прежде не понимал учения Христа и как и почему я понял его, я написал два большие сочинения: Критику догматического богословия и новый перевод и соединение четырех Евангелий с объяснениями. В сочинениях

этих я методически, шаг за шагом стараюсь разобрать все то, что скрывает от людей истину, и стих за стихом вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелия.

Работа эта продолжается уже шестой год. Каждый год, каждый месяц я нахожу новые и новые уяснения и подтверждения основной мысли, исправляю вкравшиеся в мою работу, от поспешности и увлечения, ошибки, исправляю их и дополняю то, что сделано. Жизнь моя, которой остается уже немного, вероятно, кончится раньше этой работы. Но я уверен, что работа эта нужна, и потому делаю, пока жив, что могу.

Такова моя продолжительная внешняя работа над богословием, Евангелиями. Но внутренняя работа моя, та, про которую я хочу рассказать здесь, была не такая. Это не было методическое исследование богословия и текстов Евангелий, — это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения, и мгновенное озарение светом истины. Это было событие, подобное тому, которое случилось бы с человеком, тщетно отыскивающим по ложному рисунку значение кучи мелких перемешанных кусков мрамора, когда бы вдруг по одному наибольшему куску он догадался, что это совсем другая статуя; и, начав восстанавливать новую, вместо прежней бессвязности кусков, на каждом обломке, всеми изгибами излома сходящимися с другими и составляющими одно целое, увидал бы подтверждение своей мысли. Это самое случилось со мной. И вот это-то я хочу рассказать.

Я хочу рассказать, как я нашел тот ключ к пониманию учения Христа, который мне открыл

истину с ясностью и убедительностью, исключаящими сомнение.

Открытие это сделано было мною так. С тех первых пор детства почти, когда я стал для себя читать Евангелие, во всем Евангелии трогало и умиляло меня больше всего то учение Христа, в котором проповедуется любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло. Такова и оставалась для меня всегда сущность христианства, то, что я сердцем любил в нем, то, во имя чего я после отчаяния, неверия признал истинным тот смысл, который придает жизни христианский трудовой народ, и во имя чего я подчинил себя тем же верованиям, которые исповедует этот народ, то есть православной церкви. Но, подчинив себя церкви, я скоро заметил, что я не найду в учении церкви подтверждения, уяснения тех начал христианства, которые казались для меня главными; я заметил, что эта дорогая мне сущность христианства не составляет главного в учении церкви. Я заметил, что то, что представлялось мне важнейшим в учении Христа, не признается церковью самым важным. Самым важным церковью признается другое. Сначала я не приписывал значения этой особенности церковного учения. «Ну что ж, — думал я, — церковь, кроме того же смысла любви, смирения и самоотвержения, признает еще и этот смысл догматический и внешний. Смысл этот чужд мне, даже отталкивает меня, но вредного тут нет ничего».

Но чем дальше я продолжал жить, покоряясь учению церкви, тем заметнее становилось мне, что эта особенность учения церкви не так безразлична, как она мне показалась

сначала. Оттолкнули меня от церкви и странности догматов церкви, и признание и одобрение церковью гонений, казней и войн, и взаимное отрицание друг друга разными исповеданиями; но подорвало мое доверие к ней именно это равнодушие к тому, что мне казалось сущностью учения Христа, и, напротив, пристрастие к тому, что я считал несущественным. Мне чувствовалось, что тут что-то не так. Но что было не так, я никак не мог найти; не мог найти потому, что учение церкви не только не отрицало того, что казалось мне главным в учении Христа, но вполне признавало это, но признавало как-то так, что это главное в учении Христа становилось не на первое место. Я не мог упрекнуть церковь в том, что она отрицала существенное, но признавала церковь это существенное так, что оно не удовлетворяло меня. Церковь не давала мне того, чего я ожидал от нее.

Я перешел от нигилизма к церкви только потому, что осознал невозможность жизни без веры, без знания того, что хорошо и дурно помимо моих животных инстинктов. Знание это я думал найти в христианстве. Но христианство, как оно представлялось мне тогда, было только известное настроение — очень неопределенное, из которого не вытекали ясные и обязательные правила жизни. И за этими правилами я обратился к церкви. Но церковь давала мне такие правила, которые несколько не приближали меня к дорогому мне христианскому настроению и, скорее, удаляли от него. И я не мог идти за нею. Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах; а церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые

церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны; а правил, основанных на христианских истинах, не было. Мало того, церковные правила ослабляли, иногда прямо уничтожали то христианское настроение, которое одно давало смысл моей жизни. Смущало меня больше всего то, что все зло людское — осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений: казни, войны, все это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением.

Неужели учение Христа было таково, что противоречия эти должны были существовать? Я не мог поверить этому. Кроме того, мне всегда казалось удивительным то, что, насколько я знал Евангелия, те места, на которых основывались определенные правила церкви о догматах — были места самые неясные; те же места, из которых вытекало исполнение учения, были самые определенные и ясные. А между тем догматы и вытекающие из них обязанности христианина определялись самым ясным, отчетливым образом; об исполнении же учения говорилось в самых неясных, туманных, мистических выражениях. Неужели этого хотел Христос, преподавая свое учение? Разрешение моих сомнений я мог найти только в Евангелиях. И я читал и перечитывал их. Из всех Евангелий, как что-то особенное, всегда выделялась для меня Нагорная проповедь. И ее-то я читал чаще всего. Нигде, кроме как в этом месте, Христос не говорит с такою торжественностью, нигде он не дает

так много нравственных, ясных, понятных, прямо отзывающихся в сердце каждого правил, нигде он не говорит к большей толпе всяких простых людей. Если были ясные, определенные христианские правила, то они должны быть выражены тут. В этих трех главах Матфея я искал разъяснения моих недоумений.

Много и много раз я перечитывал Нагорную проповедь и всякий раз испытывал одно и то же: восторг и умиление при чтении тех стихов — о подставлении щеки, отдаче рубахи, примирении со всеми, любви к врагам — и то же чувство неудовлетворенности. Слова Бога, обращенные ко всем, были неясны. Поставлено было слишком невозможное отречение от всего, уничтожавшее самую жизнь, как я понимал ее, и потому отречение от всего, казалось мне, не могло быть непременным условием спасения. А как скоро это не было непременное условие спасения, то не было ничего определенного и ясного. Я читал не одну Нагорную проповедь, я читал все Евангелия, все богословские комментарии на них. Богословские объяснения о том, что изречения Нагорной проповеди суть указания того совершенства, к которому должен стремиться человек, но что падший человек — весь в грехе и своими силами не может достигнуть этого совершенства, что спасенье человека в вере, молитве и благодати, — объяснения эти не удовлетворяли меня.

Я не соглашался с этим, потому что мне всегда казалось странным, для чего Христос, вперед зная, что исполнение его учения невозможно одними силами человека, дал такие ясные и прекрасные правила, относящиеся прямо к каждому отдельному человеку? Читая эти правила, мне

всегда казалось, что они относятся прямо ко мне, от меня одного требуют исполнения.

Читая эти правила, на меня находила всегда радостная уверенность, что я могу сейчас, с этого часа, сделать все это. И я хотел и пытался делать это; но как только я испытывал борьбу при исполнении, я невольно вспоминал учение церкви о том, что человек слаб и не может сам сделать этого, и ослабевал.

Мне говорили: надо верить и молиться.

Но я чувствовал, что я мало верю и потому не могу молиться. Мне говорили, что надо молиться, чтобы Бог дал веру, ту веру, которая дает ту молитву, которая дает ту веру, которая дает ту молитву и т. д., до бесконечности.

Но и разум и опыт показывали мне, что средство это недействительно. Мне все казалось, что действительны могут быть только мои усилия исполнять учение Христа.

И вот, после многих, многих тщетных исканий, изучений того, что было писано об этом в доказательство Божественности этого учения и в доказательство небожественности его, после многих сомнений и страданий, я остался опять один с своим сердцем и с таинственной книгою пред собой. Я не мог дать ей того смысла, который давали другие, и не мог придать иного, и не мог отказаться от нее. И только изверившись одинаково и во все толкования ученой критики, и во все толкования ученого богословия, и откинув их все, по слову Христа: если не примете меня, как дети, не войдете в Царствие Божие... я понял вдруг то, чего не понимал прежде. Я понял не тем, что я как-нибудь искусно, глупокомысленно переставлял, сличал, перетолковывал; напротив, все открылось мне тем, что я забыл

все толкования. Место, которое было для меня ключом всего, было место из V главы Матфея, стих 39-й: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу»... Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас не то что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу». Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде.

Прежде, читая это место, я всегда по какому-то странному затмению пропускал слова: *а я говорю: не противься злу*. Точно как будто слов этих совсем не было, или они не имели никакого определенного значения.

Впоследствии при беседах моих со многими и многими христианами, знавшими Евангелие, мне часто случалось замечать относительно этих слов то же затмение. Слов этих никто не помнил, и часто, при разговорах об этом месте, христиане брали Евангелие, чтобы проверить — есть ли там эти слова. Также и я пропускал эти слова и начинал понимать только со следующих слов: «И кто ударит тебя в правую щеку... подставь левую...» и т. д. И всегда слова эти представлялись мне требованием страданий, лишений, не свойственных человеческой природе. Слова эти умиляли меня. Мне чувствовалось, что было бы прекрасно исполнить их. Но мне чувствовалось тоже и то, что я никогда не буду в силах исполнить их только для того, чтобы исполнить, чтобы страдать. Я говорил себе: ну хорошо, я подставлю щеку, — меня другой раз прибьют; я от-

дам,— у меня отнимут всё. У меня не будет жизни. А мне дана жизнь, зачем же я лишусь ее? Этому не может требовать Христос. Прежде я говорил это себе, предполагая, что Христос этими словами восхваляет страдания и лишения и, восхваляя их, говорит преувеличенно и потому неточно и неясно; но теперь, когда я понял слова о непротивлении злу, мне ясно стало, что Христос ничего не преувеличивает и не требует никаких страданий для страданий, а только очень определенно и ясно говорит то, что говорит. Он говорит: «Не противьтесь злу; и, делая так, вперед знайте, что могут найтись люди, которые, ударив вас по одной щеке и не встретив отпора, ударят и по другой; отняв рубаху, отнимут и кафтан; воспользовавшись вашей работой, заставят еще работать; будут брать без отдачи... И вот если это так будет, то вы все-таки не противьтесь злу. Тем, которые будут вас бить и обижать, все-таки делайте добро». И когда я понял эти слова так, как они сказаны, так сейчас же все, что было темно, стало ясно, и что казалось преувеличенно, стало вполне точно. Я понял в первый раз, что центр тяжести всей мысли в словах: «не противься злу», а что последующее есть только разъяснение первого положения. Я понял, что Христос нисколько не велит подставлять щеку и отдавать кафтан для того, чтобы страдать, а велит не противиться злу и говорит, что при этом придется, может быть, и страдать. Точно так же, как отец, отправляющий своего сына в далекое путешествие, не приказывает сыну — недосыпать ночей, недоедать, мокнуть и зябнуть, если он скажет ему: «Ты иди дорогой, и если придется тебе и мокнуть и зябнуть, ты все-таки иди». Христос не говорит: подстав-

ляйте щеки, страдайте, а он говорит: не противьтесь злу, и, что бы с вами ни было, не противьтесь злу. Слова эти: *не противься злу или злему*, понятые в их прямом значении, были для меня истинно ключом, открывшим мне всё. И мне стало удивительно, как мог я так наыворот понимать ясные, определенные слова. Вам сказано: зуб за зуб, а я говорю: не противься злу или злему и, что бы с тобой ни делали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что же может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в Нагорной проповеди, но во всех Евангелиях, все, что было запутано, стало понятно, что было противоречиво, стало согласно; и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Все слилось в одно целое и несомненно подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть. В этой проповеди и во всех Евангелиях со всех сторон подтверждалось то же учение о непротавлении злу.

В этой проповеди, как и во всех местах, везде Христос представляет себе своих учеников, то есть людей, исполняющих правило о непротавлении злу, не иначе как подставляющих щеку и отдающих кафтан, как гонимых, побиваемых и нищих.

Везде много раз Христос говорит, что тот, кто не взял крест, кто не отрекся от всего, тот не может быть его учеником, то есть кто не готов на все последствия, вытекающие из исполнения правила о непротавлении злу. Ученикам Христос говорит: будьте нищие, будьте готовы, не противясь злу, принять гонения, страдания и

смерть. Сам готовится на страдания и смерть, не противясь злу, и отгоняет от себя Петра, жалеющего об этом, и сам умирает, запрещая противиться злу и не изменяя своему учению.

Все первые ученики его исполняют это правило непротивления злу и всю жизнь проводят в нищете, гонениях и никогда не воздают злом за зло.

Стало быть, Христос говорил то, что говорил. Можно утверждать, что всегдашнее исполнение этого правила очень трудно; можно не соглашаться с тем, что каждый человек будет блажен, исполняя это правило; можно сказать, что это глупо, как говорят неверующие, что Христос был мечтатель, идеалист, который высказывал неисполнимые правила, которым и следовали по глупости его ученики; но никак нельзя не признавать, что Христос сказал очень ясно и определенно то самое, что хотел сказать: именно, что человек, по его учению, должен не противиться злу и что потому тот, кто принял его учение, не может противиться злу. А между тем ни верующие, ни неверующие не понимают такого простого, ясного значения слов Христа.

II

Когда я понял, что слова «не противься злу» значат: не противься злу, все мое прежнее представление о смысле учения Христа вдруг изменилось, и я ужаснулся пред тем не то что непониманием, а каким-то странным пониманием учения, в котором я находился до сих пор. Я знал, мы все знаем, что смысл христианского учения — в любви к людям. Сказать: подставить щеку, лю-

бить врагов — это значит выразить сущность христианства. Я знал это с детства, но отчего же я не понимал этих простых слов просто, а искал в них какой-то иносказательный смысл? Не противься злему — значит не противься злему никогда, то есть никогда не делай насилия, то есть такого поступка, который всегда противоположен любви. И если тебя при этом обидят, то перенеси обиду и все-таки не делай насилия над другим. Он сказал так ясно и просто, как нельзя сказать яснее. Как же я, веруя или стараясь верить, что тот, кто сказал это — Бог, говорил, что исполнить это своими силами невозможно. Хозяин скажет мне: поди наруби дров, а я скажу: я своими силами не могу исполнить этого. Говоря это, я говорю одно из двух: или то, что я не верю тому, что говорит хозяин, или то, что я не хочу делать того, что велит хозяин. Про заповедь Бога, которую Он дал нам для исполнения, про которую Он сказал: кто исполнит и научит так, тот бóльшим наречется и т. д., про которую Он сказал, что только те, которые исполняют, те получают жизнь, заповедь, которую Он сам исполнил и которую выразил так ясно, просто, что в смысле ее не может быть сомнения, про эту-то заповедь я, никогда не попытавшись даже исполнить ее, говорил: исполнение ее невозможно одними моими силами, а нужна сверхъестественная помощь.

Бог сошел на землю, чтобы дать спасение людям. Спасение состоит в том, что второе лицо Троицы, Бог-сын, пострадал за людей, искупил перед Отцом грех их и дал людям церковь, в которой хранится благодать, передающаяся верующим; но, кроме всего этого, этот Бог-сын дал людям и учение и пример жизни для спа-

сения. Как же я говорил, что правило жизни, выраженное им просто и ясно для всех, так трудно исполнять, что даже невозможно без сверхъестественной помощи? Он не только не сказал этого, Он определенно сказал: непременно исполняйте, а кто не исполнит, тот не войдет в Царство Божие. И Он никогда не говорил, что исполнение трудно, Он, напротив, сказал: иго мое благо, и бремя мое легко. Иоанн, его евангелист, сказал: заповеди Его не тяжки. Как же это я говорил, что то, что Бог велел исполнять, то, исполнение чего Он так точно определил, и сказал, что исполнять это легко, то, что Он сам исполнил как человек и что исполняли первые последователи Его; как же это я говорил, что исполнять это так трудно, что даже невозможно без сверхъестественной помощи? Если бы человек все усилия своего ума положил на то, чтобы уничтожить какой-нибудь данный закон, что действительно для уничтожения этого закона мог бы сказать этот человек, как не то, что закон этот по существу неисполним и что мысль самого законодателя о своем законе такова, что закон этот неисполним, а что для исполнения его нужна сверхъестественная помощь? А это самое я думал по отношению к заповеди о непротавлении злу. И я стал вспоминать, как и когда вошла мне в голову эта странная мысль о том, что закон Христа Божественен, но исполнять его нельзя. И, разобрав свое прошедшее, я понял, что мысль эта никогда не была передана мне во всей ее наготе (она бы оттолкнула меня), но что я, незаметно для себя, всосал ее с самого первого детства, и вся последующая жизнь моя только укрепляла во мне это странное заблуждение.

С детства меня учили тому, что Христос —

Бог и учение его Божественно, но вместе с тем меня учили уважать те учреждения, которые насилием обеспечивают мою безопасность от злого, учили меня почитать эти учреждения священными. Меня учили противостоять злему и внушали, что унижительно и постыдно покоряться злему и терпеть от него, а похвально противиться ему. Меня учили судить и казнить. Потом меня учили воевать, то есть убийством противодействовать злым, и воинство, которого я был членом, называли христоролюбивым воинством; и деятельность эту освящали христианским благословением. Кроме того, с детства и до возмужалости меня учили уважать то, что прямо противоречит закону Христа. Дать отпор обидчику, отомстить насилием за оскорбление личное, семейное, народное; все это не только не отрицали, но мне внушали, что все это прекрасно и не противно закону Христа.

Все меня окружающее: спокойствие, безопасность моя и семьи, моя собственность, все построено было на законе, отвергнутом Христом, на законе: зуб за зуб.

Церковные учителя учили тому, что учение Христа Божественно, но исполнение его невозможно по слабости людской, и только благодать Христа может содействовать его исполнению. Светские учителя и все устройство жизни уже прямо признавали неисполнимость, мечтательность учения Христа, и речами и делами учили тому, что противно этому учению. Это признание неисполнимости учения Бога до такой степени понемножку, незаметно всосалось в меня и стало привычно мне, и до такой степени оно совпадало с моими похотями, что я никогда не замечал прежде того противоречия, в котором я находился. Я не видал того, что невозможно в одно и

то же время исповедывать Христа-Бога, основа учения которого есть непротивление злему, и сознательно и спокойно работать для учреждения собственности, судов, государства, воинства, учредить жизнь, противную учению Христа, и молиться этому Христу о том, чтобы между нами исполнялся закон непротивления злему и прощения. Мне не приходило еще в голову то, что теперь так ясно: что гораздо бы проще было устраивать и учредить жизнь по закону Христа, а молиться уж о том, чтобы были суды, казни, войны, если они так нужны для нашего блага.

И я понял, откуда возникло мое заблуждение. Оно возникло из исповедания Христа на словах и отрицания его на деле.

Положение о непротивлении злему есть положение, связующее все учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон.

Оно есть точно ключ, отпирающий все, но только тогда, когда ключ этот просунут до замка. Признание этого положения за изречение, невозможное к исполнению без сверхъестественной помощи, есть уничтожение всего учения. Каким же, как не невозможным, может представляться людям то учение, из которого вынута основная, связующая все положение? Неверующим же оно даже прямо представляется глупым и не может представиться иным.

Поставить машину, затопить паровик, пустить в ход, но не надеть передаточного ремня — это самое сделано с учением Христа, когда стали учить, что можно быть христианином, не исполняя положение о непротивлении злу.

Я недавно с еврейским раввином читал V гла-

ву Матфея. Почти при всяком изречении раввин говорил: это есть в Библии, это есть в Талмуде, и указывал мне в Библии и Талмуде весьма близкие изречения к изречениям Нагорной проповеди. Но когда мы дошли до стиха о непротавлении злу, он не сказал: и это есть в Талмуде, а только спросил меня с усмешкой: — И христиане исполняют это? подставляют другую щеку? — Мне нечего было отвечать, тем более что я знал, что в это самое время христиане не только не подставляли щеки, но били евреев по подставленной щеке. Но мне интересно было знать, есть ли что-нибудь подобное в Библии или Талмуде, и я спросил его об этом. Он сказал: — Нет, этого нет, но вы скажите, исполняют ли христиане этот закон? — Вопросом этим он говорил мне, что присутствие такого правила в христианском законе, которое не только никем не исполняется, но которое сами христиане признают неисполнимым, есть признание неразумности и ненужности этого правила. И я не мог ничего отвечать ему.

Теперь, поняв прямой смысл учения, я вижу ясно то странное противоречие с самим собой, в котором я находился. Признав Христа Богом и учение его Божественным и вместе с тем устроив свою жизнь противно этому учению, что же оставалось, как не признавать учение неисполнимым? На словах я признал учение Христа священным, на деле я исповедывал совсем не христианское учение и признавал и поклонялся учреждениям не христианским, со всех сторон обнимающим мою жизнь.

Весь Ветхий Завет говорит, что несчастья народа иудейского происходили оттого, что он верил в ложных богов, но не в истинного

Бога. Самуил в первой книге, в главах 8-й и 12-й, обвиняет народ в том, что ко всем прежним своим отступлениям от Бога он прибавил еще новое: на место Бога, который был их царем, поставил человека-царя, который, по их мнению, спасет их. Не верьте в «тогу», в пустое, говорит Самуил народу (XII, 21 стих). Оно не поможет вам и не спасет вас, потому что оно «тогу», пустое. Чтобы не погибнуть вам с царем вашим, держитесь одного Бога.

Вот вера в эти «тогу», в эти пустые кумиры и заслоняла от меня истину. На дороге к ней, заграждая ее свет, стояли предо мной те «тогу», от которых я не в силах был отречься.

На днях я шел в Боровицкие ворота; в воротах сидел старик, нищий-калека, обвязанный по ушам ветошкой. Я вынул кошелек, чтобы дать ему что-нибудь. В это время с горы из Кремля выбежал бравый молодой румяный малый, гренадер в казенном тулупе. Нищий, увидав солдата, испуганно вскочил и вприхромку побежал вниз к Александровскому саду. Гренадер погнался было за ним, но, не догнав, остановился и стал ругать нищего за то, что он не слышал запрещения и садился в воротах. Я подождал гренадера в воротах. Когда он поравнялся со мной, я спросил его: знает ли он грамоте?

— Знаю, а что? — Евангелие читал? — Читал. — А читал: «и кто накормит голодного?..» — Я сказал ему это место. Он знал его и выслушал. И я видел, что он смущен. Два прохожие остановились, слушая. Гренадеру, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, — гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, — вдруг оказался не прав. Он был смущен и, видимо, искал отговорки. Вдруг в умных

черных глазах его блеснул свет, он повернулся ко мне боком, как бы уходя. — А воинский устав читал? — спросил он. Я сказал, что не читал. — Так и не говори, — сказал гренадер, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту.

Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мной и стоит перед каждым человеком, называющим себя христианином.

III

Напрасно говорят, что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных. Это только смелое и голословное утверждение самой очевидной неправды, которая разрушается при первой серьезной мысли об этом. Хорошо, я не буду противиться злу, подставлю щеку, как частный человек, говорю я себе, но идет неприятель или угнетают народы, и меня призывают участвовать в борьбе со злыми — идти убивать их. И мне неизбежно решить вопрос: в чем служение Богу и в чем служение «тогу». Идти ли на войну, или не идти? Я — мужик, меня выбирают в старшины, судьи, в присяжные, заставляют присягать, судить, наказывать — что мне делать? Опять я должен выбирать между законом Бога и законом человеческим. Я — монах, живу в монастыре, мужики отняли наш покос, меня посылают участвовать в борьбе со злыми — просить в суде на мужиков. Опять

я должен выбрать. Ни один человек не может уйти от решения этого вопроса. Я не говорю уже о нашем сословии, деятельность которого почти вся состоит в противлении злым: военные, судейские, администраторы, но нет того частного, самого скромного человека, которому бы не предстояло это решение между служением Богу, исполнением его заповедей, или служением «тогу», государственным учреждениям. Личная моя жизнь переплетена с общей государственной, а государственная требует от меня нехристианской деятельности, прямо противной заповеди Христа. Теперь с общей воинской повинностью и участием всех в суде в качестве присяжных, дилемма эта с поразительной резкостью поставлена перед всеми. Всякий человек должен взять орудие убийства: ружье, нож, и если не убить, то зарядить ружье и отточить нож, то есть быть готовым на убийство. Каждый гражданин должен прийти в суд и быть участником суда и наказаний, то есть каждый должен отречься от заповеди Христа непротивления злему не словом только, но делом.

Вопрос гренадера: Евангелие или воинский устав? закон Божий или закон человеческий? — теперь стоит и при Самуиле стоял перед человечеством. Он стоял и перед самим Христом и перед учениками его. Стоит и перед теми, которые теперь хотят быть христианами, стоял и передо мной.

Закон Христа, с его учением любви, смирения, самоотвержения, всегда и прежде трогал мое сердце и привлекал меня к себе. Но со всех сторон, в истории, в современной окружающей меня, и в моей жизни я видел закон противоположный, противный моему сердцу, моей

совести, моему разуму, но потакающий моим животным инстинктам. Я чувствовал, что, прими я закон Христа, я останусь один, и мне может быть плохо, мне придется быть гонимым и плачущим, то самое, что сказал Христос. Прими закон человеческий — меня все одобряют, я буду спокоен, обеспечен, и к моим услугам все изощрения ума, чтобы успокоить мою совесть. Я буду смеяться и веселиться, то самое, что сказал Христос. Я чувствовал это и потому не только не углублялся в значение закона Христа, но старался понять его так, чтобы он не мешал мне жить моей животной жизнью. А понять его так нельзя было, и потому я вовсе не понимал его.

В этом непонимании я доходил до теперь удивительного мне затмения. Для образца такого затмения приведу мое прежнее понимание слов: «Не судите, и не будете судимы» (Матф., VII, 1). «Не судите, и не будете судимы — не осуждайте, и не будете осуждены» (Луки, VI, 37). Мне так несомненно казалось священным, не нарушающим закона Бога учреждение судов, в которых я участвовал и которые ограждали мою собственность и безопасность, что никогда и в голову не приходило, чтобы это изречение могло значить что-нибудь другое, как не то, чтобы на словах не осуждать ближнего. Мне и в голову не приходило, чтобы Христос в этих словах мог говорить про суды: про земский суд, про уголовную палату, про окружные и мировые суды и всякие сенаты и департаменты. Только когда я понял в прямом значении слова о непротивлении злу, только тогда мне представился вопрос о том, как относится Христос ко всем этим судам и депар-

таментам. И поняв, что он должен отрицать их, я спросил себя: да не значит ли это: не только не судите ближнего на словах, но и не осуждайте судом — не судите ближних своими человеческими учреждениями — судами.

У Луки, гл. VI, с 37 по 49, слова эти сказаны тотчас после учения о непротивлении злу и о воздаянии добром за зло. Тотчас после слов: «будьте милосерды, как Отец ваш на небе», сказано: «не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». Не значит ли это, кроме осуждения ближнего, и то, чтобы не учреждать судов и не судить в них ближних? — спросил я себя теперь. И стоило мне только поставить себе этот вопрос, чтобы и сердце и здравый смысл тотчас же ответили мне утвердительно.

Я знаю, как такое понимание этих слов поражает сначала. Меня оно тоже поразило. Чтобы показать, как я далек был от такого понимания, признаюсь в стыдной глупости. Уже после того, как я стал верующим и читал Евангелие как Божественную книгу, я, при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями, в виде игривой шутки, говорил им: а вы всё судите, а сказано: не судите, и не судимы будете. Я так был уверен, что слова эти не могут значить ничего другого, как только запрещение злословия, что не понимал того страшного кощунства, которое я делал, говоря это. Я до того дошел, что, уверившись в том, что ясные слова эти значат не то, что значат, в шутку говорил их в их настоящем значении.

Расскажу подробно, как уничтожилось во мне всякое сомнение о том, что слова эти не могут быть понимаемы иначе, как в том смысле, что

Христос запрещает всяческие человеческие учреждения судов, и словами этими ничего не мог сказать другого.

Первое, что поразило меня, когда я понял заповедь о непротивлении злу в ее прямом значении, было то, что суды человеческие не только не сходятся с нею, но прямо противны ей, противны и смыслу всего учения, и что поэтому Христос, если подумал о судах, то должен был отрицать их.

Христос говорит: *не противиться злему*. Цель судов — противиться злему. Христос предписывает: *делать добро за зло*. Суды воздают злом за зло. Христос говорит: *не разбирать добрых и злых*. Суды только то и делают, что этот разбор. Христос говорит: *прощать всем*. *Прощать не раз, не семь раз, а без конца*. *Любить врагов*. *Делать добро ненавидящим*. Суды не прощают, а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых они называют врагами общества. Так что по смыслу выходило, что Христос должен был запрещать суды. Но, может быть, думал я, Христос не имел дела с человеческими судами и не думал о них. Но вижу, что этого нельзя предположить: Христос со дня рождения и до смерти сталкивался с судами Ирода, синедриона и первосвященников. И действительно, вижу, что Христос много раз прямо говорит про суды как про зло. Ученикам он говорит, что их будут судить, и говорит, как им держаться на суде. Про себя говорил, что его засудят, и сам показывает, как надо относиться к суду человеческому. Стало быть, Христос думал о тех судах человеческих, которые должны были засудить его и его учеников, и засуждавшие и засуждающие миллионы людей. Христос видел это

зло и прямо указывал на него. При исполнении приговора суда над блудницей он прямо отрицает суд и показывает, что человеку нельзя судить, потому что он сам виноватый. И эту же самую мысль он высказывает несколько раз, говоря, что засоренным глазом нельзя видеть сора в глазу другого, что слепой не может видеть слепого. Объясняет даже то, что происходит от такого заблуждения. Ученик станет такой же, как учитель.

Но, может быть, и высказав это по отношению к суду блудницы и указав притчей о спице на общую слабость человеческую, он все-таки не запрещает обращения к человеческому правосудию, ввиду защиты от злых; но вижу, что этого никак нельзя допустить.

В Нагорной проповеди, обращаясь ко всем, он говорит: и если кто хочет *высудить* у тебя рубаху, отдай и кафтан. Стало быть, он всем запрещает судиться.

Но, может быть, Христос говорит только о личном отношении каждого человека к судам, но не отрицает самого правосудия и допускает в христианском обществе людей, которые судят других в установленных учреждениях? Но вижу, что и этого нельзя предположить. Христос в молитве своей всем людям без исключения велит прощать другим, чтобы и им были прощены их вины. И повторяет эту мысль много раз. Стало быть, всякий человек и на молитве и прежде чем принести дар должен всем простить. Как же может судить и приговаривать по суду человек, который, по исповедуемой им вере, должен всем всегда прощать? И потому вижу, что, по учению Христа, христианский наказывающий судья быть не может.

Но, может быть по той связи, в которой находятся с другими слова *не судите и не осуждайте*, видно, что в этом месте Христос, говоря *не судите*, не думал о судах человеческих? Но этого тоже нет, напротив, ясно по связи речи, что, говоря: не судите, Христос говорит именно о судах, учреждениях; по Матфею и Луке, перед тем, чтобы сказать: не судите и не осуждайте, он говорит: не противьтесь злumu, терпите зло, делайте добро всем. А перед этими словами повторяет, по Матфею, слова уголовного еврейского закона: око за око, зуб за зуб. И после этой ссылки на уголовный закон говорит: а вы делайте не так, не противьтесь злumu, и потом уже говорит: не судите. Стало быть, Христос говорит именно про уголовный закон человеческий и его-то и отрицает словами *не судите*.

Кроме того, по Луке, он говорит не только: не судите, но — не судите и не осуждайте. Для чего-нибудь да прибавлено же это слово, имеющее почти то же значение. Прибавка этого слова может иметь только одну цель: выяснение значения, в котором должно пониматься первое слово.

Если бы он хотел сказать: не осуждайте *ближнего*, то он прибавил бы это слово, но он прибавляет слово, переводимое по-русски — не осуждайте. И после этого говорит: и не будете осуждены, всем прощайте, и будете прощены.

Но, может быть, все-таки Христос не думал про суды, говоря это, и я свою мысль нахожу в его словах, имеющих другое значение.

Справляюсь с тем, как первые ученики Христа, апостолы, смотрели на суды человеческие, признавали ли, одобряли ли их?

В главе IV, от 1—11, апостол Иаков говорит:

Не злословьте друг друга, братия; кто злословит брата и судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если закон судишь, то ты не исполнитель закона, а судья. Един законодатель и судья, который может спасти и погубить,— а ты кто, который судишь другого?

Слово, переданное словом злословить, есть слово *κατάλαλέω*. Без справки с лексиконом можно видеть, что слово это должно значить обвинять. И то самое оно и значит, в чем может убедиться всякий, справившись с лексиконом. Переведено: *кто злословит брата, тот злословит закон*. И невольно представляется вопрос: почему? Сколько бы я ни злословил брата, я не злословлю закон, но если я обвиняю и сужу судом брата, то очевидно, что я этим самым обвиняю закон Христа, то есть я считаю закон Христа недостаточным и обвиняю и сужу закон. Тогда ясно, что я уже не исполняю его закон, а сам судья. Судья же, говорит Христос, тот, который может спасти. А как же я, не будучи в состоянии спасти, буду судьей, буду наказывать?

Все место это говорит о суде человеческом и отрицает его. Все послание это проникнуто тою же мыслию. В том же послании Иакова (гл. II, 1—13) говорится: 1) братия мои! вера в Господа нашего Иисуса Христа прославленного да будет без лицепрятия. 2) Ибо если войдет в собрание ваше человек с золотым перстнем на руке, в богатой одежде, войдет же и нищий в худом платье; и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе прилично стать здесь; а нищему скажете: ты стань там или сядь здесь, при ногах моих; то не разрозняетесь ли вы между собою и не представляете ли в себе судей с злыми помышлениями? 3) По-

слушайте, братья мои возлюбленные, не нищих ли мира сего Бог избрал быть богатыми верою и наследниками царствия, которое обещал Он любящим его? 4) А вы презрели нищего! Не богатые ли притесняют вас и *не они ли влекут вас в суды?* 5) Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? 6) Если вы исполняете царский закон по Писанию — возлюби ближнего твоего, как самого себя (Левит, XIX, 18), — хорошо поступаете. 7) Но если смотрите на лица, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. 8) Ибо кто сохранит весь закон и в одном чем-нибудь согрешит, тот становится виновен во всем. 9) Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал: не убей. Почему, если ты не сделаешь прелюбодеяния, но убьешь, то ты все преступник закона (Второзаконие, XXII, 22; Левит, XVIII, 17—25). 10) Говорите и поступайте, как люди, которые должны быть судимы по закону свободы. Ибо суд без помилования тому, кто 11) не делает милости: милость торжествует над судом. (Последние слова — милость торжествует над судом — переводились, и часто, так: *милость превозносится на суде*, и переводились так в том смысле, что суд христианский может быть, но что он должен быть милостив.)

Иаков увещевает братьев не делать различия между людьми. Если вы делаете различие, то вы *διακρίνατε*, разрозниваетесь, как на суде судьи с злыми помышлениями. Вы рассудили, что нищий — хуже. А напротив, хуже — богатый. Он и угнетает вас, и тащит в суд. Если вы живете по закону любви к ближнему, по закону милосердия (который, в отличие от другого, Иаков называет царским), то это хорошо. Но если смот-

рите на лица, делаете различие между людьми, то делаетесь преступниками закона милосердия. И, имея, вероятно, в виду пример блудницы, которую привели к Христу, чтобы по закону побить ее камнями, или вообще преступление прелюбодеяния, Иаков говорит, что тот, кто казнит смертью блудницу, будет виновен в убийстве и нарушит закон вечный. Потому что тот же вечный закон запрещает и блуд, и убийство. Он говорит: *И поступайте, как люди, судимые законом свободы.* Потому что нет милости тому, кто сам без милости, а потому милость уничтожает суд.

Как же еще сказать это яснее, определеннее: запрещается всякое различие между людьми, всякий суд о том, что этот хорош, а этот дурен, указывается прямо на суд человеческий, который несомненно дурен, и показывается, что суд этот сам преступен, казня за преступления, и что потому суд сам собою уничтожается законом Бога — милосердием.

Читаю послания апостола Павла, пострадавшего от судов, и в первой же главе к римлянам читаю увещание, которое делает апостол римлянам за все их пороки и заблуждения, и в том числе за их суды (32): «Они хотя и знают праведный суд Божий (то есть что делающие таковые дела достойны смерти), однако не только сами их делают, но и делающих одобряют».

Глава II, 1) *Итак, неизвинителен ты, человек, кто бы ты ни был, судящий другого; ибо тем же (судом), которым судишь другого, осуждаешь себя; потому что, судя другого, ты делаешь то же.*

2) А мы знаем, что праведен суд Божий на делающих таковые дела. 3) Неужели думаешь ты, человек, избежать суда Божия, осуждая делаю-

щих таковые дела и (сам) делая то же? 4) Или ты пренебрегаешь богатством благодати Его и кротости и долготерпения, не помышляя, что благодать Божия ведет тебя к покаянию?

Апостол Павел говорит: они, зная справедливый суд Бога, сами делают несправедливо и научают так делать других, и потому нельзя оправдать человека, который судит.

Такое отношение к судам я нахожу в посланиях апостолов, в жизни же их, как мы все знаем, суды человеческие представлялись им тем злом и соблазном, которые надо сносить с твердостью и преданностью воле Божией.

Восстановив в своем воображении положение первых христиан среди язычников, каждый легко поймет, что запрещать суды гонимым человеческими судами христианам не могло приходиться в голову. Только при случае они могли коснуться этого зла, отрицая основы его, как они и делают это.

Справляюсь с учителями церкви первых веков и вижу, что учителя первых веков — все всегда определяли свое учение, отличающее их от всех других, тем, что они никого ни к чему не принуждают, никого не судят (Афинагор, Ориген), не казнят, а только переносят мучения, налагаемые на них судами человеческими. Все мученики делом исповедывали то же. Вижу, что все христианство до Константина никогда иначе не смотрело на суды как на зло, которое надо терпеливо переносить, но что никогда и в голову ни одному христианину того времени не могло прийти той мысли, чтобы христианин мог участвовать в суде.

Вижу, что слова Христа: *не судите и не осуждайте* были поняты его первыми учениками так

же, как я их понял теперь, в их прямом смысле: не судите в судах — не участвуйте в них.

Все несомненно подтверждало мое убеждение, что слова — не судите и не осуждайте — значат не судите в судах; но толкование о том, что будто это значит: не злословьте ближнего, до такой степени общепринято, и до такой степени смело и самоуверенно суды процветают во всех христианских государствах, опираясь даже на церковь, что я долго сомневался в справедливости моего понимания. Если все люди могли толковать так и учреждать христианские суды, то, вероятно, имели же они какое-нибудь основание, и что-нибудь ты не понимаешь, говорил я себе. Должны же быть те основания, по которым слова эти понимаются как злословие и должны же быть основания, на которых учреждаются христианские суды.

И я обратился к толкованиям церкви. Во всех этих толкованиях, с пятого века, я нашел, что слова эти принято понимать как осуждение на словах ближнего, то есть как злословие. И так как слова эти принято понимать только как осуждение на словах ближнего, то является затруднение: как не осуждать? Зло нельзя не осуждать. И потому все толкования вертятся на том, что можно и что нельзя осуждать. Говорится о том, что для служителей церкви это нельзя понимать как запрещение судить, что сами апостолы судили (Златоуст и Феофилакт). Говорится о том, что, вероятно, этим словом Христос указывает на иудеев, которые обвиняли ближних в малых грехах, а сами сделали большие.

Но нигде ни слова не говорится о человеческих учреждениях, судах, о том, в каком отношении находятся суды эти к этому запрещению

осуждать. Запрещает ли их Христос или допускает? На этот естественный вопрос нет никакого ответа, как будто уже слишком очевидно то, что как скоро христианин сел на судейское место, то тогда он не только может осуждать ближнего, но и казнить его.

Справляюсь у греческих, католических, протестантских писателей и писателей тюбингской школы и школы исторической. Всеми, даже самыми свободномыслящими толкователями слова эти понимаются как запрещение злословить. Но почему слова эти, противно всему учению Христа, понимаются так узко, что в запрещении судить не входит запрещение судов, почему предполагается, что Христос, запрещая осуждение ближнего, невольно сорвавшееся с языка, как дурное дело, такое же осуждение, совершаемое сознательно и связанное с причинением насилия над осужденным, не считает дурным делом и не запрещает,— на это нет ответа; и ни малейшего намека о том, чтобы можно было под осуждением разуметь и то осуждение, которое происходит на судах и от которого страдают миллионы. Мало того, по случаю этих слов: не судите и не осуждайте, этот-то самый жестокий прием судейского осуждения старательно обходится и даже выгораживается. Богословы-толкователи упоминают о том, что в христианских государствах суды должны быть и не противны закону Христа.

Заметив это, я уже усомнился в искренности этих толкований и обратился к самому переводу слов: *судите и осуждайте*, к тому, с чего следовало бы начать.

В подлиннике слова эти κρίνω и καταδικάζω. Неверный перевод слова καταλάεω в послании

Иакова, переведенного словом «злословить», подтверждал мое сомнение в верности перевода.

Справляюсь, как переводятся в Евангелиях слова $\kappa\rho\acute{\iota}\nu\omega$ и $\kappa\alpha\tau\alpha\delta\iota\kappa\acute{\alpha}\zeta\omega$ на разные языки, и нахожу, что в Вульгате слово «осуждать» переведено *condamnatione*; так же и по-французски; по-славянски — осуждать; у Лютера переведено *verdammen* — проклинать.

Различие этих переводов еще усиливает мои сомнения. И я задаю себе вопрос: что значат и могут значить греческое слово $\kappa\rho\acute{\iota}\nu\omega$, употребленное в обоих Евангелиях, и слово $\kappa\alpha\tau\alpha\delta\iota\kappa\acute{\alpha}\zeta\omega$, употребленное у Луки — евангелиста, писавшего, по мнению знатоков, на довольно хорошем греческом языке. Как переведет эти слова человек, ничего не знающий об учении евангельском и его толкованиях и имеющий перед собой одно это изречение?

Справляюсь с общим лексиконом и нахожу, что слово $\kappa\rho\acute{\iota}\nu\omega$ имеет много различных значений, и в том числе весьма употребительное значение — «приговаривать по суду», «казнить» даже, но никогда не имеет значения «злословить». Справляюсь с лексиконом Нового Завета и нахожу, что слово это в Новом Завете часто употребляется в смысле «приговаривать по суду». Иногда употребляется в смысле «отбирать», но никогда в смысле «злословить». Итак, вижу, что слово $\kappa\rho\acute{\iota}\nu\omega$ можно перевести различно, но что перевод такой, при котором оно получает значение — злословить, есть самый далекий и неожиданный.

Справляюсь о слове $\kappa\alpha\tau\alpha\delta\iota\kappa\acute{\alpha}\zeta\omega$, присоединенном к слову $\kappa\rho\acute{\iota}\nu\omega$, имеющему много значений, очевидно для того, чтобы определить то значение, в котором именно понимается писателем

первое слово. Справляюсь о слове *καταδικάζω* в общем лексиконе и нахожу, что *слово это никогда не имеет никакого другого значения, как только приговаривать по суду к наказаниям или казнить*. Справляюсь с лексиконом Нового Завета и нахожу, что слово это употреблено в Новом Завете *четыре раза, и всякий раз в смысле засудить, казнить*. Справляюсь с контекстами и нахожу, что слово это употреблено в послании Иакова, гл. V, ст. 6, где сказано: «Вы осудили и убили праведного». Слово *осудили*, то самое слово *καταδικάζω*, употреблено по отношению к Христу, которого засудили. *И иначе, в другом смысле, это слово никогда не употребляется ни во всем Новом Завете и ни в каком греческом языке.*

Что ж это такое? До чего я объюродивел! Я и каждый из нас, живущий в нашем обществе, если только призадумывался над участью людей, ужасался пред теми страданиями и тем злом, которое вносят в жизнь людей уголовные законы человеческие — зло и для судимых, и для судящих: от казней Чингис-хана и казней революции до казней наших дней.

Всякий человек с сердцем не миновал того впечатления ужаса и сомнения в добре при рассказе даже, не говорю, при виде казни людей такими же людьми: шпицрутенов на смерть, гильотины, виселицы.

В Евангелии, каждое слово которого мы считаем священным, прямо и ясно сказано: у вас был уголовный закон — зуб за зуб, а я даю вам новый: *не противьтесь злему*; все исполняйте эту заповедь: не делайте зла за зло, а делайте всегда и всем добро, всех прощайте.

И далее прямо сказано: *не судите*. И чтобы невозможно было недоразумение о значении слов,

которые сказаны, прибавлено: *не приговаривайте по суду к наказаниям.*

Сердце мое говорит ясно, внятно: не казните; наука говорит: не казните, чем больше казните — больше зла; разум говорит: не казните, злом нельзя пресечь зла. Слово Бога, в которое я верю, говорит то же. И я читаю все учение, читаю эти слова: *не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и будете прощены,* признаю, что это слово Бога, и говорю, что это значит то, что не надо заниматься сплетнями и злословием, и продолжаю считать суды христианским учреждением и себя судьей и христианином. И я ужаснулся пред той грубостью обмана, в котором я находился.

IV

Я понял теперь, что говорит Христос, когда он говорит: вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противься злу, а терпи его. Христос говорит: вам внушено, вы привыкли считать хорошим и разумным то, чтобы силой отстаиваться от зла и вырывать глаз за глаз, учреждать уголовные суды, полицию, войско, отстаиваться от врагов, а я говорю: не делайте насилия, не участвуйте в насилии, не делайте зла никому, даже тем, которых вы называете врагами.

Я понял теперь, что в положении о непротавлении злу Христос говорит не только, что выйдет непосредственно для каждого от непротавления злу, но он, в противоположение той основы, которую жило при нем по Моисею, по римскому праву и теперь по разным кодексам живет человечество, ставит положение непротав-

ления злу, которое, по его учению, должно быть основой жизни людей вместе и должно избавить человечество от зла, наносимого им самому себе. Он говорит: вы думаете, что ваши законы исправляют зло, — они только увеличивают его. Один есть путь пресечения зла — делание добра за зло всем без всякого различия. Вы тысячи лет пробовали ту основу, попробуйте мою — обратную.

Удивительное дело! В последнее время мне часто случалось говорить с самыми различными людьми об этом законе Христа — непротивления злу. Редко, но я встречал людей, соглашавшихся со мною. Но два рода людей никогда, даже в принципе, не допускают прямого понимания этого закона и горячо отстаивают справедливость противления злу. Это люди двух крайних полюсов: христиане патриоты-консерваторы, признающие свою церковь истинною, и атеисты-революционеры. Ни те ни другие не хотят отказаться от права насилеием противиться тому, что они считают злом. И самые умные, ученые люди из них никак не хотят видеть той простой, очевидной истины, что если допустить, что один человек может насилеием противиться тому, что он считает злом, то точно так же другой может насилеием противиться тому, что этот другой считает злом.

Недавно у меня была в руках поучительная в этом отношении переписка православного славянофила с христианином-революционером. Один отстаивал насилеие войны во имя угнетенных братьев-славян, другой — насилеие революции во имя угнетенных братьев — русских мужиков. Оба требуют насилия, и оба опираются на учение Христа.

Все на самые различные лады понимают учение Христа, но только не в том прямом простом смысле, который неизбежно вытекает из Его слов.

Мы устроили всю свою жизнь на тех самых основах, которые Он отрицает, не хотим понять Его учение в его простом и прямом смысле и уверяем себя и других, или что мы исповедуем Его учение, или что учение Его нам не годится. Так называемые верующие верят, что Христос — Бог, второе лицо Троицы, сошедшее на землю для того, чтобы дать людям пример жизни, и исполняют сложнейшие дела, нужные для совершения таинств, для постройки церквей, для посылки миссионеров, учреждения монастырей, управления папством, исправления веры, но одно маленькое обстоятельство они забывают — делать то, что он сказал. Неверующие всячески пробуют устроить свою жизнь, но только не по закону Христа, вперед решив, что этот закон не годится. Попытаться же делать то, что он говорит, этого никто не хочет. Но мало того, прежде чем даже попытаться делать это, и верующие и неверующие вперед решают, что это невозможно.

Он говорит просто, ясно: тот закон противления злу насилием, который мы положили в основу своей жизни, ложен и противоестественен; и дает другую основу — непротивления злу, которая, по его учению, одна может избавить человечество от зла. Он говорит: вы думаете, что ваши законы насилия исправляют зло; они только увеличивают его. Вы тысячи лет пытались уничтожить зло злом и не уничтожили, а увеличили его. Делайте то, что я говорю и делаю, и узнаете, правда ли это.

И не только говорит, но сам всею своею

жизнью и смертью исполняет свое учение о непротивлении злу.

Верующие всё это слушают, читают это в церквях, называя это Божественными словами, его называют Богом, но говорят: все это очень хорошо, но это невозможно при нашем устройстве жизни — это расстроит всю нашу жизнь, а мы к ней привыкли и любим ее. И потому мы верим во все это в том только смысле, что это есть идеал, к которому должно стремиться человечество, — идеал, который достигается молитвою и верою в таинства, в искупление и в воскресение из мертвых. Другие же, неверующие, свободные толкователи учения Христа, историки религий, — Штраусы, Ренаны и другие, — усвоив вполне церковное толкование о том, что учение Христа не имеет никакого прямого приложения к жизни, а есть мечтательное учение, утешающее слабоумных людей, пресерьезно говорят о том, что учение Христа годно было для проповедования диким обитателям захолустьев Галилеи, но нам, с нашей культурой, оно представляется только милою мечтою «*du charmant docteur*»¹, как говорит Ренан. По их мнению, Христос не мог подняться до высоты понимания всей мудрости нашей цивилизации и культуры. Если бы он стоял на той же высоте образования, на которой стоят эти ученые люди, он не говорил бы тех милых пустяков: о птицах небесных, о подставлении щеки и заботе только о нынешнем дне. Ученые историки эти судят о христианстве по тому христианству, которое они видят в нашем обществе. По христианству же нашего общества и времени признается истинной и священной наша жизнь с ее устройством тюрем одиночного

¹ «очаровательного учителя» (*фр.*). — *Ред.*

заклучения, альказаров, фабрик, журналов, борделей и парламентов, и из учения Христа берется только то, что не нарушает этой жизни. А так как учение Христа отрицает всю эту жизнь, то из учения Христа не берется ничего, кроме слов. Ученые историки видят это и, не имея нужды скрывать это, как скрывают это мнимоверующие, это-то лишенное всякого содержания учение Христа и подвергают глубокомысленной критике и весьма основательно опровергают и доказывают, что в христианстве никогда ничего и не было, кроме мечтательных идей.

Казалось бы, прежде чем судить об учении Христа, надо понять, в чем оно состоит. И чтобы решать: разумно ли его учение или нет, надо прежде всего признавать, что он говорил то, что говорил. А этого-то мы и не делаем: ни церковные, ни вольнодумные толкователи. И очень хорошо знаем, почему мы этого не делаем.

Мы очень хорошо знаем, что учение Христа всегда обнимало и обнимает, отрицая их, все те заблуждения людские, те «тогу», пустые идолы, которые мы, назвав их церковью, государством, культурою, наукою, искусством, цивилизацией, думаем выгородить из ряда заблуждений. Но Христос против них-то и говорит, не выгораживая никаких «тогу».

Не только Христос, но все пророки еврейские — Иоанн Креститель, все истинные мудрецы мира об этой-то самой церкви, об этом самом государстве, об этой самой культуре, цивилизации и говорят, называя их злом и погибелью людей.

Положим, строитель скажет жителю: ваш дом дурен, его надо весь перестроить. А потом будет говорить подробности о том, какие бревна, как

срезать и куда положить. Житель пропустит мимо ушей слова о том, что дом дурен и надо его перестроить, и будет с притворным уважением слушать слова строителя о дальнейших распоряжениях и размещении в доме. Очевидно, все советы строителя будут казаться непригодными, а не уважающий строителя будет прямо называть эти советы глупыми. Это самое совершается так точно по отношению к учению Христа.

Не найдя лучшего сравнения, я употребил это. И вспомнил, что Христос, преподавая свое учение, употребил это самое сравнение. Он сказал: я разрушу ваш храм и в три дня построю новый. И за это самое его распяли. И за это самое и теперь распинают его учение.

Наименьшее, что можно требовать от людей, судящих о чьем-нибудь учении, это то, чтобы судили об учении учителя так, как он сам понимал его. А он понимал свое учение не как какой-то далекий идеал человечества, исполнение которого невозможно, не как мечтательные поэтические фантазии, которыми он пленял простых жителей Галилеи; он понимал свое учение как дело, такое дело, которое спасет человечество, и он не мечтал на кресте, а кричал и умер за свое учение. И так же умирали и умрут еще много людей. Нельзя говорить про такое учение, что оно — мечта.

Всякое учение истины — мечта для заблудших. Мы до того дошли, что есть много людей (и я был в числе их), которые говорят, что учение это мечтательно, потому что оно несвойственно природе человека. Несвойственно, говорят, природе человека подставить другую щеку, когда его ударяют по одной, несвойственно отдать свое чужому, несвойственно работать не на себя, а на

другого. Человеку свойственно, говорят, отстаивать себя, свою безопасность, безопасность своей семьи, собственность, другими словами,—человеку свойственно бороться за свое существование. Ученый правовед научно доказывает, что самая священная обязанность человека есть отстаивание своего права, то есть борьба.

Но стоит на минуту отрешиться от той мысли, что устройство, которое существует и сделано людьми, есть наилучшее, священное устройство жизни, чтобы возражение это о том, что учение Христа несвойственно природе человека, тотчас же обратилось против возражателей. Кто будет спорить о том, что не то что мучить или убивать человека, но мучить собаку, убить курицу и теленка противно и мучительно природе человека. (Я знаю людей, живущих земледельческим трудом, которые перестали есть мясо только потому, что им приходилось самим убивать своих животных.) А между тем все устройство нашей жизни таково, что всякое личное благо человека приобретается страданиями других людей, которые противны природе человека. Все устройство нашей жизни, весь сложный механизм наших учреждений, имеющих целью насилие, свидетельствует о том, до какой степени насилие противно природе человека. Ни один судья не решится задушить веревкой того, кого он приговорил к смерти по своему правосудию. Ни один начальник не решится взять мужика из плачущей семьи и запереть его в острог. Ни один генерал или солдат без дисциплины, присяги и войны не убьет не только сотни турок или немцев и не разорит их деревень, но не решится ранить ни одного человека. Все это делается только благодаря той сложнейшей ма-

шине государственной и общественной, задача которой состоит в том, чтобы разбивать ответственность совершаемых злодейств так, чтобы никто не чувствовал противоестественности этих поступков. Одни пишут законы, другие прилагают их, третьи муштруют людей, воспитывая в них привычки дисциплины, то есть бессмысленного и безответного повиновения, четвертые — эти самые вымуштрованные люди — делают всякого рода насилия, даже убивают людей, не зная зачем и для чего. Но стоит человеку хоть на минуту мысленно освободиться от этой сети устройства мирского, в которой он запутался, чтобы понять, что ему несвойственно.

Не будем только утверждать, что привычное зло, которым мы пользуемся, есть несомненная Божественная истина, и тогда ясно, что естественно и свойственно человеку: насилие или закон Христа? Знать ли, что спокойствие и безопасность моя и семьи, все мои радости и веселья покупаются нищетой, развратом и страданиями миллионов, — ежегодными виселицами, сотнями тысяч страдающих узников и миллионом оторванных от семей и одуренных дисциплиной солдат, городских и урядников, которые оберегают мои потехи заряженными на голодных людей пистолетами; покупать ли каждый сладкий кусок, который я кладу в свой рот или рот моих детей, всем тем страданием человечества, которое неизбежно для приобретения этих кусков; или знать, что какой ни есть кусок — мой кусок только тогда, когда он никому не нужен и никто из-за него не страдает. Стоит только понять раз, что это так, что всякая радость моя, всякая минута спокойствия при нашем устройстве жизни покупается лишениями и стра-

даниями тысяч, удерживаемых насильем; стоит раз понять это, чтобы понять, что свойственно всей природе человека, то есть не одной животной, но и разумной и животной природе человека; стоит только понять закон Христа во всем его значении, со всеми последствиями его для того, чтобы понять, что не учение Христа несвойственно человеческой природе, но все оно только в том и состоит, чтобы откинуть несвойственное человеческой природе мечтательное учение людей о противлении злу, делающее их жизнь несчастною.

Учение Христа о непротивлении злу — мечта! А то, что жизнь людей, в душу которых вложена жалость и любовь друг к другу, проходила и теперь проходит для одних в устройстве костров, кнутов, колесований, плетей, рванья ноздрей, пыток, кандалов, каторг, виселиц, расстреливаний, одиночных заключений, острогов для женщин и детей, в устройстве побоищ десятками тысяч на войне, в устройстве периодических революций и пугачевщин, а жизнь других — в том, чтобы исполнять все эти ужасы, а третьих — в том, чтобы избегать этих страданий и оплачивать за них, — такая жизнь не мечта.

Стоит понять учение Христа, чтобы понять, что мир, не тот, который дан Богом для радости человека, а тот мир, который учрежден людьми для гибели их, есть мечта, и мечта самая дикая, ужасная, бред сумасшедшего, от которого стоит только раз проснуться, чтобы уже никогда не возвращаться к этому страшному сновидению.

Бог сошел на землю; Сын Бога — одно лицо Святой Троицы, — вочеловечился, искупил грех Адама; Бог этот, нас приучили так думать, должен был сказать что-нибудь таинственно-мистичес-

кое, такое, что трудно понять, что можно понять только помощью веры и благодати, и вдруг слова Бога так просты, так ясны, так разумны. Бог говорит просто: не делайте друг другу зла — не будет зла. Неужели так просто откровение Бога? Неужели только это сказал Бог? Нам кажется, что мы это всё знаем. Это так просто.

Илья-пророк, убегая от людей, укрылся в пещере, и ему было откровение, что Бог явится ему у входа пещеры. Сделалась буря — ломались деревья. Илья подумал, что это Бог, и посмотрел, но Бога не было. Потом началась гроза; гром и молния были страшные. Илья вышел посмотреть — нет ли Бога, но Бога не было. Потом случилось землетрясение: огонь шел из земли, трескались скалы, валились горы. Илья посмотрел, но Бога не было. Потом стало тихо, и легкий ветерок пахнул с освеженных полей. Илья посмотрел — и Бог был тут. Таковы и эти простые слова Бога: не противься злу.

Они очень просты, но в них выражен закон Бога и человека, единственный и вечный. Закон этот до такой степени вечен, что если и есть в исторической жизни движение вперед к устранению зла, то только благодаря тем людям, которые так поняли учение Христа и которые переносили зло, а не сопротивлялись ему насильем. Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло. То, что это так, есть в мире души человека такой же непреложный закон, как закон Галилея, но более непреложный, более ясный и полный. Люди могут отступать от него, скрывая его от других, но все-таки движение чело-

вечества к благу может совершаться только на этом пути. Всякий ход вперед сделан только во имя непротивления злу. И ученик Христа может увереннее, чем Галилей, ввиду всех возможных соблазнов и угроз, утверждать: «И все-таки не насилим, а добром только вы уничтожите зло». И если медленно это движение, то только благодаря тому, что ясность, простота, разумность, неизбежность и обязательность учения Христа скрыты от большинства людей самым хитрым и опасным образом, скрыты под чужим учением, ложно называемым его учением.

V

Все подтверждало верность открывшегося мне смысла учения Христа. Но долго я не мог выкинуть к той странной мысли, что после 1800 лет исповедания Христова закона миллиардами людей после тысяч людей, посвятивших свою жизнь на изучение этого закона, теперь мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа. Но как ни странно это было, это было так: учение Христа о непротивлении злу восстало предо мной, как что-то совершенно новое, о чем я не имел ни малейшего понятия. И я спросил себя: отчего это могло произойти? У меня должно было быть какое-нибудь ложное представление о значении учения Христа для того, чтобы я мог так не понять его. И ложное представление это было.

Приступая к чтению Евангелия, я не находился в том положении человека, который, никогда ничего не слышав об учении Христа, вдруг в первый раз услышал его; а во мне была уже готова целая теория о том, как я должен понимать

его. Христос не представлялся мне пророком, который открывает мне Божеский закон, а он представлялся мне дополнителем и разъяснителем уже известного мне несомненного закона Бога. Я имел уже целое, определенное и очень сложное учение о Боге, о сотворении мира и человека и о заповедях Его, данных людям через Моисея.

В Евангелиях я встретил слова: «Вам сказано: око за око и зуб за зуб; а я говорю вам: не противьтесь злу». Слова: «око за око и зуб за зуб» — была заповедь, данная Богом Моисею. Слова: «я говорю: не противься злу или злему», была новая заповедь, которая отрицала первую.

Если бы я просто относился к учению Христа, без той богословской теории, которая с молоком матери была всосана мною, я бы просто понял простой смысл слов Христа. Я бы понял, что Христос отрицает старый закон и дает свой, новый закон. Но мне было внушено, что Христос не отрицает закон Моисея, а, напротив, утверждает его весь до малейшей черты и йоты и восполняет его. Стихи 17—23 V гл. Матфея, в которых утверждается это, всегда, при прежних чтениях моих Евангелия, поражали меня своей неясностью и вызывали сомнения. Насколько я знал тогда Ветхий Завет, в особенности последние книги Моисея, в которых изложены такие мелочные, бессмысленные и часто жестокие правила, при каждом из которых говорится: «и Бог сказал Моисею», мне казалось странным, чтобы Христос мог утвердить этот закон, и непонятно, зачем он это сделал. Но я оставлял тогда вопрос, не решая его. Я принимал на веру то с детства внушенное мне толкование, что оба закона эти суть произведения Святого Духа, что законы

эти соглашаются, что Христос утверждает закон Моисея и дополняет и восполняет его. Как происходит это восполнение, как разрешаются те противоречия, которые бросаются в глаза в самом Евангелии и в этих стихах 17—20 и в словах: «а я говорю», я никогда не давал себе ясного отчета. Теперь же, признав простой и прямой смысл учения Христа, я понял, что два закона эти противоположны и что не может быть и речи о соглашении их или восполнении одного другим, что необходимо принять один из двух и что толкование стихов 17—20-го пятой главы Матфея, и прежде поражавших меня своей неясностью, должно быть неверно.

И, вновь прочтя стихи 17—19, те самые, которые казались мне всегда так неясны, я был поражен тем простым и ясным смыслом этих стихов, который вдруг открылся мне.

Смысл этот открылся мне не оттого, что я что-нибудь придумывал, переставлял, а только оттого, что откинул то искусственное толкование, которое присоединялось к этому месту.

Христос говорит (Матф., V, 17—18): «Не думайте, чтобы я пришел нарушить закон или (учение) пророков; я не нарушить пришел, но исполнить. Потому что верно говорю вам, скорее упадет небо и земля, чем выпадет одна малейшая йота или черта (частица) закона, пока не исполнится все».

И 20-й стих прибавляет: «Ибо, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в царство небесное».

Христос говорит: я не пришел нарушить вечный закон, для исполнения которого написаны ваши книги и пророчества, но пришел научить исполнять вечный закон; но я говорю не про ваш

тот закон, который называют законом Бога ваши учителя-фарисеи, а про тот закон вечный, который менее, чем небо и земля, подлежит изменению.

Я выражаю ту же мысль другими словами только для того, чтобы оторвать мысль от обычного ложного понимания. Не будь этого ложного понимания, то нельзя точнее и лучше выразить эту мысль, чем как она выражена в этих стихах.

Толкование, что Христос не отрицает закон, основано на том, что слову «закон» в этом месте, благодаря сравнению с йотою писаного закона, без всякого основания и противно смыслу слов, приписано значение писаного закона — вместо закона вечного. Но Христос говорит не о писаном законе. Если бы Христос в этом месте говорил о законе писаном, то он употребил бы обычное выражение: закон и пророки, то самое, которое он всегда и употребляет, говоря о писаном законе; но он употребляет совсем другое выражение: *закон или пророки*. Если бы Христос говорил о законе писаном, то он и в следующем стихе, составляющем продолжение мысли, употребил бы слово: «*закон и пророки*», а не слово *закон* без прибавления, как оно стоит в этом стихе. Но мало того, Христос употребляет то же выражение — по Евангелию Луки — в такой связи, что значение это становится уже несомненным. У Луки, XVI, 15, Христос говорит фарисеям, полагавшим праведность в писаном законе. Он говорит: «Вы оправдываете сами себя перед людьми, но Бог знает ваши сердца; что у людей высоко, то мерзость перед Богом». 16. «Закон и пророки до Иоанна, а с тех пор царство Божие благовестуется, и всякий своим усилием входит в него». И тут-то, вслед за этим (см. 17). Он говорит:

«Легче небу и земле прейти, чем из закона выпасть одной черточке». Словами: «закон и пророки до Иоанна» Христос упраздняет закон писанный. Словами: «легче небу и земле прейти, чем из закона выпасть черточке», он утверждает закон вечный. В первых словах он говорит: *закон и пророки*, то есть писанный закон; во-вторых, он говорит просто: закон, следовательно *закон* вечный. Стало быть, ясно, что здесь противопоставляется закон вечный закону писаному¹ и что точно то же противуположение делается и в контексте Матфея, где закон вечный определяется словами: *закон или пророки*.

Замечательна история текста стихов 17 и 18 по вариантам. В большинстве списков стоит только слово «закон» без прибавления «пророки». При таком чтении уже не может быть перетолкования о том, что это значит закон писанный. В других же списках, в Тишендорфовском и в каноническом, стоит прибавка — «пророки», но не с союзом «и», а с союзом «или»: *закон или пророки*, что точно так же исключает смысл закона писаного и дает смысл вечного закона.

В некоторых же списках, не принятых церковью, стоит прибавка: «пророки» с союзом «и», а не «или»; и в тех же списках при повторении слова «закон» прибавляется опять: «и пророки».

¹ Мало этого, как бы для того, чтобы уж не было никакого сомнения о том, про какой закон он говорит, он тотчас же в связи с этим приводит пример, самый резкий пример отрицания закона Моисеева — законом вечным, тем, из которого не может выпасть ни одна черточка; он, приводя самое резкое противоречие закону Моисея, которое есть в Евангелии, говорит (Луки, XVI, 18): «всякий, кто отпускает жену и женится на другой, прелюбодействует», то есть в писаном законе позволено разводиться, а по вечному — это грех.

Так что смысл всему изречению при этой переделке придается такой, что Христос говорит только о писаном законе.

Эти варианты дают историю толкований этого места. Смысл один ясный тот, что Христос, так же как и по Луке, говорит о законе вечном; но в числе писателей Евангелий находятся такие, которым желательно признать обязательность писаного закона Моисеева, и эти писатели присоединяют к слову «закон» прибавку — «и пророки» — и изменяют смысл.

Другие христиане, не признающие книг Моисея, или исключают вставку, или заменяют слово: «и» — «καί» словом «или» — «ή». И с этим «или» это место входит в канон. Но, несмотря на ясность и несомненность текста в том виде, в котором он вошел в канон, канонические толкователи продолжают толковать его в том духе, в котором были сделаны не вошедшие в текст изменения. Место это подвергается бесчисленным толкованиям, тем больше удаляющимся от его прямого значения, чем менее толкующий согласен с самым прямым, простым смыслом учения Христа, и большинство толкователей удерживают апокрифический смысл, тот самый, который отвергнут текстом.

Чтобы вполне убедиться в том, что в этих стихах Христос говорит только о вечном законе, стоит вникнуть в значение того слова, которое подало повод к жетолкованиям. По-русски — закон, по-гречески — νόμος, по-еврейски — тора, как по-русски, по-гречески и по-еврейски имеют два главные значения: одно — самый закон без отношения к его выражению. Другое понятие есть писаное выражение того, что известные люди

считают законом. Различие этих двух значений существует и во всех языках.

По-гречески в посланиях Павла различие это даже определяется иногда употреблением члена. Без члена Павел употребляет это слово большею частью в смысле писаного закона, с членом — в смысле вечного закона Бога.

У древних евреев, у пророков, у Исаии — слово «закон», *тора*, всегда употребляется в смысле вечного, единого, невыраженного откровения — научения Бога. И то же слово — закон, *тора*, у Ездры в первый раз и в позднейшее время, во время Талмуда, стало употребляться в смысле написанных пяти книг Моисея, над которыми и пишется общее заглавие — *тора*, так же как у нас употребляется слово «Библия»; но с тем различием, что у нас есть слова, чтобы различать между понятиями — Библии и закона Бога, а у евреев одно и то же слово означает оба понятия.

И потому Христос, употребляя слово «закон» — «тора», употребляет его, то утверждая его, как Исаия и другие пророки, в смысле закона Бога, который вечен, то отрицая его в смысле писаного закона пяти книг. Но для различия, когда он, отрицая его, употребляет это слово в смысле писаного закона, он прибавляет всегда слово: «и пророки», или слово: «ваш», присоединяя его к слову «закон».

Когда он говорит: «Не делай того другому, что не хочешь, чтобы тебе делали, в этом одном — весь закон и пророки», он говорит о писаном законе, он говорит, что весь писанный закон может быть сведен к одному этому выражению вечного закона, и этими словами упраздняет писанный закон.

Когда он говорит (Луки, XVI, 16): «закон

и пророки до Иоанна Крестителя», он говорит о писаном законе и словами этими отрицает его обязательность.

Когда он говорит (Иоанна, VII, 19): «не дали вам *Моисей закона*, и никто не исполняет его»; или (Иоанна, VIII, 17): «не сказано ли *в законе вашем*; или: «слово, написанное в законе *их*» (Иоанна, XV, 25), — он говорит о писаном законе, о том законе, который он отрицает, о том законе, который его самого присуждает к смерти (Иоанна, XIX, 7). Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и *по закону нашему он должен умереть*». Очевидно, что этот закон иудеев, тот, по которому казнили, не есть тот закон, которому учил Христос. Но когда Христос говорит: я не нарушить пришел закон, но научить вас исполнять его, потому что ничто не может измениться в законе, а все должно исполниться, — он говорит не о законе писаном, а о законе Божественном, вечном, и утверждает его.

Но положим, что все это — формальные доказательства, положим, что я старательно подобрал контексты, варианты, старательно скрыл все то, что было против моего толкования; положим, что толкования церкви очень ясны и убедительны и что Христос действительно не нарушал закон Моисея, а оставил его во всей силе. Положим, что это так. Но тогда чему же учит Христос?

По толкованиям церкви, он учил тому, что он, второе лицо Троицы, Сын Бога-Отца, пришел на землю и искупил своей смертью грех Адама. Но всякий, читавший Евангелие, знает, что Христос в Евангелиях или ничего, или очень сомнительно говорит про это. Но положим, что мы не умеем читать и там говорится про это. Но, во всяком случае, указание Христа на то, что он есть второе

лицо Троицы и искупляет грехи человечества, занимает самую малую и неясную часть Евангелия. В чем же все остальное содержание учения Христа? Нельзя отрицать, и все христиане всегда признавали это, что главное содержание учения Христа есть учение о жизни людей: как надо жить людям между собою.

Признав, что Христос учил новому образу жизни, надо представить себе каких-нибудь определенных людей, среди которых он учил.

Представим себе русских, или англичан, или китайцев, или индусов, или даже диких на островах, и мы увидим, что у всякого народа всегда есть свои правила жизни, свой закон жизни, и что потому, если учитель учит новому закону жизни, то он этим самым учением разрушает прежний закон жизни; не разрушая его, он не может учить. Так это будет в Англии, в Китае и у нас. Учитель неизбежно будет разрушать наши законы, которые мы считаем дорогими и почти священными; но среди нас еще может случиться то, что проповедник, уча новой жизни, будет разрушать только наши законы гражданские, государственные, наши обычаи, но не будет касаться законов, которые мы считаем Божественными, хотя это и трудно предположить. Но среди еврейского народа, у которого был только один закон — весь Божественный и обнимавший всю жизнь со всеми мельчайшими подробностями, среди такого народа, что мог проповедывать проповедник, вперед объявлявший, что весь закон народа, среди которого он проповедует, ненарушим? Но, положим, и это недоказательно. Пусть те, которые толкуют слова Христа так, что он утверждает весь закон Моисея, пусть они объяснят себе: кого же во всю свою деятельность обличал Христос, против кого

восставал, называя их фарисеями, законниками, книжниками?

Кто не принял учения Христа и распял его с своими первосвященниками?

Если Христос признавал закон Моисея, то где же были те настоящие исполнители этого закона, которых бы одобрял за это Христос? Неужели ни одного не было? Фарисеи, нам говорят, была секта. Евреи не говорят этого. Они говорят: фарисеи — истинные исполнители закона. Но, положим, это секта. Саддукеи тоже секта. Где же были не секты, а настоящие?

По Евангелию Иоанна, все они, враги Христа, прямо называются иудеи. И они не согласны с учением Христа и противны ему только потому, что они иудеи. Но в Евангелиях не одни фарисеи и саддукеи выставляются врагами Христа; врагами Христа называются и законники, те самые, которые блюдут закон Моисея, книжники, те самые, которые читают закон, старейшины, те самые, которые считаются всегда представителями мудрости народной.

Христос говорит: я не праведных пришел призывать к покаянию, к перемене жизни, μετανοία, но грешных. Где же, какие же были эти праведные? Неужели один Никодим? Но и Никодим представлен нам добрым человеком, но заблудшим.

Мы так привыкли к тому, по меньшей мере странному толкованию, что фарисеи и какие-то злые иудеи распяли Христа, что тот простой вопрос о том, где же были те не фарисеи и не злые, а настоящие иудеи, державшие закон, и не приходит нам в голову. Стоит задать себе этот вопрос, чтобы все стало совершенно ясно. Христос — будь он Бог или человек — принес свое учение в

мир среди народа, державшегося закона, определявшего всю жизнь людей и называвшегося законом Бога. Как мог отнестись к этому закону Христос?

Всякий пророк — учитель веры, открывая людям закон Бога, всегда встречается между людьми уже то, что эти люди считают законом Бога, и не может избежать двоякого употребления слова «закон», означающего то, что эти люди считают ложно законом Бога *ваш закон*, и то, что есть истинный, вечный закон Бога. Но мало того, что не может избежать двоякого употребления этого слова, проповедник часто не хочет избежать его и умышленно соединяет оба понятия, указывая на то, что в том ложном в его совокупности законе, который исповедуют те, которых он обращает, что и в этом законе есть истины вечные. И всякий проповедник эти-то знакомые обращаемым истины и берет за основу своей проповеди. То самое делает и Христос среди евреев, у которых и тот и другой закон называется одним словом *тора*. Христос по отношению к закону Моисея и еще более к пророкам, в особенности Исаии, слова которого он постоянно приводит, признает, что в еврейском законе и пророках есть истины вечные, Божеские, сходящиеся с вечным законом, и их-то, как изречение — люби Бога и ближнего — берет за основание своего учения.

Христос много раз выражает эту самую мысль (Луки, X, 26). Он говорит: в законе что написано? *Как читаешь?* И в законе можно найти вечную истину, если умеешь читать. И он указывает не раз на то, что заповедь их закона о любви к Богу и ближнему есть заповедь закона вечного (Матф., XIII, 52). Христос после всех тех притч, которыми он объясняет ученикам значение своего

учения, в конце всего, как относящееся ко всему предшествующему, говорит: поэтому-то всякий книжник, то есть грамотный, наученный истине, подобен хозяину, который берет из своего сокровища (вместе, безразлично) и старое и новое.

Св. Ириней, а за ним и вся церковь точно так и понимают эти слова, но, совершенно произвольно и нарушая тем смысл речи, приписывают этим словам значение того, что все старое — священо. Смысл ясный тот, что кому нужно доброе, тот берет не одно новое, но и старое, и что потому, что оно старое, его нельзя отбрасывать. Христос этими словами говорит, что он не отрицает того, что в древнем законе вечно. Но когда ему говорят о всем законе или о формах его, — он говорит, что нельзя вливать вино новое в мехи старые. Христос не мог утверждать весь закон, но он не мог также и отрицать весь закон и пророков, тот закон, в котором сказано: люби ближнего как самого себя, и тех пророков, словами которых он часто высказывает свои мысли.

И вот, вместо этого простого и ясного понимания самых простых слов, как они сказаны и как они подтверждаются всем учением Христа, подставляется туманное толкование, вводящее противоречие туда, где его нет, и тем уничтожающее значение учения Христа, сводящее его на слова и восстанавливающее на деле учение Моисея во всей его дикой жестокости.

По всем церковным толкованиям, особенно с пятого века, Христос не нарушал писанный закон, а утверждал его. Но как он утвердил его? Как может быть соединен закон Христа с законом Моисея? На это нет никакого ответа. Во всех толкованиях делается игра слов и говорится о том, что Христос исполнил *закон Моисея* тем, что на

нем исполнились пророчества, и о том, что Христос *через нас*, через веру людей в себя, исполнил закон. Единственный же существенный для каждого верующего вопрос о том, как соединить два противоречивые закона, определяющие жизнь людей, остается даже без попытки разрешения. И противоречие между тем стихом, в котором говорится, что Христос не разрушает закон, и стихом, где говорится: «вам сказано... а я говорю вам»... и между всем духом учения Моисея и учением Христа остается во всей силе.

Всякий интересующийся этим вопросом пусть сам посмотрит церковные толкования этого места, начиная от Иоанна Златоуста и до нашего времени. Только прочтя эти длинные толкования, он ясно убедится, что тут не только нет разрешения противоречия, но есть искусственно внесенное противоречие туда, где его не было. Невозможные попытки соединения несоединимого ясно показывают, что соединение это не есть ошибка мысли, а что соединение имеет ясную и определенную цель, что оно нужно. И даже видно, зачем оно нужно.

Вот что говорит Иоанн Златоуст, возражая тем, которые отвергают закон Моисея (толкование на Евангелие Матфея Иоанна Златоуста, т. I, стр. 320, 321):

«Далее, испытывая древний закон, в коем повелевается исторгать око за око и зуб за зуб, тотчас возражают: как может быть благим тот, который говорит сие? Что же мы на сие скажем? *То, что это, напротив, есть величайший знак человеколюбия Божия* *. Не для того он постановил сей закон, чтобы мы исторгали глаза один у друго-

* Курсив Толстого.— *Ред.*

го, но чтобы, опасаясь потерпеть сие зло от других, не причиняли и им оно. Подобно тому, как, угрожая погибелью ниневитянам, он не хотел их погубить (ибо если б Он хотел сего, то надлежало бы Ему молчать), но хотел только сим страхом сделать их лучшими, оставить гнев свой. Так и тем, кои так дерзки, что готовы выколоть у других глаза, определил наказание с тою целью, что если они по доброй воле не захотят удержаться от сей жестокости, то по крайней мере страх препятствовал бы им отнимать зрение у ближних. Если бы это была жестокость, то жестокостию было бы и то, что запрещается убийство, возбраняется прелюбодеяние. Но так говорить могут только сумасшедшие, дошедшие до последней степени безумия. А я столько страшусь назвать сии постановления жестокими, *что противное оным почел бы делом незаконным* *, судя по здравому человеческому смыслу. Ты говоришь, что Бог жесток потому, что повелел исторгать око за око; а я скажу, что когда бы Он не дал такого повеления, тогда бы справедливее многие могли бы почестъ Его таким, каким ты Его называешь». Иоанн Златоуст прямо признает закон зуб за зуб законом Божественным и *противное закону зуб за зуб*, то есть учение Христа о непротивлении злу, делом незаконным. Стр. 322, 323: «Положим, что весь закон уничтожен,— далее говорит Иоанн Златоуст,— и никто не страшится определенного оным наказания,— что всем порочным позволено без всякого страха жить по своим склонностям, и прелюбодеям, и убийцам, и ворам, и клятвопреступникам. Не низвернется ли тогда все, не наполнятся ли бесчисленными злодеяниями и убийствами города, тор-

* Курсив Толстого.— *Ред.*

жища, дома, земля, море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если и при существовании законов, при страхе и угрозах, злые намерения едва удерживаются, то когда бы отнята была и сия преграда, что тогда препятствовало бы людям решаться на зло? Какие бедствия не вторглись бы тогда в жизнь человеческую? Не только то есть жестокость, когда злым позволяют делать что хотят, но и то, когда человека, не учинившего никакой несправедливости, оставляют страдать невинно без всякой защиты. Скажи мне, если бы кто-нибудь, собрав отовсюду злых людей и вооруживши их мечами, приказал им ходить по всему городу и убивать всех встречающихся, — может ли быть что бесчеловечнее сего? Напротив, если бы кто-нибудь другой сих вооруженных людей связал и силою заключил их в темницу, а тех, которым угрожала смерть, похитил бы из рук беззаконников оных, может ли что-нибудь быть человеколюбивее сего?»

Иоанн Златоуст не говорит: чем будет руководствоваться кто-нибудь другой в определении злых? Что, если он сам злой и будет сажать в темницу добрых?

«Теперь приложи сии примеры к закону: повелевающий исторгать око за око налагает сей страх, как некие крепкие узы, на души порочных и уподобляется человеку, связавшему оных вооруженных; а кто не определил бы никакого наказания преступникам, тот вооружил бы их бесстрашием и был бы подобен человеку, который роздал злодеям мечи и разослал их по всему городу».

Если Иоанн Златоуст признает закон Христа, то он должен сказать: кто же будет исторгать глаза и зубы и сажать в темницу! Если бы повелева-

ющий исторгать око за око, то есть Бог, сам бы исторгал, то тут не было бы противоречия, а то это надо делать людям, а людям этим Сын Божий сказал, что этого не надо делать. Бог сказал: исторгать зубы, а Сын сказал: не исторгать, — надо признать одно из двух, и Иоанн Златоуст и за ним вся церковь признает повеление Бога-Отца, то есть Моисея, и отрицает повеление Сына, то есть Христа, которого учение будто бы исповедует.

Христос отвергает закон Моисея, дает свой. Для человека, верующего Христу, нет никакого противоречия. Он и не обращает никакого внимания на закон Моисея, а верует в закон Христа и исполняет его. Для человека, верующего закону Моисея, тоже нет никакого противоречия. Евреи признают слова Христа пустыми и верят закону Моисея. Противоречие является только для тех, которые хотят жить по закону Моисея, а уверяют себя и других, что они верят закону Христа, — для тех, которых Христос называл лицемерами, порождениями ехидны.

Вместо того чтобы признать одно из двух: закон Моисея или Христа, признается, что оба Божественно-истинны.

Но когда вопрос касается дела самой жизни, то прямо отрицается закон Христа и признается закон Моисея.

В этом ложном толковании, если вникнуть в значение его, страшная, ужасная драма борьбы зла и тьмы с благом и светом.

Среди еврейского народа, запутанного бесчисленными внешними правилами, наложенными на него левитами под видом Божеских законов, пред каждым из которых стоит изречение: «и Бог сказал Моисею», — является Христос. Не только отношения человека к Богу, его жертвы, праздники,

посты, отношения человека к человеку, народные, гражданские, семейные отношения, все подробности личной жизни: обрезание, омовение себя и чаш, одежды,— все определено до последних мелочей и все признано повелением Бога, законом Бога. Что же может сделать, не говоря Христос-Бог, но пророк, но самый обыкновенный учитель, уча такой народ, не нарушая тот закон, который уже определил всё до малейших подробностей? Христос так же, как и все пророки, берет из того, что люди считают законом Бога, то, что есть точно закон Бога, берет основы, откидывает все остальное и с этими основами связывает свое откровение вечного закона. Нет нужды уничтожать всё, но неизбежно нарушить тот закон, который считается одинаково обязательным во всем. Христос делает это, и его упрекают в нарушении того, что считается законом Бога, и за это самое его казнят. Но учение его остается у его учеников и переходит в другую среду и в века. Но в другой среде веками нарастают опять на это новое учение такие же наслоения, толкования, объяснения, опять подстановка человеческих изменных измышлений на место Божеского откровения; вместо «и Бог сказал Моисею» говорится: «изволися нам и Св. Духу». И опять буква покрывает дух. И что более всего поразительно — это то, что учение Христа связывается со всей той «тора» в смысле писаного закона, который он не мог не отрицать. Эта тора признается произведением откровения его духа истины, то есть Св. Духа, и он сам оказывается в тенетах своего откровения. И все учение его сводится на ничто.

Так вот отчего после 1880 лет со мной случилась такая страшная вещь, что мне пришлось открывать смысл учения Христа как что-то новое.

Мне не открывать пришлось, а мне пришлось делать то самое, что делали и делают все люди, ищущие Бога и закон Его: находить то, что есть вечный закон Бога, среди всего того, что люди называют этим именем.

VI

И вот, когда я понял закон Христа как закон Христа, а не закон Моисея и Христа, и понял то положение этого закона, которое прямо отрицает закон Моисея, так все Евангелия, вместо прежней неясности, разбросанности, противоречий, слились для меня в одно неразрывное целое, и среди их выделилась сущность всего учения, выраженная в простых, ясных и доступных каждому пяти заповедях Христа (Матф., V, 21—48), о которых я ничего не знал до сих пор.

Во всех Евангелиях говорится о заповедях Христа и об исполнении их.

Все богословы говорят о заповедях Христа; но какие эти *заповеди*, я не знал прежде. Мне казалось, что заповедь Христа состоит в том, чтобы любить Бога и ближнего, как самого себя. И я не видел, что это не может быть заповедь Христа, потому что это есть заповедь древних (Второзаконие и Левит). Слова (Матф., V, 19) — кто нарушит одну из *заповедей сих* малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном, — я относил к заповедям Моисея. А то, что новые заповеди Христа ясно и определенно выражены в стихах V главы Матфея от 21—48, никогда не приходило мне в голову. Я не видел того, что в том месте, где Хри-

стос говорит: «вам сказано, а я говорю вам», выражены новые определенные заповеди Христа, и именно по числу ссылок на древний закон (считая две ссылки о прелюбодеянии за одну), пять новых, ясных и определенных заповедей Христа.

Про блаженства и про число их я слышал и встречал перечисление и объяснение их в преподавании закона Божия; но о заповедях Христа я никогда ничего не слышал. Я, к удивлению моему, должен был открывать их.

И вот как я открывал их. Матф., V; 21—26. Сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду (Исход, XX, 13). А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака́» — подлежит синедрону, а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной (23). Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя (24), оставь там дар твой пред жертвенником и пойдя прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой (25). Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу (26). Истинно говорю: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта».

Когда я понял заповедь о непротивлении злу, мне представилось, что стихи эти должны иметь такое же ясное, приложимое к жизни значение, как и заповедь о непротивлении злу. Значение, которое я приписывал прежде этим словам, было то, что всякий должен всегда избегать гнева против людей, не должен никогда говорить бранных слов и должен жить в мире со всеми без всякого

исключения; но в тексте стояло слово, исключаящее этот смысл. Сказано было: не гневайся *напрасно*, так что из слов этих не выходило предписания безусловного мира. Слово это смущало меня. И за разъяснением моих сомнений я обратился к толкованиям богословов; и, к удивлению моему, нашел, что толкования отцов преимущественно направлены на разъяснение того, когда гнев извинителен и когда неизвинителен. Все толкователи церкви, особенно напирая на значение слова: *напрасно*, объясняют это место так, что не надо оскорблять невинно людей, не надо говорить бранных слов, но что гнев не всегда несправедлив, и в подтверждение своего толкования приводят примеры гнева апостолов и святых.

И я не мог не признать, что объяснение о том, что гнев, по их выражению, во славу Божию не воспрещается, хотя и противное всему смыслу Евангелия, последовательно и имеет основание в слове *напрасно*, стоящем в 22 стихе. Слово это изменяло смысл всего изречения.

Не гневайся *напрасно*. Христос велит прощать всем, прощать без конца; сам прощает и запрещает Петру гневаться на Малха, когда Петр защищает своего ведомого на распятие учителя, казалось бы, не напрасно. И тот же Христос говорит в поучение всем людям: не гневайся *напрасно* и тем самым позволяет гневаться поделом, не напрасно. Христос проповедует мир всем простым людям, и вдруг, как бы оговариваясь в том, что это не относится до всех случаев, а есть случаи, когда можно гневаться на брата, — вставляет слово «*напрасно*». И в толкованиях объясняется, что бывает гнев благовременный. Но кто же судья тому, говорил я, когда гнев благовременный?

Я не видал еще людей гневающихся, которые бы не считали, что гнев их благовременный. Все считают, что гнев их законен и полезен. Слово это разрушало весь смысл стиха. Но слово стояло в Священном писании, и я не мог выкинуть его. А слово это было подобно тому, что если бы к изречению: *люби ближнего* было прибавлено: *люби хорошего ближнего*, или: *того ближнего, который тебе нравится*.

Все значение места разрушалось для меня словом: «*напрасно*». Стихи 23 и 24 о том, что прежде, чем молиться, надо помириться с тем, кто имеет что против тебя, которые без слова «напрасно» имели бы прямой, обязательный смысл, получали тоже смысл условный.

Мне представлялось, что Христос должен был запрещать всякий гнев, всякое недоброжелательство, и для того, чтобы его не было, предписывает каждому: прежде чем идти приносить жертву, то есть прежде, чем становиться в общение с Богом, вспомнить, нет ли человека, который сердится на тебя. И если есть такой, напрасно или не напрасно, то пойти и помириться, а потом уж приносить жертву или молиться. Так мне казалось, но по толкованиям выходило, что это место надо понимать условно.

По всем толкованиям объясняется так, что надо стараться помириться со всеми; но если этого нельзя сделать по испорченности людей, которые во вражде с тобою, то надо помириться в душе — в мыслях; и вражда других против тебя не мешает тебе молиться. Кроме того, слова: кто скажет *рака́* и *безумный*, тот страшно виновен, всегда казались мне странными и неясными. Если запрещается ругаться, то почему избраны примеры таких слабых, почти неругательных слов?

И потом, за что такая страшная угроза тому, у кого сорвется такое слабое ругательство, как *рака́*, то есть ничтожный? Все это было неясно.

Мне чувствовалось, что тут происходит такое же непонимание, как при словах: *не судите*, я чувствовал, что как и в том толковании, так и здесь из простого, важного, определенного, исполнимого все переходит в область туманную и безразличную. Я чувствовал, что Христос не мог так понимать слова: поди и помирись с ним, как они толкуются: «помирись в мыслях». Что значит: помирись в мыслях? Я думал, что Христос говорит то, что он высказывал словами пророка: не жертвы хочу, но милости, то есть любви к людям. И потому если хочешь угодить Богу, то прежде, чем молиться утром и вечером, у обедни и всенощной, вспомни — кто на тебя сердится; и поди устрой так, чтобы не был он сердит на тебя, а после уж молись, если хочешь. А то «в мыслях». Я чувствовал, что все толкование, разрушавшее прямой и ясный для меня смысл, зиждилось на слове «*напрасно*». Если бы выкинуть его, смысл выходил бы ясный; но против моего понимания были все толкователи, против него было каноническое Евангелие со словом *напрасно*.

Отступи я в этом, я могу отступить в другом по своему произволу; другие могут сделать то же. Все дело в одном слове. Не будь этого слова, все было бы ясно. И я делаю попытку объяснить как-нибудь филологически это слово «*напрасно*» так, чтобы оно не нарушало смысла всего.

Справляюсь с лексиконами; общим, и вижу, что слово это по-гречески *εἰρη* — значит тоже и без цели, необдуманно; пытаюсь дать такое значение, которое бы не нарушало смысла, но прибавление слова, очевидно, имеет тот смысл, кото-

рый придан ему. Справляюсь с евангельским лексиконом — значение слова то самое, которое придано ему здесь. Справляюсь с контекстом — слово употреблено в Евангелии только один раз, именно здесь. В посланиях употребляется несколько раз. В послании Коринфянам, I, XV, 2, употребляется именно в этом смысле. Стало быть, нет возможности объяснить иначе, и надо признать, что Христос сказал: *не гневайтесь напрасно*. А должен сознаться, что для меня признать, что Христос мог в этом месте сказать такие неясные слова, давая возможность понимать их так, что от них ничего не оставалось, для меня признать это было бы то же, что отречься от всего Евангелия. Остается последняя надежда: во всех ли списках стоит это слово? Справляюсь с вариантами. Справляюсь по Грисбаху, у которого означены все варианты, то есть как, в каких списках и у каких отцов употреблялось выражение. Справляюсь, и меня сразу приводит в восторг то, что в этом месте есть выноски, есть варианты. Смотрю — варианты все относятся к слову *напрасно*. Большинство списков Евангелий и цитат отцов не имеют вовсе слова *напрасно*. Стало быть, большинство понимало, как и я. Справляюсь с Тишендорфом, — в списке самом древнем, — слова этого нет вовсе. Смотрю в переводе Лютера, из которого я бы мог узнать это самым коротким путем, — тоже нет этого слова.

То самое слово, которое нарушало весь смысл учения Христа, слово это — прибавка еще в пятом веке, не вошедшая в лучшие списки Евангелия.

Нашелся человек, который вставил это слово, и находились люди, которые одобряли эту вставку и объясняли ее.

Христос не мог сказать и не сказал этого ужас-

ного слова, и тот первый, простой, прямой смысл всего места, который поразил меня и поражает всякого, есть истинный.

Но мало того, стоило мне понять, что слова Христа запрещают всегда всякий гнев против кого бы то ни было, чтобы смущавшее меня прежде запрещение говорить кому-нибудь слова *рака* и *безумный* получило бы тоже другой смысл, чем тот, что Христос запрещает бранные слова. Странное непеведенное еврейское слово *рака* дало мне этот смысл. Рака значит растоптанный, уничтоженный, несуществующий; слово *рака* очень употребительное, значит исключение, *только не*. Рака значит человек, которого не следует считать за человека. Во множественном числе слово *реким* употреблено в книге Судей, IX, 4, где оно значит пропащие. Так вот этого слова Христос не велит говорить ни о каком человеке. Так же как и не велит ни о ком говорить другое слово *безумный*, как и *рака*, мнимо освобождающее нас от человеческих обязанностей к ближнему. Мы гневаемся, делаем зло людям и, чтобы оправдать себя, говорим, что тот, на кого мы гневаемся, пропащий или безумный человек. И вот этих-то двух слов не велит Христос говорить о людях и людям. Христос не велит гневаться ни на кого и не оправдывать свой гнев тем, чтобы признавать другого пропащим или безумным.

И вот вместо туманных, подлежащих толкованиям и произволу, неопределенных и неважных выражений открылась мне с стиха 21—28-го простая, ясная и определенная первая заповедь Христа: живи в мире со всеми людьми, никогда своего гнева на людей не считай справедливым. Ни одного, никакого человека не считай и не называй пропащим или безумным, ст. 22. И не толь-

ко своего гнева не признавай не напрасным, но чужого гнева на себя не признавай напрасным, и потому: если есть человек, который сердится на тебя, хоть и напрасно, то, прежде чем молиться, поди и уничтожь это враждебное чувство, ст. 23, 24. Вперед старайся уничтожить вражду между собою и людьми, чтобы вражда не разгорелась и не погубила тебя, ст. 25, 26.

Вслед за первую заповедью с такою же ясностью открылась мне и вторая, начинающаяся также ссылкой на древний закон. Матф., V, 27—30, сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй (Исход, XX, 14). А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну».

Матф., V, 31—32: «Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную (Второзаконие, XXIV, 1). А я говорю вам: кто разведется с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».

Значение этих слов представилось мне такое: человек не должен допускать даже мысли о том, что он может соединяться с другой женщиной, кроме как с тою, с которой он раз уже соединился, и никогда не может, как это было по закону Моисея, переменить эту женщину на другую.

Как в первой заповеди против гнева дан совет тушить этот гнев вначале, совет, разъясненный сравнением с человеком, ведомым к судье, так и здесь Христос говорит, что блуд происходит оттого, что мужчины и женщины смотрят друг на друга как на предмет похоти. Чтобы этого не было, надо устранить все то, что может вызвать похоть. Избегать всего того, что возбуждает похоть, и, соединившись с женою, ни под каким предлогом не покидать ее; потому что покидание жен и производит разврат. Покинутые жены соблазняют других мужчин и вносят разврат в мир.

Мудрость этой заповеди поразила меня. Все зло между людьми, вытекающее из половых сношений, устранялось ею. Люди, зная, что потеха половых сношений ведет к раздору, избегают всего того, что вызывает похоть, и, зная, что закон человека — жить páрами, — соединяются попарно, не нарушая ни в каком случае этого союза; и все зло раздора из-за половых сношений уничтожается тем, что нет мужчин и женщин одиноких, лишенных брачной жизни.

Но поражавшие меня всегда при чтении Нагорной проповеди слова: *кроме вины прелюбодеяния*, понимаемые так, что человек может разводиться с женою в случае ее прелюбодеяния, поразили меня теперь еще больше.

Не говоря уже о том, что было что-то недостойное в самой той форме, в которой была выражена эта мысль, о том, что рядом с глубочайшими, по своему значению, истинами проповеди, точно примечание к статье свода законов, стояло это странное исключение из общего правила, самое исключение это противоречило основной мысли.

Справляюсь с толкователями, — и все (Иоанн Златоуст, стр. 365) и другие, даже ученые бого-

слова-критики, как Reuss, признают, что слова эти означают то, что Христос разрешает развод в случае прелюбодеяния жены и что в XIX главе, в речи Христа, запрещающей развод, слова: *если не за прелюбодеяние*, означают то же. Читаю, перечитываю стих 32, и кажется мне, что это не может значить разрешение развода. Чтобы поверить себя, я справляюсь с контекстами и нахожу в Евангелии Матфея, XIX, Марка, X, Луки, XVI, в Первом послании Павла коринфянам разъяснение того же учения неразрывности брака без всякого исключения.

У Луки, XVI, 18, сказано: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует; и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует».

У Марка, X, 4—12, сказано также без всякого исключения: «По жестокосердию вашему он написал вам заповедь сию. В начале же сотворения мужа и жены сотворил их Бог. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет два — одна плоть, так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Опять о том же спросили Его в доме ученики Его. Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».

То же самое сказано у Матфея, глава XIX, 4—9.

В Первом послании Павла коринфянам VII, с 1 по 12-й, развита подробно мысль предупреждения разврата тем, чтобы каждый муж и жена, соединившись, не покидали бы друг друга, удовлетворяли бы друг друга в половом отношении; и также прямо сказано, что один из супругов ни

в каком случае не может покидать другого для сношений с другим или другою.

По Марку, Луке и по посланию Павла, не позволено разводиться. По смыслу толкования о том, что муж и жена — единое тело, соединенное Богом, толкования, повторенного в двух Евангелиях, не позволено. По смыслу всего учения Христа, предписывающего всем прощать, не исключая из этого падшую жену, не позволено. По смыслу всего места, объясняющего то, что отпущение жены производит разврат в людях, тем более развратной, — не позволено.

На чем же основано толкование, что развод допускается в случае прелюбодеяния жены? На тех словах 32-го стиха пятой главы, которые так странно поразили меня. Эти самые слова толкуются всеми так, что Христос разрешает развод в случае прелюбодеяния жены, и эти самые слова в XIX главе повторяются многими списками Евангелий и многими отцами вместо слов: *если не за прелюбодеяние*.

И я опять стал читать эти слова, но очень долго не мог понять их. Я видел, что тут должна была быть ошибка перевода и толкования, но в чем она была — я долго не мог найти. Ошибка была очевидна. Противопоставляя свою заповедь заповеди Моисея, по которой всякий муж, как сказано там, возненавидевши свою жену, может отпустить ее и дать ей разводную, Христос говорит: *А я говорю вам, кто разведется с женой, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать*. В словах этих нет никакого противопоставления и даже нет никакого определения того, что можно или нельзя разводиться. Сказано только, что отпущение жены подает ей повод прелю-

бодействовать. И вдруг при этом сделано исключение о жене, виновной в прелюбодеянии. Исключение это, относящееся до виновной в прелюбодеянии жены, когда дело идет о муже, вообще странно и неожиданно, но в этом месте просто глупо, потому что оно уничтожает и тот сомнительный смысл, который был в этих словах. Сказано, что отпущение жены заставляет ее прелюбодействовать, и предписывается отпускать жену, виновную в прелюбодеянии, как будто виновная в прелюбодеянии жена не будет прелюбодействовать.

Но мало этого, когда я разобрал внимательнее это место, я увидел, что оно не имеет даже грамматического смысла. Сказано: *кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, подает ей повод прелюбодействовать*; и предложение кончено. Говорится о муже, о том, что он, отпуская жену, подает ей повод прелюбодействовать. К чему же сказано тут: *кроме вины прелюбодеяния жены*? Ведь если бы было сказано, что муж, разводящийся с женой, кроме как за ее прелюбодеяние, прелюбодействует, тогда бы предложение было правильно. А то к подлежащему *муж, который разводится*, нет другого сказуемого, как *подает повод*. Как же к этому сказуемому отнести: *кроме вины прелюбодеяния*? Нельзя подавать повод, кроме вины прелюбодеяния жены. Даже если бы к словам: «*кроме вины прелюбодеяния*» было бы прибавлено слово *жены*, или *ее*, чего нет, то и тогда бы эти слова не могли относиться к сказуемому: *подает повод*. Слова эти, по принятому толкованию, относятся к сказуемому: *кто разводится*; но *кто разводится* есть не главное сказуемое; главное сказуемое — *подает повод*. К чему же тут: *кроме вины прелюбодеяния*? И при вине

прелюбодеяния и без вины прелюбодеяния муж, разводясь, одинаково подает повод.

Ведь выражение такое же, как следующее: тот, кто лишит пропитания своего сына, кроме вины жестокости, подает ему повод быть жестоким. Выражение это, очевидно, не может иметь того смысла, что отец может лишит пропитания своего сына, если сын жесток. Если оно имеет смысл, то только тот, что отец, лишаящий сына пропитания, кроме своей вины жестокости, заставляет и сына быть жестоким. Точно так же и евангельское выражение имело бы смысл, если бы вместо слов: *вины прелюбодеяния* стояло бы: вины сладострастия, распутства или чего-нибудь подобного, выражающего не поступок, а свойство.

И я спросил себя: да не сказано ли здесь просто то, что тот, кто разводится с женою, кроме того, что сам виновен в распутстве (так как каждый разводится только, чтобы взять другую), подает повод и жене прелюбодействовать. Если в тексте слово «прелюбодеяние» выражено такими словами, что оно может означать и распутство, то смысл ясен.

И повторилось то же, что так часто в таких случаях повторялось со мной. Текст подтвердил мое соображение, так что уже не могло быть сомнения.

Первое, что бросилось мне в глаза при чтении текста, было то, что слово *πορνεία*, переведенное тем же словом «прелюбодеяние», как и слово *μοιχᾶσθαι*, — совершенно другое слово. Но, может быть, слова эти синонимы или в Евангелиях употребляются одно за другое? Справляюсь со всеми лексиконами — общим и евангельским, и вижу, что слово *πορνεία*, соответствующее еврейскому — **זנות**, латинскому — *fornicatio*,

немецкому — *Hurerei*, русскому — распутство, — имеет самое определенное значение и никогда ни по каким лексиконам не значило и не может значить поступка прелюбодеяния — *adultère*, *Ehebruch*, как оно переводится. Оно значит порочное состояние или свойство, а никак не поступок, и не может быть переведено прелюбодеянием. Мало того, вижу, что слово: прелюбодеяние, прелюбодействовать — везде в Евангелиях и даже в этих стихах обозначается другим словом — *μοιχάω*. И стоило мне только исправить этот, очевидно умышленно неправильный, перевод, чтобы смысл, придаваемый толкователями этому месту и контексту XIX главы, стал совершенно невозможен, и чтобы тот смысл, при котором слово *πορνεία* относится к мужу, стал бы несомненен.

Перевод, который сделает всякий знающий по-гречески, будет следующий: *παρεκτός* — кроме, *λόγου* — вины, *πορνείας* — распутства, *ποιεῖ* — заставляет, *αὐτήν* — ее, *μοιχάσθαι* — прелюбодействовать, и выходит слово в слово: тот, кто разводится с женою, кроме вины распутства, заставляет ее прелюбодействовать.

Тот же смысл получается и в XIX главе. Стоит только поправить неверный перевод и слова *πορνεία*, и предлога *ἐπί*, переведенного *за*, и вместо «прелюбодеяния» поставить слово распутство, и вместо *за* поставить — *по* или *для*, чтобы ясно было, что слова: *εἰ μὴ ἐπί πορνεία* не могут относиться к жене. И как слова *παρεκτός λόγου πορνείας* не могут ничего значить другого, как — кроме вины распутства мужа, так и слова *εἰ μὴ ἐπί πορνεία*, стоящие в XIX главе, не могут относиться ни к чему иному, как к распутству мужа. Сказано — *εἰ μὴ ἐπί πορνεία*, — слово в слово: если не по распутству, не для распутства. И смысл

выходит тот, что Христос, отвечая в этом месте на мысль фарисеев, которые думали, что если человек оставил свою жену не для того, чтобы распутничать, а чтобы жить брачно с другою, то он не прелюбодействует, — Христос на это говорит, что оставление жены, то есть прекращение сношений с нею, если и не по распутству, а для брачного соединения с другою, все-таки прелюбодеяние. И выходит простой смысл, согласный со всем учением, с теми словами, в связи с которыми он находится и с грамматикой и с логикой.

И этот-то простой, ясный смысл, вытекающий из самих слов и из всего учения, мне надо было открывать с величайшим трудом. В самом деле, прочтите эти слова по-немецки, по-французски, где прямо сказано: *pour cause d'infidélité*, или *à moins que cela ne soit pour cause d'infidélité*, и догадайтесь, что это значит совсем другое. Слово *παρεχτός*, по всем лексиконам значащее: *excepté*, *ausgenommen*, кроме, — переводится целым предложением: *à moins que cela ne soit*. Слово *λογυείας* переводится *infidélité*, *Ehebruch*, прелюбодеяние. И вот на этом умышленном искажении текста зиждется толкование, нарушающее и нравственный, и религиозный, и грамматический, и логический смысл слов Христа.

И опять для меня подтвердилась та ужасная и радостная истина, что смысл учения Христа прост, ясен, что положения его важны, определены, но что толкования его, основанные на желании оправдать существующее зло, так затемнили его, что надо с усилием открывать его. Мне стало ясно, что если бы Евангелия были открыты наполовину сожженные или стертые, было бы легче восстановить их смысл, чем теперь, когда по ним прошли недобросовестные толкования,

имеющие прямою целью извратить и скрыть смысл учения. В этом случае очевиднее еще, чем в прежнем, как самая частная цель оправдать развод какого-нибудь Иоанна Грозного послужила поводом к затемнению всего учения о браке.

Стоит отбросить толкования, и вместо туманного и неопределенного является определенная и ясная вторая заповедь Христа.

Не делай себе потеху из похоти половых сношений; всякий человек, если он не скопец, то есть не нуждается в половых сношениях, пусть имеет жену, а жена мужа, и муж имей жену одну, жена имей одного мужа, и ни под каким предлогом не нарушайте плотского союза друг с другом.

Тотчас же непосредственно после второй заповеди приводится опять ссылка на древний закон и излагается третья заповедь. Матф., V, 33—37. «Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои (Левит, XIX, 12. Второзаконие, XXIII, 21). А я говорю вам: не клянись вовсе; ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого царя; ни головою своею не клянись, потому что ни одного волоса не можешь сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого».

Место это при прежних чтениях моих всегда смущало меня. Оно смущало меня не своей неясностью, как место о разводе, не противоречиями с другими местами, как разрешение не напрасного гнева, не трудностью исполнения, как место о подставлении щеки, оно смущало меня, напротив, своей ясностью, простотою и легкостью. Рядом с правилами, глубина и значение которых

ужасали и умиляли меня, вдруг стояло такое не нужное мне, пустое, легкое и не имеющее никаких ни для меня, ни для других последствий правило. Я и так не клялся ни Иерусалимом, ни Богом, ничем, и мне это никакого труда не стоило; и, кроме того, мне казалось, что буду ли или не буду я клясться, это не может иметь ни для кого никакой важности. И, желая найти объяснение этого, своей легкостью смущавшего меня правила, я обратился к толкователям. В этом случае толкователи помогли мне.

Все толкователи видят в этих словах подтверждение третьей заповеди Моисея — не клясться именем Божиим. Они объясняют эти слова так, что Христос, как и Моисей, запрещает произносить имя Бога всуе. Но, кроме этого, толкователи еще объясняют и то, что это правило Христа не клясться — не всегда обязательно и никак не относится к той присяге, которую каждый гражданин дает предрержащей власти. И подбираются тексты Священного писания не для того, чтобы подтвердить прямой смысл предписания Христа, а для того, чтобы доказать то, что можно и должно не исполнять его.

Говорится, что Христос сам утвердил клятву на суде, когда на слова первосвященника: «Заклинаю тебя Богом живым», отвечал: ты сказал; говорится, что апостол Павел призывает Бога во свидетельство истины своих слов, что есть, очевидно, та же клятва; говорится, что клятвы были предписаны законом Моисеевым, но Господь не отменил этих клятв; говорится, что отменяются только клятвы пустые, фарисейски лицемерные.

И, поняв смысл и цель этих объяснений, я понял, что предписание Христа о клятве совсем не так ничтожно, легко и незначительно, как оно мне

казалось, когда я в числе клятв, запрещенных Христом, не считал государственную присягу.

И я спросил себя: да не сказано ли тут то, что запрещается и та присяга, которую так старательно выгораживают церковные толкователи? Не запрещена ли тут присяга, та самая присяга, без которой невозможно разделение людей на государства, без которой невозможно военное сословие? Солдаты — это те люди, которые делают все насилия, и они называют себя — «*присяга*». Если бы я поговорил с гренадером о том, как он разрешает противоречие между Евангелием и воинским уставом, он бы сказал мне, что он присягал, то есть клялся на Евангелии. Такие ответы давали мне все военные. Клятва эта так нужна для образования того страшного зла, которое производят насилия и войны, что во Франции, где отрицается христианство, все-таки держатся присяги. Ведь если бы Христос не сказал этого, не сказал — не присягайте никому, то он должен бы был сказать это. Он пришел уничтожить зло, а не уничтожь он присягу, какое огромное зло остается еще на свете. Может быть, скажут, что во времена Христа зло это было незаметно. Но это неправда: Эпиктет, Сенека говорили про то, чтобы не присягать никому; в законах Ману есть это правило. Отчего я скажу, что Христос не видал этого зла? И скажу тогда, когда он сказал это прямо, ясно и даже подробно.

Он сказал: *Я говорю: не клянись вовсе*. Выражение это так же просто, ясно и несомненно, как слова: не судите и не присуждайте; и так же мало подвержено перетолкованиям, тем более что в конце прибавлено, что все, что потребуется от тебя сверх ответа — *да и нет*, все это — от начала зла.

Ведь если учение Христа в том, чтобы исполнять всегда волю Бога, то как же может человек клясться, что он будет исполнять волю человека? Воля Бога может не совпадать с волею человека. И даже в этом самом месте Христос это самое и говорит. Он говорит (ст. 36): не клянись головою, потому что не только голова твоя, но и каждый волос на ней во власти Бога. То же говорится и в послании Иакова.

В послании своем, в конце его, как бы в заключение всего, апостол Иаков говорит (гл. V, ст. 12): *прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни другою какою клятвою, но да будет у вас: да, да и нет, нет; дабы вам не подпасть осуждению.* Апостол прямо говорит, почему не следует клясться: клятва сама по себе кажется не преступною, но от нее подпадают осуждению, и потому *не клянитесь никак.* Как еще яснее сказать то, что сказано и Христом и апостолом?

Но я был так запутан, что я с удивлением долго спрашивал себя: неужели это значит то, что значит? Как же мы все присягаем на Евангелии? Это не может быть.

Но я уже прочел толкования и видел, как это невозможное было сделано.

Что при объяснениях слов: не судите, не гневайтесь ни на кого, на разрывайте союз мужа с женою, то же и здесь: Мы установили свои порядки, любим их и хотим считать их священными. Приходит Христос, которого мы считаем Богом, и говорит, что эти-то наши порядки нехороши. Мы его считаем Богом и не хотим отказаться от наших порядков. Что же нам делать? Где можно, вставить слово — «*напрасно*» и на нет свести правило против гнева; где можно, как самые бес-

совестные кривосуды, так перетолковать смысл статьи закона, чтобы выходило обратное: вместо — никогда не разводиться с женой, вышло бы то, что можно разводиться. А где уж никак нельзя перетолковать, как в словах: *не судите и не присуждайте*, и в словах: *не клянитесь вовсе*, смело, прямо действовать противно учению, утверждая, что мы ему следуем. И в самом деле, главная помеха тому, чтобы понять то, что Евангелие запрещает всякую клятву и тем более присягу, есть то, что псевдохристианские учителя с необычайной смелостью на самом на Евангелии, самым Евангелием заставляют клясться людей, то есть делать противное Евангелию.

Как придет в голову человеку, которого заставляют клясться крестом и Евангелием, что крест оттого и свят, что на нем распяли того, кто запрещал клясться, и что присягающий, может быть, целует как святыню то самое место, где ясно и определенно сказано: *не клянитесь никак*.

Но меня уже не смущала эта смелость. Я ясно видел, что с ст. 33 по 37 была выражена ясная, определенная, исполнимая третья заповедь: не присягай никогда никому ни в чем. Всякая присяга вымогается от людей для зла.

Вслед за этой третьей заповедью приводится четвертая ссылка и излагается четвертая заповедь (Матф., V, 38—42; Луки, VI, 29, 30). «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним на одно поприще, иди с ним на два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся».

О том, какое прямое, определенное значение имеют эти слова и как мы не имеем никакого основания перетолковывать их иносказательно, я говорил уже. Толкования этих слов, начиная от Ионна Златоуста и до нас, поистине удивительны. Слова эти всем очень нравятся, и все делают, по случаю этих слов, всякого рода глубокомысленные соображения, за исключением одного: что слова эти имеют тот самый смысл, который они имеют. Церковные толкователи, нисколько не стесняясь авторитетом того, кого они признают Богом, преспокойно ограничивают значение его слов. Они говорят: «Само собой разумеется, что все эти заповеди о терпении обид, об отречении от возмездия, как направленные собственно против иудейской любостительности, не исключают не только общественных мер к ограничению зла и наказанию *делающих зло*, но и частных, личных усилий и забот каждого человека о ненарушимости правды, о вразумлении обидчиков, о прекращении для злонамеренных возможности вредить другим; ибо иначе самые духовные законы Спасителя по-иудейски обратились бы только в букву, могущую послужить к успехам зла и подавлению добродетели. Любовь христианина должна быть подобна любви Божией, но любовь Божия ограничивает и *наказывает зло* только в той мере, в какой оно остается более или менее безвредным для славы Божией и для спасения ближнего; в противном случае должно ограничивать и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство» (Толковое Евангелие архим. Михаила, все основанное на толковании святых отцов).

Ученые и свободномыслящие христиане также не стесняются смыслом слов Христа и поправ-

ляют его. Они говорят, что это очень возвышенные изречения, но лишенные всякой возможности приложения к жизни, ибо приложение к жизни правила непротивления злу уничтожает весь тот порядок жизни, который мы так хорошо устроили: это говорит Ренан, Штраус и все вольнодумные толкователи.

Но стоит отнестись к словам Христа только так, как мы относимся к словам первого встречного человека, который с нами говорит, то есть предполагая, что он говорит то, что говорит, чтобы тотчас же устранилась необходимость всяких глубокомысленных соображений. Христос говорит: я нахожу, что способ обеспечения вашей жизни очень глуп и дурен. Я вам предлагаю совсем другой, следующий. И он говорит свои слова от стиха тридцать восьмого по сорок второй. Казалось бы, что, прежде чем поправлять эти слова, надо понять их. А вот этого-то никто не хочет сделать, вперед решая, что порядок, в котором мы живем и который нарушается этими словами, есть священный закон человечества.

Я не считал нашу жизнь ни хорошою, ни священной, и потому понял эту заповедь прежде других. И когда я понял слова эти так, как они сказаны, меня поразила их истинность, точность и ясность. Христос говорит: вы злом хотите уничтожить зло. Это неразумно. Чтобы не было зла, не делайте зла. И потом Христос перечисляет все случаи, в которых мы привыкли делать зло, и говорит, что в этих случаях не надо его делать.

Эта четвертая заповедь была первая заповедь, которую я понял и которая открыла мне смысл всех остальных. Четвертая простая, ясная, исполнимая заповедь говорит: никогда силой не противься злему, насилием не отвечай на насилие:

бьют тебя — терпи, отнимают — отдай, заставляют работать — работай, хотят взять у тебя то, что ты считаешь своим, — отдавай.

И вслед за этой четвертой заповедью следует пятая ссылка и пятая заповедь (Матф., V, 43—48). «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Левит, XIX, 17, 18). А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».

Стихи эти прежде представлялись мне разъяснением, дополнением и усилением, скажу даже — преувеличением слов о непротивлении злу. Но, найдя простой, приложимый, определенный смысл каждого места, начинающегося с ссылки на древний закон, я предчувствовал такой же и в этом. После каждой ссылки была изложена заповедь, и каждый стих заповеди имел значение и не мог быть выкинут, и здесь должно было быть то же. Последние слова, повторенные у Луки о том, что Бог не делает различия между людьми и дает благо всем, и что потому и вы должны быть таковы же, как Бог: не делать различия между людьми и должны не так делать, как язычники, а должны всех любить и всем делать добро одинаково — эти слова были ясны, они представля-

лись мне подтверждением и объяснением какого-то ясного правила, но в чем было это правило — я долго не мог понять.

Любить врагов? Это было что-то невозможное. Это было одно из тех прекрасных выражений, на которые нельзя иначе смотреть как на указание недостижимого нравственного идеала. Это было слишком много или ничего. Можно не вредить своему врагу, но любить — нельзя. Не мог Христос предписывать невозможное. Кроме того, в самых первых словах, в ссылке на закон древних: «вам сказано: *ненавидь врага*», было что-то сомнительное. В прежних местах Христос приводит действительные, подлинные слова закона Моисея; но здесь он приводит слова, которые никогда не были сказаны. Он как будто клеветает на закон.

Толкования, как и в прежних моих сомнениях, ничего не разъяснили мне. Во всех толкованиях признается, что слов: «Вам сказано: *ненавидь врага*» — нет в законе Моисея, но объяснения этого неверно приведенного места из закона нигде не дается. Говорится о том, как трудно любить врагов — злых людей, и большею частью делаются поправки к словам Христа; говорится, что нельзя любить врагов, а можно не желать и не делать им зла. Между прочим внушается, что можно и должно обличать, то есть противиться врагам, говорится о разных степенях достижения этой добродетели, так что по толкованиям церкви конечный вывод тот, что Христос, неизвестно зачем, неправильно привел слова из закона Моисея и наговорил много прекрасных, но, собственно, пустых и неприложимых слов.

Мне казалось, что это не может быть так. Тут должен быть ясный и определенный смысл, такой же, как и в первых четырех заповедях. И

для того, чтобы понять этот смысл, я прежде всего постарался понять значение слов неверной ссылки на закон: «Вам сказано: *ненавидь врагов*». Недаром же Христос при каждом правиле приводит слова закона: не убей, не прелюбодействуй и т. д., и этим словам противопоставляет свое учение. Не поняв того, что он разумел под словами приводимого им закона, нельзя понять того, что он предписывает. В толкованиях же прямо говорится (да и нельзя этого сказать), что он приводит такие слова, которых не было в законе, но не объясняется, почему он это делает и что значит эта неверная ссылка. Мне казалось, что прежде всего надо объяснить, что мог разуметь Христос, приводя слова, которых не было в законе. И я спросил себя: что же могут значить слова, неверно приведенные Христом из закона? Во всех прежних ссылках Христа на закон приводится только одно постановление древнего закона, как: не убей, не прелюбодействуй, держи клятвы, зуб за зуб... и по случаю этого одного приводимого постановления излагается соответствующее ему учение. Здесь же приводятся два постановления, противопоставляющиеся друг другу: вам сказано — люби ближнего и ненавидь врага, так что, очевидно, основой нового закона должно быть самое различие между двумя постановлениями древнего закона относительно ближнего и врага. И чтобы понять яснее, в чем было это различие, я спросил себя: что значит слово «ближний» и слово «враг» на евангельском языке? И, справившись с лексиконами и контекстами Библии, я убедился, что ближний на языке еврея всегда означает только еврея. Такое определение ближнего дается и в Евангелии притчей о самарянине. По понятию еврея-законника, спрашивающего: кто

ближний? — самарянин не мог быть ближним. Такое же определение ближнего дается и в Деяниях (VII, 27). Ближний на евангельском языке значит: земляк, человек, принадлежащий к одной народности. И потому, предполагая, что противоположение, которое выставляет Христос в этом месте, приводя слова закона: вам сказано: люби ближнего и ненавидь врага, состоит в противоположении между земляком и чужеземцем. Спрашиваю себя, что такое враг, по понятиям иудеев, и нахожу подтверждение своего предположения. Слово «враг» употребляется в Евангелиях почти всегда в смысле врагов не личных, но общих, народных (Луки, I, 71—74; Матф., XXII, 44; Марка, XII, 36; Луки, XX, 43 и др.). Единственное число, в котором употреблено слово «враг» в этих стихах в выражении *ненавидь врага*, показывает мне, что здесь идет речь о враге народа. Единственное число означает совокупность вражеского народа. В Ветхом Завете понятие вражеского народа всегда выражается единственным числом.

И как только я понял это, так тотчас же устранилось то затруднение: зачем и каким образом мог Христос, всякий раз приводя подлинные слова закона, здесь вдруг привести слова: «вам сказано: *ненавидь врага*», которые не были сказаны. Стоит только понимать слово «враг» в смысле врага народного и ближнего — в смысле земляка, чтобы затруднения этого вовсе не было. Христос говорит о том, как по закону Моисея предписано евреям обращаться с врагом народным. Все те разбросанные по разным книгам Писания места, в которых предписывается и угнетать, и убивать, и истреблять другие народы, Христос соединяет в одно выражение: ненавидеть — делать зло врагу. И он говорит: вам ска-

зано, что надо любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различия той народности, к которой они принадлежат. И как только я понял эти слова так, так тотчас устранилось и другое, главное затруднение: как понимать слова «любите врагов ваших». Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих. И для меня стало очевидным, что, говоря «Вам сказано: люби ближнего и ненавидь врага, а я говорю: люби врагов», Христос говорит о том, что все люди приучены считать своими ближними людей своего народа, а чужие народы считать врагами и что он не велит этого делать. Он говорит: по закону Моисея сделано различие между евреем и не евреем — врагом народным, а я говорю вам: не надо делать этого различия. И точно, и по Матфею и по Луке вслед за этим правилом он говорит, что для Бога все равны, на всех светит одно солнце, на всех падает дождь; Бог не делает различия между народами и всем делает равное добро; то же должны делать и люди для всех людей без различия их народностей, а не так, как *язычники*, разделяющие себя на разные народы.

Так что опять с разных сторон подтвердилось для меня простое, важное, ясное и приложимое понимание слов Христа. Опять вместо изречения туманного и неопределенного любомудрия выяснилось ясное, определенное и важное и исполнимое правило: не делать различия между своим и чужим народом и не делать всего того, что вытекает из этого различия — не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим.

Все это было так просто, так ясно, что мне было удивительно, как мог я сразу не понять этого.

Причина моего непонимания была та же, что и причина непонимания запрещения судов и клятвы. Очень трудно понять, что те суды, которые открываются христианскими молебствиями, благословляются теми, которые считают себя блюстителями закона Христа, что эти-то самые суды несовместимы с исповеданием Христа и прямо противны ему. Еще труднее догадаться, что та самая клятва, к которой приводят всех людей блюстители закона Христа, прямо запрещена этим законом; но догадаться, что то, что в нашей жизни считается не только необходимым и естественным, но самым прекрасным и доблестным — любовь к отечеству, защита, возвеличение его, борьба с врагом и т. п., — суть не только преступления закона Христа, но явное отречение от него, — догадаться, что это так, — ужасно трудно. Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его. Мы так пропустили мимо ушей и забыли все то, что он сказал нам о нашей жизни, — о том, что не только убивать, но гневаться нельзя на другого человека, что нельзя защищаться, а надо подставлять щеку, что надо любить врагов, — что нам теперь, привыкшим называть людей, посвятивших свою жизнь убийству, — христоролюбивым воинством, привыкшим слушать молитвы, обращенные ко Христу о победе над врагами, славу и гордость свою полагающим в убийстве, в некоего рода святыню возведшим символ убийства, шпагу, так что человек без этого символа, — без ножа, — это осрамленный человек, что нам теперь

кажется, что Христос не запретил войны, что если бы он запрещал, он бы сказал это яснее.

Мы забываем то, что Христос никак не мог себе представить, что люди, верующие в его учение смирения, любви и всеобщего братства, спокойно и сознательно могли бы учреждать убийство братьев.

Христос не мог себе представить этого, и потому он не мог христианину запрещать войну, как не может отец, дающий наставление своему сыну о том, как надо жить честно, не обижая никого и отдавая свое другим, запрещать ему, как не надо резать людей на большой дороге.

То, чтобы нужно было христианину запрещать убийство, называемое войною, не мог себе представить и ни один апостол и ни один ученик Христа первых веков христианства. Вот что говорит, например, Ориген в своем ответе Цельсию (глава 63).

Он говорит: «Цельзий увещевает нас помогать всеми нашими силами государю, участвовать в его законных трудах, вооружаться за него, служить под его знаменами, если нужно — водить в сражениях его войска. На это надо ответить, что мы при случае подаем помощь царям, но так сказать, Божественную помощь, потому что мы облечены броней Бога. Этим поведением мы подчиняемся голосу апостола. «Умоляю вас прежде всего, — говорит он, — молиться, просить и благодарить за всех людей, за царей и за высоких в почестях». Так что чем набожнее, тем полезнее бывает человек для царей; и польза его более действительна, чем польза солдата, который, завербовавшись под знамена царя, побивает столько врагов, сколько может. Кроме того, людям, которые, не зная нашей веры, требуют от нас того,

чтобы мы резали людей, мы можем еще отвечать то, что и ваши жрецы не оскверняют своих рук, чтобы ваш Бог принял их жертвы. То же и мы». И, кончая эту главу объяснением того, что христиане приносят пользу своею мирною жизнью более, чем солдаты, Ориген говорит: «Итак, мы воюем лучше, чем кто-нибудь, за спасение императора. Правда, что мы не служим под его знаменами. Мы и не станем служить, если бы даже он принуждал нас к этому».

Так относились к войне христиане первых веков, и так говорили их учителя, обращаясь к сильным мира, и говорили так в то время, когда сотнями и тысячами гибли мученики за исповедание Христовой веры.

А теперь? Теперь и вопроса нет о том, может ли христианин участвовать в войнах. Все молодые люди, воспитываемые в церковном законе, называемом христианским, каждую осень, когда настанет срок, идут в воинские присутствия и с помощью церковных пастырей отрекаются от закона Христа. Только недавно нашелся один крестьянин, который на основании Евангелия отказался от военной службы. Учителя церкви внушали крестьянину его заблуждение; но так как крестьянин поверил не им, но Христу, то его посадили в тюрьму и продержали там до тех пор, пока он не отрекся от Христа. И все это делается после того, как нам, христианам, 1800 лет тому назад объявлена нашим Богом заповедь вполне ясная и определенная: «Не считай людей других народов своими врагами, а считай всех людей братьями и ко всем относись так же, как ты относишься к людям своего народа, и потому не только не убивай тех, которых называешь своими врагами, но люби их и делай им добро».

И, поняв таким образом эти столь простые, определенные, не подверженные никаким перетолкованиям заповеди Христа, я спросил себя: что бы было, если бы весь христианский мир поверил в эти заповеди не в том смысле, что их нужно петь или читать для умилоствления Бога, а что их нужно исполнять для счастья людей? Что бы было, если бы люди поверили обязательности этих заповедей хоть так же твердо, как они поверили тому, что надо каждый день молиться, каждое воскресенье ходить в церковь, каждую пятницу есть постное и каждый год говеть? Что бы было, если бы люди поверили в эти заповеди хоть так же, как они верят в церковные требования? И я представил себе все христианское общество, живущее и воспитывающее молодые поколения в этих заповедях. Я представил себе, что всем нам и нашим детям с детства словом и примером внушается не то, что внушается теперь: что человек должен соблюдать свое достоинство, отстаивать перед другими свои права (чего нельзя иначе делать, как унижая и оскорбляя других), а внушается то, что ни один человек не имеет никаких прав и не может быть ниже или выше другого; что ниже и позорнее всех только тот, который хочет стать выше других; что нет более унижительного для человека состояния, как состояние гнева против другого человека; что кажущееся мне ничтожество или безумие человека не может оправдать мой гнев против него и мой раздор с ним. Вместо всего устройства нашей жизни от витрин магазинов до театров, романов и женских нарядов, вызывающих плотскую похоть, я представил себе, что всем нам и нашим детям внушается словом и делом, что увеселение себя похотливыми книгами, театрами и балами

есть самое подлое увеселение, что всякое действие, имеющее целью украшение тела или выставление его, есть самый низкий и отвратительный поступок. Вместо устройства нашей жизни, при котором считается необходимым и хорошим, чтобы молодой человек распутничал до женитьбы, вместо того, чтобы жизнь, разлучающую супругов, считать самой естественной, вместо узаконения сословия женщин, служащих разврату, вместо допускания и благословения развода, — вместо всего этого я представил себе, что нам делом и словом внушается, что одинокое безбрачное состояние человека, созревшего для половых сношений и не отрекшегося от них, есть уродство и позор, что покидание человеком той, с какой он сошелся, перемена ее для другой есть не только такой же неестественный поступок, как кровосмешение, но есть и жестокий, бесчеловечный поступок. Вместо того, чтобы вся жизнь наша была установлена на насилии, чтобы каждая радость наша добывалась и ограждалась насилием; вместо того, чтобы каждый из нас был наказываемым или наказывающим с детства и до глубокой старости, я представил себе, что всем нам внушается словом и делом, что месть есть самое низкое животное чувство, что насилие есть не только позорный поступок, но поступок, лишаящий человека истинного счастья, что радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать насилием, что высшее уважение заслуживает не тот, кто отнимает или удерживает свое от других и кому служат другие, а тот, кто больше отдает свое и больше служит другим. Вместо того, чтобы считать прекрасным и законным то, чтобы всякий присягал и отдавал все, что у него есть самого драгоценного, то есть всю свою жизнь, в волю сам

не зная кого, я представил себе, что всем внушается то, что разумная воля человека есть та высшая святыня, которую человек никому не может отдать, и что обещаться с клятвой кому-нибудь в чем-нибудь есть отречение от своего разумного существа, есть поругание самой высшей святыни. Я представил себе, что вместо тех народных ненавистей, которые под видом любви к отечеству внушаются нам, вместо тех восхвалений убийства — войн, которые с детства представляются нам как самые доблестные поступки, я представил себе, что нам внушается ужас и презрение ко всем тем деятельности — государственным, дипломатическим, военным, которые служат разделению людей, что нам внушается то, что признание каких бы то ни было государств, особенных законов, границ, земель есть признак самого дикого невежества, что воевать, то есть убивать чужих, незнакомых людей без всякого повода есть самое ужасное злодейство, до которого может дойти только заблудший и развращенный человек, упавший до степени животного. Я представил себе, что все люди поверили в это, и спросил себя: что бы тогда было?

Прежде я спрашивал себя, что будет из исполнения учения Христа, как я понимал его, и невольно отвечал себе: ничего. Мы все будем молиться, пользоваться благодатью таинств, верить в искупление и спасение наше и всего мира Христом, и все-таки спасение это произойдет не от нас, а оттого, что придет время конца мира. Христос придет в свой срок во славе судить живых и мертвых, и установится царство Бога независимо от нашей жизни. Теперь же учение Христа, как оно представилось мне, имело еще и другое значение; установление царства Бога на земле

зависело и от нас. Исполнение учения Христа, выраженного в пяти заповедях, устанавливало это Царство Божие. Царство Бога на земле есть мир всех людей между собою. Мир между людьми есть высшее доступное на земле благо людей. Так представлялось Царство Бога всем пророкам еврейским. И как оно представлялось и представляется всякому сердцу человеческому. Все пророчества обещают мир людям.

Все учение Христа состоит в том, чтобы дать Царство Бога — мир людям. В Нагорной проповеди, в беседе с Никодимом, в послании учеников, во всех поучениях своих он говорит только о том, что разделяет людей и мешает им быть в мире и войти в Царство Бога. Все притчи суть только описание того, что есть Царство Бога и что, только любя братьев и будучи в мире с ними, можно войти в него. Иоанн Креститель, предшественник Христа, говорит, что приблизилось Царство Бога и что Иисус Христос дает его миру.

Христос говорит, что принес мир на землю (Иоанна, XIV, 27): «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается».

И вот эти пять заповедей его действительно дают этот мир людям. Все пять заповедей имеют только одну эту цель — мира между людьми. Стоит людям поверить учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но мир общий, ненарушимый, вечный.

Первая заповедь говорит: будь в мире со всеми, не позволяй себе считать другого человека ничтожным или безумным (Матф., V, 22). Если нарушен мир, то все силы употребляй на то, чтобы восстановить его. Служение Богу есть

уничтожение вражды (23—24). Мирись при малейшем раздоре, чтобы не потерять истинной жизни (26). В этой заповеди сказано все; но Христос предвидит соблазны мира, нарушающие мир между людьми, и дает вторую заповедь — против соблазна половых отношений, нарушающего мир. Не смотри на красоту плотскую как на потеху, вперед избегай этого соблазна (28—30); бери муж одну жену, и жена — одного мужа, и не покидайте друг друга ни под каким предлогом (32). Другой соблазн — это клятвы, вводящие людей в грех. Знай вперед, что это — зло, и не давай никаких обетов (34—37). Третий соблазн — это месть, называемая человеческим правосудием; не мсти и не отговаривайся тем, что тебя обидят, — неси обиды, а не делай зла за зло (38—42). Четвертый соблазн — это различие народов, вражда племен и государств. Знай, что все люди — братья и сыны одного Бога, и не нарушай мира ни с кем во имя народных целей (43—48). Не исполнят люди одну из этих заповедей — мир будет нарушен. Исполнят люди все заповеди, и царство мира будет на земле. Заповеди эти исключают все зло из жизни людей.

При исполнении этих заповедей жизнь людей будет то, чего ищет и желает всякое сердце человеческое. Все люди будут братья, и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему Богом. Перекуют люди мечи на орала и копья на серпы. Будет то Царство Бога, царство мира, которое обещали все пророки, и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвещал и возвестил Христос, говоря словами Исаии: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокру-

шенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Луки, IV, 18—19; Исаии, LXI, 1—2).

Заповеди мира, данные Христом, простые, ясные, предвидящие все случаи раздора и предотвращающие его, открывают это Царство Бога на земле. Стало быть, Христос точно Мессия. Он исполнил обещанное. Мы только не исполняем того, чего вечно желали все люди, — того, о чем мы молились и молимся.

VII

Отчего же люди не делают того, что Христос сказал им и что дает им высшее доступное человеку благо, чего они вечно желали и желают? И со всех сторон я слышу один, разными словами выражаемый, один и тот же ответ: «Учение Христа очень хорошо, и правда, что при исполнении его установилось бы Царство Бога на земле, но оно трудно и потому неисполнимо».

Учение Христа о том, как должны жить люди, Божественно, хорошо и дает благо людям, но людям трудно исполнять его. Мы так часто повторяем и слышим это, что нам не бросается в глаза то противоречие, которое находится в этих словах.

Человеческой природе свойственно делать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о том, что лучше для людей. Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают

делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше.

Разумная деятельность человека, с тех пор как есть человек, направлена к тому, чтобы найти, что лучше из тех противоречий, которыми наполнена жизнь и отдельного человека и всех людей вместе.

Люди дерутся за землю, за предметы, которые им нужны, и потом доходят до того, что делят все и называют это собственностью; они находят, что хотя и трудно учредить это, но так лучше, и держатся собственности; люди дерутся за жен, бросают детей, потом находят, что лучше, чтобы у каждого была своя семья; и, хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многого другого. И как только люди нашли, что так лучше, то как бы это трудно ни было, так и делают. Что же такое значит, что мы говорим: учение Христа прекрасно, жизнь по учению Христа лучше, чем та, которою мы живем; но мы не можем жить так, чтобы было лучше, потому что это «трудно».

Если это слово: «трудно» понимать так, что трудно жертвовать мгновенным удовлетворением своей похоти большему благу, то почему же мы не говорим, что трудно пахать, для того чтобы был хлеб, сажать яблони, чтобы были яблоки? То, что надо переносить трудности для достижения большего блага, это знает всякое существо, одаренное первым задатком разума. И вдруг оказывается, что мы говорим, что учение Христа прекрасно, но что оно неисполнимо, потому что трудно. Трудно же потому, что, следуя ему, мы должны лишаться того, чего мы прежде не

лишались. Мы как будто никогда не слышали того, что выгоднее иногда потерпеть и лишиться, чем ничего не терпеть и удовлетворять всегда свою похоть.

Человек может быть животным, и никто не станет упрекать его в том; но человек не может рассуждать о том, что он хочет быть животным. Как только он рассуждает, то он сознает себя разумным, и, сознавая себя разумным, он не может не признавать того, что разумно, и того, что неразумно. Разум ничего не приказывает, он только освещает.

Я в темноте избил руки и колена, отыскивая дверь. Вошел человек со светом, и я увидел дверь. Я не могу уже биться в стену, когда я вижу дверь, и еще менее могу утверждать, что я вижу дверь, нахожу, что лучше пройти в дверь, но что это трудно, и потому я хочу продолжать биться коленками об стену.

В этом удивительном рассуждении: христианское учение хорошо и дает благо миру; но люди слабы, люди дурны и хотят лучше делать, а делают хуже, и потому не могут делать лучше, — есть очевидное недоразумение.

Тут, очевидно, не ошибка рассуждения, а что-нибудь другое.

Тут, должно быть, какое-нибудь ложное представление. Только ложное представление о том, что есть то, чего нет, и нет того, что есть, может привести людей к такому странному отрицанию исполнимости того, что, по их же признанию, дает им благо.

Ложное представление, приведшее к этому, есть то, что называется догматическою христианскою верой, — тою самою, которой с детства учат всех исповедующих церковную христиан-

скую веру по разным православным, католическим и протестантским катехизисам.

Вера эта, по определению верующих же, есть признание существующим того, что кажется (это сказано у Павла и повторяется во всех богословиях и катехизисах как лучшее определение веры). И вот это-то признание существующим того, что кажется, и привело людей к такому странному утверждению того, что учение Христа хорошо для людей, но не годится для людей.

Учение этой веры в самом точном его выражении такое: личный Бог, существующий вечно, один в трех лицах, вдруг вздумал сотворить мир духов. Бог благой сотворил этот мир духов для их блага; но случилось, что один из духов сделался сам злым и потому несчастным. Прошло много времени, и Бог сотворил другой мир, вещественный, и человека тоже для его блага. Бог сотворил человека блаженным, бессмертным и безгрешным. Блаженство человека состояло в пользовании благом жизни без труда; бессмертие его состояло в том, что он всегда должен был так жить; безгрешность его состояла в том, что он не знал зла.

Человек этот в раю был соблазнен тем духом первого творения, который сам собою сделался злым, и человек с тех пор пал, и стали рождаться такие же падшие люди, и с тех пор люди стали работать, болеть, страдать, умирать, бороться телесно и духовно, то есть воображаемый человек сделался действительным, таким, каким мы его знаем и которого не можем и не имеем права и основания вообразить себе иным. Состояние человека трудящегося, страдающего, избирающего добро и избегающего зла и умирающего,

то, которое есть и помимо которого мы не можем себе ничего представить, по учению этой веры не есть настоящее положение человека, а есть свойственное ему, случайное, временное положение.

Несмотря на то, что состояние это продолжалось для всех людей, по этому учению, от изгнания Адама из рая, то есть от начала мира до рождения Христа, и точно так же продолжается и после для всех людей, верующие должны воображать, что это есть только случайное, временное состояние. По этому учению, Сын Бога — сам Бог, второе лицо Троицы, послан Богом на землю в образе человека затем, чтобы спасти людей от этого несвойственного им случайного, временного состояния, снять с них все проклятия, наложенные на них тем же Богом за грех Адама, и восстановить их в их прежнем естественном состоянии блаженства, то есть безболезненности, бессмертия, безгрешности и праздности. Второе лицо Троицы — Христос, по этому учению, тем, что люди его казнили, этим самым искупил грех Адама и прекратил это неестественное состояние человека, продолжавшееся от начала мира. И с тех пор человек, поверивший в Христа, стал опять таким же, каким он был в раю, то есть бессмертным, неболеющим, безгрешным и праздным.

На той части осуществления искупления, вследствие которой после Христа земля для верующих уже стала рождать везде без труда, болезни прекратились и чада стали рождаться у матерей без страданий, — учение это не очень останавливается, потому что тем, которым тяжело работать и больно страдать, как бы они ни верили, трудно внушить, что не трудно работать и не больно страдать. Но та часть учения, по которой

смерти и греха уже нет, утверждается с особенной силой.

Утверждается, что мертвые продолжают быть живыми. И так как мертвые никак не могут ни подтвердить того, что они умерли, ни того, что они живы, так же как камень не может подтвердить того, что он может или не может говорить, то это отсутствие отрицания принимается за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И еще с большей торжественностью и уверенностью утверждается то, что после Христа верую в него человек освобождается от греха, то есть что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, то есть совершенно хорош. По этому учению, люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, то есть не могут ошибаться.

Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети рождаются без мук, болезней нет, смерти нет и греха, то есть ошибок, нет; то есть нет того, что есть, и что есть то, чего нет.

Так говорит строго логическая богословская теория.

Учение это само по себе кажется невинно. Но отступление от истины никогда не бывает невинно и влечет за собой свои последствия, тем более значительные, чем значительнее тот предмет, о котором говорится неправда. Здесь же предмет, о котором говорится неправда, есть вся жизнь человеческая.

То, что, по этому учению, называется истин-

ною жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрешная и вечная, то есть такая, какую никто никогда не знал и которой нет. Жизнь же та, которая есть, которую мы одну знаем, которою мы живем и которою жило и живет все человечество, есть, по этому учению, жизнь падшая, дурная, есть только образчик той хорошей жизни, которая нам следует.

Та борьба между стремлением к жизни животной и жизни разумной, которая лежит в душе каждого человека и составляет сущность жизни каждого, по этому учению, совершенно устраняется. Борьба эта переносится в событие, совершившееся в раю с Адамом при сотворении мира. И вопрос о том: есть ли мне или не есть те яблоки, которые соблазняют меня? — не существует для человека, по этому учению. Вопрос этот раз навсегда решен Адамом в раю в отрицательном смысле. Адам за меня согрешил, то есть ошибся, и все люди, все мы безвозвратно пали, и все наши усилия жить разумно бесполезны и даже безбожны. Я дурен непоправимо, и должен знать это. И спасение мое не в том, что я разумом могу осветить свою жизнь и, узнав хорошее и дурное, делать то, что лучше. Нет, Адам раз навсегда за меня сделал дурно, и Христос раз навсегда поправил это дурное, сделанное Адамом, и потому я должен как зритель сокрушаться о падении Адама и радоваться о спасении Христом.

Вся же та любовь к добру и истине, которая лежит в душе человека, все усилия его осветить разумом явления жизни, вся моя духовная жизнь — все это не только не важно по этому учению, но это есть прелесть или гордость.

Жизнь, какая есть здесь, на земле, со всеми

ее радостями, красотами, со всею борьбой разума против тьмы, — жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная; жизнь же истинная, безгрешная — в вере, то есть в воображении, то есть в сумасшествии.

Пусть человек, отрешившись от привычки, взятой с детства, допускать все это, постарается взглянуть просто, прямо на это учение, пусть он перенесется мыслью в свежего человека, воспитанного вне этого учения, и представит себе, каким покажется это учение такому человеку? Ведь это полное сумасшествие.

И как ни странно и ни страшно это думать, я не мог не признать этого, потому что это одно объясняло мне то удивительное, противоречивое, бессмысленное возражение, которое я слышу со всех сторон против исполнимости учения Христа: *оно хорошо и дает счастье людям, но люди не могут исполнить его.*

Только представление существующим того, что не существует, и несуществующим того, что существует, могло привести к этому удивительному противоречию. И такое ложное представление я нашел в проповедуемой 1500 лет псевдохристианской вере.

Но возражение против учения Христа о том, что оно хорошо, но неисполнимо, делают не одни верующие, его делают и неверующие, такие люди, которые не верят или думают, что не верят в догмат грехопадения и искупления. Возражение против учения Христа, состоящее в его неисполнимости, делают люди науки, философы, вообще люди образованные и считающие себя совершенно свободными от всяких суеверий.

Они не верят или думают, что не верят ни во что, и потому считают себя свободными от суеверия грехопадения и искупления. И мне так казалось это сначала. Мне тоже казалось, что эти ученые люди имеют другие основания для отрицания исполнимости учения Христа. Но, вникнув глубже в основы их отрицания, я убедился, что у неверующих то же ложное представление о том, что наша жизнь не есть то, что есть, а то, что им кажется, и что представление это зиждется на той же основе, как и представление верующих. Признающие себя неверующими, правда, не веруют ни в Бога, ни в Христа, ни в Адама; но в основное ложное представление о правах человека на блаженную жизнь, на котором зиждется все, в него они веруют так же и еще тверже, чем богословы.

Как ни храбрись привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов,— она не руководительница, а слуга. Мирозерцание всегда дано ей готовое религией, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни. И потому если религия дает ложный смысл жизни, то наука, воспитанная в этом религиозном мирозерцании, будет с разных сторон прикладывать этот ложный смысл к жизни людей. Вот это-то и случилось с нашей европейско-христианской наукой и философией.

Церковное учение дало основной смысл жизни людей в том, что человек имеет право на блаженную жизнь и что блаженство это достигается не усилиями человека, а чем-то внешним, и это мирозерцание и стало основой всей нашей науки и философии.

Религия, наука, общественное мнение, все в один голос говорят, что дурна та жизнь, которую мы ведем, но что учение о том, как самим стараться быть лучше и этим сделать и самую жизнь лучше, — учение это неисполнимо.

Учение Христа в смысле улучшения жизни людей своими разумными силами неисполнимо потому, что Адам пал и мир лежит во зле, — говорит религия.

Учение это неисполнимо потому, что жизнь человеческая совершается по известным, не зависимым от воли человека законам, говорит наша философия. Философия и вся наука, только другими словами, говорит совершенно то же, что говорит религия догматом первородного греха и искупления.

В учении искупления два основные положения, на которые все опирается: 1) законная жизнь человеческая есть жизнь блаженная, жизнь же мирская здесь есть жизнь дурная, не поправимая усилиями человека, и 2) спасение от этой жизни — в вере.

Эти два положения стали основой мирозерцания и верующих и неверующих нашего псевдохристианского общества. Из второго положения вытекла церковь с ее учреждениями. Из первого вытекает наше общественное мнение и наши философские и политические теории.

Все философские и политические теории, оправдывающие существующий порядок, гегельянство и его дети зиждутся на этом положении. Пессимизм, требующий от жизни того, что она не может дать, и потому отрицающий жизнь, вытекает из него же.

Материализм с его удивительным восторженным утверждением, что человек есть процесс

и больше ничего, есть законное детище этого учения, признавшего, что жизнь здешняя есть жизнь падшая. Спиритизм с его учеными последователями есть лучшее доказательство того, что научное и философское воззрение не свободно, а основано на религиозном учении о блаженной вечной жизни, свойственной человеку.

Извращение смысла жизни извратило всю разумную деятельность человека. Догмат паде-ния и искупления человека заслонил от людей самую важную и законную область деятельности человека и исключил из всей области знания человеческого знание того, что должен делать человек для того, чтобы ему самому быть счастливее и лучше. Наука и философия, воображая, что они действуют враждебно псевдохристианству, гордясь этим, только работают на него. Наука и философия трактуют обо всем, о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть и жить лучше. То, что называется этикой — нравственным учением, совершенно исчезло в нашем псевдохристианском обществе.

И верующие и неверующие одинаково не спрашивают себя о том, как надо жить и как употребить тот разум, который дан нам, а спрашивают себя: отчего жизнь наша людская не такая, какую мы себе ее вообразили, и когда она сделается такою, какой нам хочется?

Только благодаря этому ложному учению, всосавшемуся в плоть и кровь наших поколений, могло случиться то удивительное явление, что человек точно выплюнул то яблоко познания добра и зла, которое он, по преданию, съел в раю, и, забыв то, что вся история человека только в том, чтобы разрешать противоречия разумной и животной природы, стал употреблять свой

разум на то, чтобы находить законы исторические одной своей животной природы.

Религиозные и философские учения всех народов, за исключением философских учений псевдохристианского мира, все, которые мы знаем: иудаизм, конфуцианство, буддизм, браманизм, греческая мудрость, — все учения имеют целью устройство жизни людской и уяснение людям того, как каждый должен стремиться к тому, чтобы быть и жить лучше. Все конфуцианство — в личном совершенствовании, иудаизм — в личном следовании каждого завету с Богом, буддизм — в учении о том, как каждому спастись от зла жизни. Сократ учил личному совершенствованию во имя разума, стоики разумную свободу признают единой основой истинной жизни.

Вся разумная деятельность человека не могла не быть и всегда была в одном — в освещении разумом стремления к благу. Свобода воли, говорит наша философия, есть иллюзия, и очень гордится смелостью этого утверждения. Но свобода воли есть не только иллюзия — это есть слово, не имеющее никакого значения. Это — слово, выдуманное богословами и криминалистами, и опровергать это слово — бороться с мельницами. Но разум, тот, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уж никак нельзя отрицать. Следование разуму для достижения блага — в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа, и его-то, то есть разум, отрицать разумом уже никак нельзя.

Учение Христа есть учение о сыне человеческого, общем всем людям, то есть об общем всем

людям стремления к благу и об общем всем людям разуме, освещающем человека в этом стремлении. (Доказывать, что сын человеческий значит сын человеческий, совершенно излишне. Для того, чтобы под сыном человеческим разуметь что-нибудь другое, чем то, что значат слова, надо доказать то, что Христос умышленно употреблял для обозначения того, что он хотел сказать, слова, имеющие совсем другое значение. Но если даже, как это хочет церковь, сын человеческий значит сын Божий, то и тогда сын человеческий значит тоже человек по своей сущности, потому что сынами Божиими Христос называет всех людей.)

Учение Христа о сыне человеческом — сыне Бога, составляющее основу всех Евангелий, яснее всего выражено в его беседе с Никодимом. «Каждый человек, — говорит он, — кроме сознания своей плотской личной жизни, происшедшей от мужского отца в утробе плотской матери, не может не сознавать свое рождение свыше (Иоанна, III, 5, 6, 7). То, что человек сознает в себе свободным, — это-то и есть то, что рождено от бесконечного, от того, что мы называем Богом (11—13). Это-то рождение от Бога, этого сына Бога в человеке, мы должны возвысить в себе для того, чтобы получить жизнь истинную (14—17). Сын человеческий есть сын Бога однородный (а не единородный). Тот, кто возвысит в себе этого сына Бога над всем остальным, кто поверит, что жизнь только в нем, тот не будет в разделении с жизнью. Разделение с жизнью происходит только от того, что люди не верят в свет, который есть в них» (18—21). (Тот свет, о котором сказано в Евангелии Иоанна, что в нем жизнь и что жизнь есть свет людей.)

Христос учит тому, чтобы над всем возвысить сына человеческого, который есть сын Бога и свет людей. Он говорит: «Когда возвысите (вознесете, возвеличите) сына человеческого, вы узнаете, что я ничего не говорю от себя лично» (Иоанна, XII, 32, 44, 49). Евреи не понимают его учения и спрашивают: кто этот сын человеческий, которого надо возвысить? (Иоанна, XII, 34). И на этот вопрос он отвечает (Иоанна, XII, 35): «Еще на малое время свет *в вас*¹ есть. Ходите, пока есть свет, чтобы тьма не объяла вас. Тот, кто ходит во тьме, не знает, куда идет». На вопрос, что значит: возвысить сына человеческого, Христос отвечает: жить в том свете, который есть в людях.

Сын человеческий, по ответу Христа,— это свет, в котором люди должны ходить, пока есть свет в них.

Луки, XI, 35: «Смотри, не сделался ли *свет*, находящийся в тебе, тьмою?»

Матф., VI, 23: «Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» — говорит он, поучая всех людей.

Прежде и после Христа люди говорили то же самое: то, что в человеке живет Божественный свет, сошедший с неба, и свет этот есть разум,— и что ему одному надо служить и в нем одном искать благо. Это говорили и учителя браминов, и пророки еврейские, и Конфуций, и Сократ, и Марк Аврелий, и Эпиктет, и все истинные мудрецы, не составители философских теорий,

¹ Во всех церковных переводах в этом месте сделан умышленно ложный перевод: вместо слов *в вас*, ἐν ὑμῖν, везде, где встречаются эти слова, стоит: *с вами*.

а те люди, которые искали истины для блага своего и всех людей¹.

И вдруг мы по догмату искупления признали, что об этом-то свете в человеке говорить и думать вовсе и не нужно. Надо думать, говорят верующие, о том, какое естество у какого лица Троицы, какие таинства надо и не надо совершать; потому что спасение людей произойдет не от наших усилий, а от Троицы и от правильного совершения таинств. Надо думать, говорят неверующие, о том, по каким законам совершает движения бесконечно малая частица материи в бесконечном пространстве в бесконечное время; но о том, чего для его блага требует разум человека, об этом думать не надо, потому что улучшение состояния человека произойдет не от него, а от общих законов, которые мы откроем.

Я убежден, что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославляемых последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько веков ученые люди западной малой

¹ Марк Аврелий говорит: «Почитай то, что могущественнее всего в мире, то, что пользуется всем и всем управляет. Почитай тоже то, что могущественно в тебе. Оно подобно первому, потому что оно пользуется тем, что есть в тебе, управляет твоей жизнью».

Эпиктет говорит: «Бог посеял семя свое не только в моего отца и деда, но и во все существа, живущие на земле, в особенности в разумные, потому что они одни входят в сношения с Богом через разум, которым они соединены с ним».

В книге Конфуция сказано: «Закон великой науки в том, чтобы развивать и восстанавливать начало света разума, которое мы получили с неба». Это положение повторяется несколько раз и служит основой учения Конфуция.

части большого материка находились в повальном сумасшествии, воображая, что им принадлежит вечная блаженная жизнь, и занимались всякого рода элукубрациями о том, как, по каким законам наступит для них эта жизнь, сами же ничего не делали и не думали никогда ничего о том, как сделать эту свою жизнь лучше. И что будет представляться еще трогательнее будущему историку — это то, что он найдет, что у людей этих был учитель, ясно, определенно указавший им, что им должно делать, чтобы жить счастливее, и что слова этого учителя были объяснены одними так, что он на облаках придет все устроить, а другими так, что слова этого учителя прекрасны, но неисполнимы, потому что жизнь человеческая не такая, какую бы мы хотели, и потому не стоит ею заниматься, а разум человеческий должен быть направлен на изучение законов этой жизни без всякого отношения к благу человека.

Церковь говорит: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь здешняя есть образчик жизни настоящей; она хороша быть не может, она вся есть зло. Наилучшее средство прожить эту жизнь состоит в том, чтобы презирать ее и жить верою (то есть воображением) в жизнь будущую, блаженную, вечную; а здесь жить — как живется, и молиться.

Философия, наука, общественное мнение говорят: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь человека зависит не от того света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно с ним, а надо жить, как живется, твердо веруя, что, по законам прогресса исторического, социо-

логического и других, после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь делается сама собой очень хорошей.

Приходят люди во двор, находят в этом дворе все, что нужно для их жизни: дом со всею утварью, амбары, полные хлебом, погреба, подвалы со всеми запасами; на дворе — орудия земледельческие, снасть, сбруя, лошади, коровы, овцы, полное хозяйство — все, что нужно для довольной жизни. Люди с разных сторон приходят в этот двор и начинают пользоваться всем тем, что они находят тут, каждый только для себя, не думая ничего оставлять ни тем, которые теперь с ними в доме, ни тем, которые придут после. Каждый хочет все для себя. Каждый торопится воспользоваться, чем может, и начинается истребление всего — борьба, драка за предметы обладания: корову молочную, нестриженных котных овец бьют на мясо; станками и телегами топят печи, дерутся за масло, за зерно, проливают и просыпают и губят больше, чем пользуются. Никто спокойно не съест куска, ест и огрызается; приходит сильнейший и отнимает, а у того отнимает другой.

Намучившись, избитые, голодные люди уходят из двора. Опять хозяин приготовляет все во дворе так, чтобы люди могли спокойно жить в нем. Опять двор — полная чаша, опять приходят прохожие, и опять свалка, драка, все идет туною, и опять измученные, избитые и озлобленные люди выходят вон, ругаясь и злобясь и на товарищей, и на хозяина, что он плохо и мало заготовил. Опять добрый хозяин учреждает двор так, чтобы могли жить в нем люди, и опять то же, и опять, и опять, и опять. И вот в один из новых приходов людей находится учитель, кото-

рый говорит другим: братцы! мы не то делаем. Смотрите, сколько добра во дворе, как все хозяйственно устроено! На всех нас хватит и останется тем, которые после нас придут, только давайте с умом жить. Не будем друг у дружки отнимать, а будем помогать друг другу. Станем сеять, пахать, скотину водить, и всем хорошо будет жить. И вот случилось, что кое-кто понял, что говорил учитель, и стали эти понявшие так делать: перестали драться, отнимать друг у дружки и стали работать. Но остальные, которые и не слышали речей учителя, а которые и слышали, да не верили им, не делали по словам человека, а по-прежнему дрались и губили хозяйское добро и уходили. Приходили другие, и было то же самое. Те, которые послушали учителя, говорили всё свое: не деритесь, не губите хозяйское добро, вам лучше будет. Делайте, как сказал учитель. Но все еще было много таких, которые не слышали и не верили, и дело шло долго все по-старому. Все это понятно и так точно могло быть, пока люди не верили тому, что говорил учитель. Но вот, рассказывают, что пришло время, все услышали во дворе слова учителя, все поняли их, все мало что поняли, все признали, что это сам Бог говорит через учителя, что и учитель-то был сам Бог, и все поверили, как в святыню, в каждое слово учителя. Но рассказывают, что будто после этого, вместо того чтобы всем жить по словам учителя, вышло то, что после этого уж никто не стал удерживаться от свалки, и пошли все бузывать друг друга, и стали все говорить, что теперь-то мы верно знаем, что так надо и что иначе нельзя.

Что же это такое значит? Ведь скотина — и та сладится, как ей так корм есть, чтобы не

сбивать его дуром, а люди узнали, как надо лучше жить, поверили, что сам Бог им велел так жить, и живут еще хуже, потому что, говорят, нельзя жить иначе. Что-нибудь другое вообразили себе эти люди. Ну что же могли вообразить себе эти люди во дворе, чтобы, поверив словам учителя, продолжать жизнь по-прежнему, отнимать друг у друга, драться, губить добро и себя? А вот что — учитель сказал им: ваша жизнь в этом дворе дурная, живите лучше, и ваша жизнь будет хорошая, а они вообразили, что учитель осудил всю жизнь в этом дворе и обещал им другую, хорошую жизнь не на этом дворе, а где-то в другом месте. И они решили, что этот *двор постоянный* и что не стоит стараться жить в нем хорошо, а что надо только заботиться о том, как бы не прозевать ту обещанную хорошую жизнь в другом месте. Только этим можно объяснить странное поведение во дворе тех людей, которые верят, что учитель был Бог, и тех, которые считают его умным человеком и слова его справедливыми, но продолжают жить по-старому, противно советам учителя.

Люди всё слышали, всё поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говорил только о том, что людям надо делать свое счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что это двор постоянный, а там где-то будет настоящий. И вот от этого вышло то удивительное рассуждение, что слова учителя очень прекрасны и даже слова Бога, но исполнять их теперь трудно.

Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интегра-

ции сил. Никто не поможет, коли сами не помогут. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя.

VIII

Но положим, что учение Христа дает блаженство миру, положим, что оно разумно, и человек на основании разума не имеет права отречься от него; но что делать одному среди мира людей, не исполняющих закон Христа? Если бы все люди вдруг согласились исполнять учение Христа, тогда бы исполнение его было возможно. Но нельзя идти одному человеку против всего мира. «Если я один среди мира людей, не исполняющих учение Христа, — говорят обыкновенно, — стану исполнять его, буду отдавать то, что имею, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы идти присягать и воевать, меня оберут, и если я не умру с голода, меня избьют до смерти, и если не избьют, то посадят в тюрьму или расстреляют, и я напрасно погублю все счастье своей жизни и всю свою жизнь».

Возражение это основано на том же недоразумении, на котором основывается и возражение о неисполнимости учения Христа.

Так говорят обыкновенно, и так думал и я, пока не освободился вполне от церковного учения, и потому не понимал учения Христа о жизни во всем его значении.

Христос предлагает свое учение о жизни как спасение от той губительной жизни, которою живут люди, не следуя его учению, и вдруг я говорю, что я бы и рад последовать его учению,

да мне жалко погубить свою жизнь. Христос учит спасению от погибельной жизни, а я жалею эту погибельную жизнь. Стало быть, я считаю эту свою жизнь вовсе не погибельной, считаю эту жизнь чем-то действительным, мне принадлежащим и хорошим. В этом-то признании своей этой мирской, личной жизни за что-то действительное, мне принадлежащее и лежит недоразумение, препятствующее пониманию учения Христа. Христос знает это заблуждение людей, по которому они эту свою личную жизнь считают за что-то действительное и себе принадлежащее, и целым рядом проповедей и притч показывает им, что у них нет никаких прав на жизнь, нет никакой жизни до тех пор, пока они не приобретут истинной жизни, отрехшись от призрака жизни, того, что они называют своей жизнью.

Для того чтобы понять учение Христа о спасении жизни, надо прежде всего понять то, что говорили все пророки, что говорил Соломон, что говорил Будда, что говорили все мудрецы мира о личной жизни человека. Можно, по выражению Паскаля, не думать об этом, нести перед собой ширмочки, которые бы скрывали от взгляда ту пропасть смерти, к которой мы все бежим; но стоит подумать о том, что такое одинокая личная жизнь человека, чтобы убедиться в том, что вся жизнь эта, если она есть только личная жизнь, не имеет для каждого отдельного человека не только никакого смысла, но что она есть злая насмешка над сердцем, над разумом человека и над всем тем, что есть хорошего в человеке. И потому, чтобы понять учение Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься, надо, чтобы в нас совершилась *μετάνοια*, то самое, что,

проповедуя свое учение, говорит предшественник Христа — Иоанн таким же, как мы, запутанным людям. Он говорил: «Прежде всего покайтесь, то есть одумайтесь, а то все погибнете». Он говорил: «Топор уже лежит подле дерева, чтобы срубить его. Смерть и гибель тут, подле каждого. Не забывайте этого, одумайтесь». И Христос, начиная свою проповедь, говорит то же: «Одумайтесь, а то все погибнете».

Луки, XIII, 1—5. Христу рассказали о гибели галилеян, убитых Пилатом. И он говорит: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если вы не покаетесь, все так же погибнете».

Если бы он жил в наше время в России, он сказал бы: разве вы думаете, что сгоревшие в бердичевском цирке или погибшие на кукуевской насыпи были виновнее других? — все так же погибнете, если не одумаетесь, если не найдете в своей жизни того, что не погибает. Смерть задавленных башней, сгоревших в цирке ужасает вас, но ведь ваша смерть, столь же ужасная и столь же неизбежная, стоит также перед вами. И вы напрасно стараетесь забыть ее. Когда она придет неожиданная, она будет еще ужаснее.

Он говорит (Луки, XII, 54—57): «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет; и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет; и бывает. Лицемеры! лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем

же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?»

Ведь вы по приметам узнаете вперед погоду, как же вы не видите, что с вами быть должно? Убегай от опасности, оберегай свою жизнь, сколько хочешь, и все-таки не Пилат убьет, так башня задавит, а не Пилат и не башня, то умрешь в постели в страданиях еще злейших.

Сделайте простой расчет, как делают люди мирские, когда они что-нибудь затевают: башню строят, или идут на войну, или завод строят. Они затевают и трудятся над тем, что должно иметь разумный конец.

Луки, XIV, 28—31: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?»

Разве не бессмысленно трудиться над тем, что, сколько бы ты ни старался, никогда не будет закончено? Всегда смерть придет раньше, чем будет окончена башня твоего мирского счастья. И если ты вперед знаешь, что, сколько ни борись со смертью, не ты, а она поборет тебя, так не лучше ли уж и не бороться с нею и не класть свою душу в то, что погибает наверно, а поискать такого дела, которое не разрушилось бы неизбежною смертью.

Луки, XII, 22—27. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души

вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи и тело — одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше их? Да кто же из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них».

Сколько ни заботьтесь о теле и пище, никто не может прибавить себе жизни на один час¹. Так разве не бессмысленно заботиться о том, чего вы не можете сделать?

Вы знаете очень хорошо, что жизнь ваша кончится смертью, а вы заботитесь о том, чтобы обеспечить свою жизнь именем. Жизнь не может обеспечиться именем. Поймите, что это смешной обман, которым вы сами себя обманываете.

Не может быть смысл жизни, говорит Христос, в том, чем мы владеем и что мы приобретаем, то, что не мы сами; он должен быть в чем-нибудь ином.

Он говорит (Луки, XII, 15—21): «Жизнь человека при всем избытке его не зависит от его имения. У одного богатого человека, — говорит он, — был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бóльшие, и сберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу

¹ Слова эти неверно переведены: слово ἡλικία — возраст, время жизни. И потому все выражение значит: не можете прибавить часу жизни.

душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».

Смерть всегда, всякое мгновение стоит над вами. И потому (Луки, XII, 35, 36, 38, 39, 40): «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий».

Притча о девах, ожидающих жениха, завершение века и Страшный суд, — все эти места, по мнению всех толкователей, кроме другого значения конца мира, имеют значение: всегда, всякий час предстоящей человеку смерти.

Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша всегда совершается в виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно — смерть. И эта смерть разрушает все то, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то она должна быть какая-нибудь другая, то есть такая, цель которой не в жизни для себя в будущем. Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни.

Луки, X, 41: «Марфа! Марфа! хлопчешь и заботишься о многом, а одно только нужно».

Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя в будущем, не нужны для нас; все это обман, которым мы сами обманываем себя. Нужно только одно.

Со дня рождения положение человека таково, что его ждет неизбежная погибель, то есть бессмысленная жизнь и бессмысленная смерть, если он не найдет этого чего-то одного, которое нужно для истинной жизни. Это-то одно, дающее истинную жизнь, Христос и открывает людям. Он не выдумывает это, не обещает дать это по своей Божеской власти; он только показывает людям, что вместе с той личной жизнью, которая есть несомненный обман, должно быть то, что есть истина, а не обман.

Притчей о виноградарях (Матф., XXI, 33—42) Христос разъясняет этот источник заблуждения людей, скрывающего от них эту истину и заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную.

Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили себе, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков этих людей, кончающийся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею, как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. И для нас, вообразивших себе это, неизбежен такой же ряд безумных и жестоких поступков и несчастий; и такое же исключение из жизни. И как виноградарям кажется, что чем злее они будут, тем лучше обес-

печат себя, — убьют послов и хозяйского сына, — так и нам кажется, что чем злее мы будем, тем будем обеспеченнее.

Как неизбежно кончается с виноградарями тем, что их, никому не дающих плодов сада, изгоняет хозяин, так точно кончается и с людьми, вообразившими себе, что жизнь личная есть настоящая жизнь. Смерть изгоняет их из жизни, заменяя их новыми; но не за наказание, а только потому, что люди эти не поняли жизни. Как обитатели сада или забыли, или не хотят знать того, что им передан сад окопанный, огороженный, с вырытым колодцем и что кто-нибудь да поработал на них и потому ждет и от них работы; так точно и люди, живущие личной жизнью, забыли или хотят забыть всё то, что сделано для них прежде их рождения и делается во все время их жизни, и что поэтому ожидается от них; они хотят забыть то, что все блага жизни, которыми они пользуются, даны и даются и потому должны быть передаваемы или отдаваемы.

Эта поправка взгляда на жизнь, эта *μετάνοια* есть краеугольный камень учения Христа, как он и сказал в конце этой притчи. По учению Христа, как виноградаря, живя в саду, не ими обработанном, должны понимать и чувствовать, что они в неоплатном долгу перед хозяином, так точно и люди должны понимать и чувствовать, что, со дня рождения и до смерти, они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и теперь живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего. Они должны понимать, что всяким часом своей жизни, во время которой они не прекращают этой жизни, они утверждают это обязательство и что потому человек, живущий

для себя и отрицающий это обязательство, связывающее его с жизнью и началом ее, сам лишает себя жизни, должен понимать, что, живя так, он, желая сохранить свою жизнь, губит ее,— то самое, что много раз повторяет Христос.

Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей.

Чтобы быть участником в этой жизни, человек должен отречься от своей воли для исполнения воли Отца жизни, давшего ее сыну человеческому.

Иоанна, VIII, 35. Раб, делающий свою волю, а не волю хозяина, не живет вечно в доме хозяина; только сын, исполняющий волю Отца, только тот живет вечно,— говорит Христос ту же мысль в другом смысле.

Воля же Отца жизни есть жизнь не отдельного человека, а единого сына человеческого, живущего в людях, и потому человек сохраняет жизнь только тогда, когда он на жизнь свою смотрит как на залог, как на талант, данный ему Отцом для того, чтобы служить жизни всех, когда он живет не для себя, а для сына человеческого.

Матф., XXV, 14—46: «Хозяин дал рабам своим каждому по части имения своего и, ничего не сказав им, оставил их одних. Одни рабы, хотя и не слышали приказания хозяина о том, как употребить часть имения господина, поняли, что имение не их, а хозяйское, и что имение должно расти, и работали для хозяина. И рабы, которые работали для хозяина, стали участниками жизни хозяина, а неработавшие лишены того, что было дано им».

Жизнь сына человеческого дана всем людям,

и им не сказано, зачем она дана им. Одни люди понимают, что жизнь не их собственность, а дана им как дар, и должна служить жизни сына человеческого, и живут так. Другие, под предлогом непонимания цели жизни, не служат жизни. И люди, служащие жизни, сливаются с источником жизни; люди, не служащие жизни, лишаются ее. И вот с стиха 31—46 Христос говорит о том, в чем состоит служение сыну человеческому и в чем награда этого служения. Сын человеческий, по выражению Христа, как царь (34), скажет: «Придите благословенные Отца, наследуйте царство за то, что вы поили, кормили, одевали, принимали, утешали меня, потому что я все тот же один и в вас, и в малых сих, которых вы жалели и которым делали добро. Вы жили жизнью не личной, а жизнью сына человеческого, и потому вы имеете жизнь вечную».

Только этой вечной жизни учит Христос по всем Евангелиям, и, как ни странно это сказать про Христа, который лично воскрес и обещал всех воскресить, никогда Христос не только ни одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие личности за гробом, но и тому восстановлению мертвых в царстве Мессии, которое основали фарисеи, придавал значение, исключаящее представление о личном воскресении.

Саддукеи оспаривали восстановление мертвых. Фарисеи признавали его так же, как признают его теперь правоверные евреи.

Восстановление мертвых (а не воскресение, как неправильно переводится это слово), по верованиям евреев, совершится при наступлении века Мессии и установлении Царства Бога на земле. И вот Христос, встречаясь с этим верованием временного, местного и плотского воскре-

сения, отрицает его и на место его ставит свое учение о восстановлении вечной жизни в Боге.

Когда саддукеи, не признающие восстановления мертвых, спрашивают Христа, предполагая, что он разделяет понятия фарисеев, «чья будет жена семи братьев?» — он ясно и определенно отвечает о том и о другом.

Он говорит: Матф., XXII, 20—32; Марка, XII, 24—27; Луки, XX, 34—38: «Вы заблуждаетесь, не понимая Писания и силу Божию». И, отвергая представление фарисеев, он говорит: «Восстановление из мертвых бывает не плотское и не личное. Те, которые достигнут восстановления из мертвых, делаются сынами Бога и живут как ангелы (сила Бога) на небе (то есть с Богом), и вопросов личных, чья жена, для них не может быть, потому что они, соединяясь с Богом, перестают быть личностями». «Что же касается того, что есть восстановление мертвых», говорит он, возражая саддукеям, признающим одну земную жизнь и ничего, кроме плотской земной жизни, «то разве вы не читали того, что сказано вам Богом?» В Писании сказано, что Бог при купине сказал Моисею: «Я — Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Если Бог сказал Моисею, что он Бог Иакова, то Иаков не умер для Бога, потому что Бог есть Бог только живых, а не мертвых. *Для Бога все живы.* И потому если есть живой Бог, то и жив тот человек, который стал в общение с вечно живым Богом.

Против фарисеев Христос говорит, что восстановление жизни не может быть плотское и личное. Против саддукеев он говорит, что, кроме личной и временной жизни, есть еще жизнь в общении с Богом.

Христос, отрицая личное, плотское воскресе-

ние, признает восстановление жизни в том, что человек жизнь свою переносит в Бога. Христос учит спасению от жизни личной и полагает это спасение в возвеличении сына человеческого и жизни в Боге. Связывая это свое учение с учением евреев о пришествии Мессии, он говорит евреям о восстановлении сына человеческого из мертвых, разумея под этим не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в Боге. О плотском же личном воскресении он никогда не говорил. Лучшим доказательством того, что Христос никогда не проповедовал воскресения людей, служат те единственные два места, которые приводятся богословами в подтверждение его учения о воскресении. Эти два места следующие: Матф., XXV, 31—46 и Иоанна, V, 28, 29. В первом говорится о пришествии, то есть восстановлении, возвеличении Сына Человеческого (точно так же, как это говорится у Матф., X, 23), и потом величие и власть Сына Человеческого сравниваются с царем. Во втором месте говорится о восстановлении истинной жизни здесь на земле, как это и выражено в предшествующем 24-м стихе.

Стоит вдуматься в смысл учения Христа о жизни вечной в Боге, стоит восстановить в своем воображении учение еврейских пророков, чтобы понять, что если бы Христос хотел проповедовать учение о воскресении мертвых, которое тогда только начинало входить в Талмуд и было предметом спора, то он ясно и определенно высказал бы это учение; он же, наоборот, не только не сделал этого, но даже отверг его, и во всех Евангелиях нельзя найти ни одного места, которое бы подтверждало это учение. А два приведенные выше места означают совсем другое.

О своем же личном воскресении, как это ни покажется странным всем, кто не изучал сам Евангелий, *Христос никогда нигде не говорит*. Если, как учат богословы, основа веры Христовой — в том, что Христос воскрес, то, казалось бы, меньшее, чего можно желать, — это то, чтобы Христос, зная, что он воскреснет и что в этом будет состоять главный догмат веры в него, хотя бы один раз определенно и ясно сказал это. Но он не только не сказал этого определенно и ясно, но ни разу, ни одного разу по всем нашим каноническим Евангелиям даже не упомянул об этом. Учение Христа в том, чтобы возвысить сына человеческого, то есть сущность жизни человека — признать себя сыном Бога. В самом себе Христос олицетворяет человека, признавшего свою сыновность Богу: Матф., XVI, 13—20. Он спрашивает у учеников: что про него — *Сына Человеческого* — толкуют люди? Ученики говорят, что одни считают его за чудесного воскрешенного Иоанна или за пророка, другие — за Илию, пришедшего с неба. «Ну, а вы как понимаете меня?» — спрашивает он. И Петр, понимая Христа так же, как он сам понимал себя, отвечает: «Ты — Мессия, сын Бога живого». И Христос говорит: не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец наш небесный, то есть ты понял это не потому, что ты поверил человеческим толкованиям, а потому, что ты, сознав себя сыном Бога, понял меня. И, объяснив Петру, что на этой сыновности Богу зиждется истинная вера, Христос говорит другим ученикам, чтобы они и не говорили вперед, что именно он, Иисус — Мессия. И после этого Христос говорит: что, несмотря на то что его будут мучить и убьют, Сын Человеческий, сознавший себя сыном Бога,

все-таки будет восстановлен и восторжествует над всем. И эти-то слова толкуются за предсказание о его воскресении.

Иоан., II, 10, 22. Матф., XII, 40. Луки, XI, 30. Матф., XVI, 4. Матф., XVI, 21. Марка, VIII, 31. Луки, IX, 22. Матф., XVII, 23. Марка, IX, 31. Матф., XX, 19. Марка, X, 34. Луки, XVIII, 33. Матф., XXVI, 32. Марка, XIV, 28. Вот все 14 мест, которые понимаются так, что Христос предсказывал свое воскресение. В трех из этих мест говорится о Ионе во чреве китовы и в одном о восстановлении храма. В остальных же десяти местах говорится о том, что Сын Человеческий не может быть уничтожен; но нигде ни одним словом не говорится о воскресении Иисуса Христа.

Во всех этих местах в подлиннике нет даже слова «воскресение». Дайте человеку, не знающему богословских толкований, но знающему по-гречески, перевести все эти места, и никогда никто не переведет их так, как они переведены. В подлиннике в этих местах стоят два разные слова: одно ἀνίστημι, другое ἐγείρω. Одно из этих слов значит: «восстановить»; другое значит: «будить», и в медуме: «проснуться», «встать». Но ни то ни другое никогда ни в каком случае не может значить: «воскреснуть». Для того, чтобы вполне убедиться в том, что греческие слова эти и соответствующее им еврейское *кум* не могут значить «воскреснуть», стоит только сличить те места Евангелия, где употребляются эти слова, а употребляются они множество раз и ни разу не переведены словом «воскреснуть». Слова «воскреснуть», «auferstehen», «resusciter», нет ни на греческом, ни на еврейском языке, так как не было и соответствующего им

понятия. Чтобы на греческом или на еврейском языке выразить понятие о воскресении, нужна перифраза, нужно сказать: «встал» или «проснулся» из мертвых. Так, в Евангелии говорится (Матф., XIV, 2) про то, что Ирод полагал, что Иоанн Креститель «воскрес», и там сказано: «проснулся из мертвых». Так и у Луки, XVI, 31, говорится в притче о Лазаре про то, что если бы кто и воскрес, то и воскресшему бы не поверили, и сказано: «восстал бы из мертвых». Там же, где к словам: «встать», или «проснуться», не прибавлено слов: *из мертвых*, слова «встать» и «проснуться» никогда не значили и не могут значить — «воскреснуть». А говоря о себе, Христос ни разу во всех тех местах, которые приводятся в доказательство предсказаний Его о «воскресении», ни разу, ни одного разу не употребляет слов: «из мертвых».

Наше понятие о воскресении до такой степени чуждо понятию евреев о жизни, что нельзя себе представить даже, как мог бы говорить Христос евреям о воскресении и вечной личной, свойственной каждому человеку жизни. Понятие о будущей личной жизни пришло к нам не из еврейского учения и не из учения Христа. Оно вошло в церковное учение совершенно со стороны. Как ни странно это покажется, но нельзя не сказать, что верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, основанное на смешении сна со смертью и свойственное всем диким народам, и что еврейское учение, не говоря уже о христианском, стояло неизмеримо выше его. Мы же так уверены в том, что это сусверие есть что-то очень возвышенное, что пресерьезно доказываем преимущество нашего учения перед другими именно

тем, что мы держимся этого суеверия, а другие, как китайцы и индусы, не держатся его. Это доказывают не только богословы, но и вольнодумные ученые историки религий — Тиле, Макс Мюллер и др.; классифицируя религии, они признают, что те из них, которые разделяют это суеверие, выше тех, которые его не разделяют. Вольнодумный Шопенгауэр прямо называет еврейскую религию самой пакостной (*niederträchtigste*) из всех религий за то, что в ней нет и понятия (*keine Idee*) о бессмертии души. Действительно, в еврейской религии ни понятия, ни слова такого не было. Жизнь вечная по-еврейски «*хайе-ойлом*». *Ойлом* значит бесконечное, во времени непоколебимое. *Ойлом* значит тоже мир — космос. Жизнь вообще, и тем более жизнь вечная, *хайе-ойлом*, по учению евреев, есть свойство одного Бога. Бог есть Бог жизни, Бог живой. Человек, по понятию евреев, всегда смертен, только Бог есть всегда живой. В Пятикнижии два раза употреблены слова: «жизнь вечная». Один раз во Второзаконии, другой раз в книге Бытия. Во Второзаконии, гл. XXXII, 39, 40, Бог говорит: поймите, что это я — Я. Что нет Бога, кроме Меня; Я живой, Я умерщвляю, Я бью, Я исцеляю, и от Меня никто не освобождается; Я поднимаю руку до неба и говорю: *Я живу вечно*. В другой раз: в книге Бытия, III, 22, Бог говорит: вот человек съел плода от древа познания добра и зла и стал таким, как мы (одним из нас); как бы он не протянул руки и не взял с древа жизни и не съел и не стал бы *жить вечно*. Эти два единственные случая употребления слов: *жизнь вечная* в Пятикнижии и во всем Ветхом Завете (за исключением одной главы апокрифического Дани-

ила) ясно определяют понятия евреев о жизни вообще и жизни вечной. Жизнь сама по себе, по понятию евреев, вечна и такова она в Боге; человек же всегда смертен, таково его свойство.

Нигде в Ветхом Завете не сказано того, чему учат нас в священных историях — что Бог вдунул в человека *душу бессмертную*, или того, что первый человек до греха был бессмертен. Бог сотворил, по первому сказанию книги Бытия, ст. 26, I гл., человека точно так же, как и животных, точно так же мужеский и женский пол и точно так же велел им плодиться и множиться. Как о животных не сказано, что они бессмертны, точно так же не сказано этого и о человеке. Во второй главе говорится о том, как человек познал добро и зло. Но о жизни сказано прямо, что Бог выгнал человека из рая и загородил ему путь к дереву жизни. Человек так и не вкусил плода дерева жизни, он так и не получил *хайе-ойлом*, то есть жизни вечной, и остался смертен.

По учению евреев, человек есть человек точно такой, какой он есть, то есть смертный. Жизнь есть в нем только как жизнь, продолжающаяся из рода в род в народе. Один только народ, по учению евреев, имеет в себе возможность жизни. Когда Бог говорит: будете жить и не умрете, то он говорит это народу. Вдунутая в человека Богом жизнь есть смертная для каждого отдельного человека, но жизнь эта продолжается из поколения в поколение, если люди исполняют завет с Богом, то есть условия, положенные для этого Богом.

Изложив все законы и сказав, что законы эти не на небе, а в сердцах их, Моисей говорит во Второзаконии, XXX, 15: «Вот ныне я кладу перед вами благо и жизнь, смерть и зло, увеще-

вая вас любить Бога и идти по Его путям, исполняя Его закон с тем, чтобы вы удержали жизнь». И в ст. 19: «Беру в свидетели против вас небо и землю. Вот *жизнь* и *смерть*, благословение и проклятие я кладу перед вами. Изберите же жизнь с тем, чтобы жить вам и потомству вашему, любя Бога, повинуюсь ему и прилепляясь к нему, потому что от него ваша жизнь и продолжение ее».

Главное различие между нашим понятием о жизни человеческой и понятием евреев состоит в том, что, по нашим понятиям, наша смертная жизнь, переходящая от поколения к поколению, не настоящая жизнь, а жизнь падшая, почему-то временно испорченная; а по понятию евреев, эта жизнь есть самая настоящая, есть высшее благо, данное человеку под условием исполнения воли Бога. С нашей точки зрения, переход этой падшей жизни от поколения к поколениям есть продолжение проклятия. С точки зрения евреев, это есть высшее благо, которого может достигнуть человек, и то только исполняя волю Бога.

Вот на этом-то понятии о жизни и основывает Христос свое учение о жизни истинной или вечной, которую он противопоставляет жизни личной и смертной. «Исследуйте писания», говорит Христос евреям (Иоанна, V, 39), «ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную».

Юноша спрашивает Христа (Матф., XIX, 16): как войти в жизнь вечную? Христос, отвечая ему на вопрос о жизни вечной, говорит: если хочешь войти в *жизнь* (он не говорит: жизнь вечную, а — просто жизнь), соблюди заповеди. То же говорит законнику: так поступай, и будешь жить (Луки, X, 28), и то же говорит — жить, просто, не прибавляя — жить вечно. Христос в обоих случаях определяет, что должно разу-

меть под словами: жизнь вечная; когда он употребляет их, то говорит евреям то же самое, что сказано много раз в законе их, а именно: исполнение воли Бога есть жизнь вечная.

Христос в противоположность жизни временной, частной, личной учит той вечной жизни, которую, по Второзаконию, Бог обещал Израилю, но только с той разницей, что, по понятию евреев, жизнь вечная продолжалась только в избранном народе израильском и для приобретения этой жизни нужно было соблюдать исключительные законы Бога для Израиля, а по учению Христа, жизнь вечная продолжается в сыне человеческом, и для сохранения ее нужно соблюдать законы Христа, выражающие волю Бога для всего человечества.

Христос противопоставляет личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную с жизнью настоящей, прошедшей и будущей всего человечества, жизнь сына человеческого.

Спасение жизни личной от смерти, по учению евреев, было исполнением воли Бога, выраженной в законе Моисея по его заповедям. Только при этом условии жизнь евреев не погибала, а переходила от поколения к поколению в избранном Богом народе. Спасение жизни личной от смерти, по учению Христа, есть то же самое исполнение воли Бога, выраженное в заповедях Христа. Только при этом условии, по учению Христа, жизнь личная не погибает, а становится вечною непоколебимо в сыне человеческом. Разница только в том, что служение Богу Моисея было служение Богу одного народа; а служение Отцу Христа есть служение Богу всех людей. Продолжение жизни в поколениях одного народа было сомнительно потому, что мог исчезнуть сам

народ, и потому еще, что продолжение это зависело от плотского потомства. Продолжение жизни, по учению Христа, несомненно потому, что жизнь, по его учению, переносится в сына человеческого, живущего по воле Отца.

Но положим, что слова Христа о Страшном суде и совершении века и другие слова из Евангелия Иоанна имеют значение обещания загробной жизни для душ умерших людей, все-таки несомненно и то, что учение его о свете жизни, о Царстве Бога имеет и то доступное его слушателям и нам теперь значение, что жизнь истинная есть только жизнь сына человеческого по воле Отца. Это тем легче допустить, что учение о жизни истинной по воле Отца жизни включает в себя понятие о бессмертии и жизни за гробом.

Может быть, справедливее предположить, что человека после этой мирской жизни, пережитой для исполнения его личной воли, все-таки ожидает вечная личная жизнь в раю со всевозможными радостями; может быть, это справедливее, но думать, что это так, стараться верить в то, что за добрые дела я буду награжден вечным блаженством, а за дурные — вечными муками, — думать так не содействует пониманию учения Христа; думать так — значит, напротив, лишать учение Христа самой главной его основы.

Все учение Христа в том, чтобы ученики его, поняв призрачность личной жизни, отрелись от нее и переносили ее в жизнь всего человечества, в жизнь сына человеческого. Учение же о бессмертии личной души не только не призывает к отречению от своей личной жизни, но навеки закрепляет эту личность.

По понятию евреев, китайцев, индусов и всех

людей мира, не верующих в догмат падения человека и искупления его, жизнь есть жизнь, как она есть. Человек живет, совокупляется, рождает детей, воспитывает их, стареется и умирает. Дети его вырастают и продолжают его жизнь, которая, не прерываясь, ведется от поколения к поколениям, точно так же, как ведется все в мире существующее; камни, земля, металлы, растения, звери, светила и все в мире. Жизнь есть жизнь, и ею надо воспользоваться как можно лучше. Жить для себя одного неразумно. И потому, с тех пор как есть люди, они отыскивают для жизни цели вне себя: живут для своего ребенка, для семьи, для народа, для человечества, для всего, что не умирает с личной жизнью.

Наоборот, по учению нашей церкви, жизнь человеческая как высшее благо, известное нам, представляется только частицей той жизни, которая на время удержана от нас. Наша жизнь, по нашему понятию, не есть жизнь такая, какую Бог хотел и должен был нам дать, а жизнь наша есть испорченная, дурная, падшая жизнь, «образчик» жизни, насмешка над настоящей, над той, которую почему-то мы воображаем, что Бог должен был дать нам. Главная задача нашей жизни по этому представлению не в том, чтобы прожить ту данную нам смертную жизнь так, как хочет податель жизни, не в том, чтобы сделать ее вечною в поколениях людей, как евреи, или слиянием ее с волею Отца, как учил Христос, а в том, чтобы уверить себя, что после этой жизни начнется настоящая.

Христос не говорит про эту нашу мнимую жизнь, которую Бог должен был дать, но не дал почему-то людям. Теория грехопадения Адама и

вечной жизни в раю и бессмертной души, вдунутой Богом в Адама, была не известна Христу, и он не упоминал про нее и ни одним словом не намекнул на существование ее.

Христос говорит о жизни, какая она есть и какая будет всегда. Мы же говорим о той жизни, которую мы себе вообразили и которой никогда не было; как же нам понять учение Христа?

Христос не мог представить себе такого странного понятия у своих учеников. Он предполагает, что все люди понимают неизбежность гибели личной жизни, и открывает жизнь непогибающую. Он дает благо тем, которые во зле; но тем, которые уверились, что они имеют гораздо больше того, что дает Христос, учение его ничего не может дать. Я буду усовещивать человека, чтобы он работал, уверяя его, что он за то получит одежду и пищу, и вдруг этот человек уверится, что он и так миллионер; очевидно, что он не примет моих увещаний. Это самое происходит и с учением Христа. Что мне еще зарабатывать, когда я и так могу быть богачом? Что мне стараться прожить эту жизнь по-Божьи, когда я уверен, что и без того я буду вечно лично жить?

Нас учат, что Христос спас людей тем, что он — второе лицо Троицы, что он — Бог и вочеловечился и, приняв на себя грех Адама и всех людей, искупил грех людей пред первым лицом Троицы и установил для нашего спасения церковь и таинства. Веруя в это, мы спасаемся и получаем вечную личную жизнь за гробом. Но нельзя же отрицать и того, что он спас и спасает людей еще и тем, что, указав им на их неизбежную гибель, он, по словам своим: *Я есмь путь, жизнь и истина*, дал нам истин-

ный путь жизни, взамен того ложного пути жизни личной, по которому мы шли прежде.

Если могут найтись люди, которые усомнятся в загробной жизни и спасении, основанном на искуплении, то в спасении людей, всех и каждого отдельно, чрез указание неизбежной гибели личной жизни и истинного пути спасения в слиянии своей воли с волею Отца, не может быть сомнения. Пусть всякий разумный человек спросит себя: что такое его жизнь и смерть? И пусть придаст этой жизни и смерти какой-нибудь другой смысл, кроме того, который указал Христос.

Всякое осмысливание личной жизни, если она не основывается на отречении от себя для служения людям, человечеству — сыну человеческому, есть призрак, разлетающийся при первом прикосновении разума. В том, что моя личная жизнь погибает, а жизнь всего мира по воле Отца не погибает и что одно только слияние с ней дает мне возможность спасения, в этом я уж не могу усомниться. Но это так мало в сравнении с теми возвышенными религиозными верованиями в будущую жизнь! Хоть мало, но верно.

Я заблудился в снежную метель. Один уверяет меня, и ему так кажется, что вот они — огоньки, вот и деревня; но это только так кажется и ему и мне, потому что нам этого хочется, а уж мы ходили на эти огоньки, и их не оказалось. А другой пошел по снегу: походил, вышел на дорогу и кричит нам: «Никуда не ездите, огоньки у вас в глазах, везде заблудитесь и пропадете, а вот крепкая дорога, и я стою на ней, она выведет нас». Это очень мало. Когда мы верили огонькам, мелькавшим в наших ошалелых глазах, была уже вот-вот и деревня,

и теплая изба, и спасенье, и отдых, а тут только крепкая дорога. Но если послушаемся первого, наверно замерзнем, а если послушаемся второго, наверно выедем.

Итак, что же я должен делать, если я один понял учение Христа и поверил в него, один среди не понимающих и не исполняющих его?

Что мне делать? Жить, как все, или жить по учению Христа? Я понял учение Христа в его заповедях и вижу, что исполнение их дает блаженство и мне и всем людям мира. Я понял, что исполнение этих заповедей есть воля того начала всего, от которого произошла и моя жизнь.

Я понял, кроме того, что что́ бы я ни делал, я неизбежно погибну бессмысленною жизнью и смертью со всем окружающим меня, если я не буду исполнять этой воли Отца, и что только в исполнении ее — единственная возможность спасения.

Делая, как все, я наверно противодействую благу всех людей, наверно делаю противное воле Отца жизни; наверно лишаю себя единственной возможности улучшить свое отчаянное положение. Делая то, чему Христос учит меня, я продолжаю то, что делали люди до меня: я содействую благу всех людей, теперь живущих, и тех, которые будут жить после меня, делаю то, что хочет от меня тот, кто произвел меня, и делаю то, что одно может спасти меня.

Горит цирк в Бердичеве, все жмутся и душат друг друга, напирая на дверь, которая отворяется внутрь. Является спаситель и говорит: «Отступите от двери, вернитесь назад; чем больше вы напираете, тем меньше надежды спасения. Вернитесь, и вы найдете выход и спасетесь». Многие ли, один ли я услышал это и поверил —

все равно; но, услышавши и поверивши, что же я могу сделать, как не то, чтобы пойти назад и звать всех на голос спасителя? Задушат, задавят, убьют меня — может быть; но спасение для меня все-таки лишь в том, чтобы идти туда, где единственный выход. И я не могу не идти туда. Спаситель должен быть точно Спаситель, то есть точно спасать. И спасение Христа есть точно спасение. Он явился, сказал — и человечество спасено.

Цирк горит час, и надо спешить, и люди могут не успеть спастись. Но мир горит уж 1800 лет, горит с тех пор, как Христос сказал: я огонь низвел на землю; и как томлюсь, пока он не разгорится, — и будет гореть, пока не спасутся люди. Не затем ли и люди, не затем ли и горит, чтобы люди имели блаженство спасения?

И, поняв это, я понял и поверил, что Иисус не только Мессия, Христос, но что он точно и Спаситель мира.

Я знаю, что выхода другого нет ни для меня, ни для всех тех, которые со мной вместе мучаются в этой жизни. Я знаю, что всем, и мне с ними вместе, нет другого спасения, как исполнять те заповеди Христа, которые дают высшее доступное моему пониманию благо всего человечества.

Больше ли у меня будет неприятностей, раньше ли я умру, исполняя учение Христа, мне не страшно. Это может быть страшно тому, кто не видит, как бессмысленна и погибельна его личная одинокая жизнь, и кто думает, что он не умрет. Но я знаю, что жизнь моя для личного одинокого счастья есть величайшая глупость и что после этой глупой жизни я непременно только глупо умру. И потому мне не может быть

страшно. Я умру так же, как и все, так же, как и не исполняющие учения; но моя жизнь и смерть будут иметь смысл и для меня и для всех. Моя жизнь и смерть будут служить спасению и жизни всех, — а этому-то и учил Христос.

IX

Исполни́й все люди учение Христа, и было бы Царство Бога на земле; исполни́й я один — я сделаю самое лучшее для всех и для себя. Без исполнения учения Христа нет спасения.

«Но где взять веры для того, чтобы исполни́ть его, всегда следовать ему и никогда не отречься от него? Верую, Господи, помоги моему неверию».

Ученики просили Христа утвердить в них веру. «Хочу делать хорошее, и делаю дурное», — говорит апостол Павел.

«Трудно спастися» — так говорят и думают обыкновенно.

Человек тонет и просит о спасении. Ему подают веревку, которая одна может спасти его, и утопающий человек говорит: утвердите во мне веру, что веревка эта спасет меня. Верую, говорит человек, что веревка спасет меня, но помогите моему неверию.

Что это значит? Если человек не хватается за то, что спасает его, то это значит только то, что человек не понял своего положения.

Как может христианин, исповедующий Божественность Христа и его учения, как бы он ни понимал его, говорить, что он хочет верить и не может? Сам Бог, придя на землю, сказал: вам предстоят вечные мучения, огонь, вечная тьма кромешная, и вот спасенье вам — в моем учении

и исполнении его. Не может такой христианин не верить в предлагаемое спасенье, не исполнять его и говорить: «помоги моему неверию».

Для того, чтобы человек мог сказать это, надо не только не верить в свою гибель, но надо верить в то, что он не погибнет.

Дети попрыгали с корабля в воду. Их еще держит течение, ненамокшее платье и их слабые движения, и они не понимают своей гибели. Сверху из убегающего корабля выкинута им веревка. Им говорят, что они наверно погибнут, их умоляют с корабля (притчи: о женщине, нашедшей полушку; о пастухе, нашедшем пропавшую овцу; об ужине; о блудном сыне — говорят только про это); но дети не верят. Они не верят не веревке, а тому, что они гибнут. Такие же легкомысленные дети, как и они, уверили их, что они всегда, когда и уйдет корабль, будут весело купаться. Дети не верят в то, что скоро платье их намочит, ручки намахаются, что они станут задыхаться, захлебнутся и пойдут ко дну. В это они не верят, и только потому не верят в веревку спасения.

Как дети, упавшие с корабля, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не берутся за веревку; так точно и люди, исповедующие бессмертие душ, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не исполняют учение Христа-Бога. Они не верят в то, во что нельзя не верить, только потому, что они верят в то, во что нельзя верить.

И вот они зывают к кому-то: «Утверди в нас веру в то, что мы не погибнем».

Но этого невозможно сделать. Для того, чтобы у них была вера в то, что они не погибнут, им надо перестать делать то, что их губит, и начать делать то, что их спасает, — им надо взяться за ве-

ревку спасенья. А они не хотят этого сделать, а хотят увериться в том, что они не погибнут, несмотря на то, что на их глазах один за другим гибнут их товарищи. И это-то желание свое увериться в том, чего нет, они называют верой. Понятно, что им всегда мало веры и хочется иметь больше.

Когда я понял учение Христа, только тогда я понял также, что то, что люди эти называют верой, не есть вера, и что эту-то самую ложную веру и опровергает апостол Иаков в своем послании. (Послание это долго не принималось церковью и, когда было принято, подверглось некоторым извращениям: некоторые слова выкидываются, некоторые переставляются или переводятся произвольно. Я оставляю принятый перевод, исправляя только неточности по Тишендорфскому тексту.)

II, 14: «Что в том пользы, братия мои,— говорит Иаков,— если человек *полагает*, что он имеет веру, а дел не имеет? Не может вера спасти его. 15: Если, например, брат или сестра ходят голые и нет у них дневного пропитания. 16: И скажет им кто-нибудь из вас: идите с Богом, грейтесь и питайтесь, и вы не дадите им того, что нужно для их тела, что в том пользы? 17: Так-то и вера, если от нее нет дел, мертва сама по себе. 18: И всякий может сказать: у тебя вера, а у меня дела, покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе делами моими мою веру. 19: Ты веришь, что Бог один. Хорошо! и бесы верят и трепещут. 20: Хочешь ли узнать, пустой человек, что вера без дел мертва? 21: Авраам, отец наш, не делами ли стал праведен, положив сына своего Исаака на жертвенник? 22: Видишь, что вера содействовала делам его, а делами совершилась вера?

23.....24: Видите, что делами становится праведным человек, а не верою только. 25.....26: Потому что так же, как тело без души мертво, так и вера без дел мертва».

Иаков говорит, что единственный признак веры — дела, вытекающие из нее, и что потому вера, из которой не вытекают дела, есть только слова, которыми как не накормишь никого, так и не сделаешь себя праведным и не спасешься. И потому вера, из которой не вытекают дела, не есть вера. Это только желание верить во что-нибудь, это только ошибочное утверждение на словах, что я верю в то, во что я не верю.

Вера, по этому определению, есть то, что содействует делам, а дела — то, что совершает веру, то есть то, что делает веру верою.

Иудеи говорили Христу (Иоанна, VI, 30): «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?»

Это же говорили ему, когда он был на кресте. Марка, XV, 32: «Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем».

Матф., XXVII, 42: «Других спасал, а себя самого не может спасти! Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него».

И на такое требование усиления веры Христос отвечает им, что желание их напрасно и что ничем нельзя заставить их верить тому, во что они не верят. Он говорит: «Если скажу вам, вы не поверите» (Луки, XXII, 67). «Я сказал вам, и не верите. Вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам» (Иоанна, X, 25, 26).

Иудеи требуют того же, что требуют церковные христиане, чего-нибудь такого, что заставило бы их внешним образом поверить в учение Христа. И он отвечает им, что это невозможно, и объ-

ясняет им, почему невозможно. Он говорит, что они не могут верить потому, что они не из овец его, то есть не следуют тому пути жизни, который он показал овцам своим. Он объясняет (Иоанна, V, 44), в чем различие его овец и других, объясняет, почему одни верят, а другие нет, и на чем зиждется вера. «Как вы можете веровать, — говорит он, — когда друг от друга принимаете δόξα, учение¹, а то учение, которое от единого Бога, того не ищете?»

Чтобы верить, говорит Христос, надо искать то учение, которое от одного только Бога. Говорящий от себя ищет свое личное учение (δόξαν τὴν ἰδίαν), а кто ищет учение посланного его, тот истинен, и нет неправды в нем (Иоанна, VII, 18).

Учение о жизни, δόξα, есть основа веры.

Поступки все вытекают из веры. Веры же все вытекают из δόξα, того смысла, который мы приписываем жизни. Поступков может быть бесчисленное количество, вер тоже очень много; но учений о жизни (δόξα) есть только два: одно из них отрицает, а другое признает Христос. Одно учение — то, которое отрицает Христос, состоит в том, что личная жизнь есть что-то действительно существующее и принадлежащее человеку. Это — то учение, которого держалось и держится большинство людей и из которого вытекают все разнообразные веры людей мира и все их поступки. Другое учение — то, которое проповедовали все пророки и Христос, именно: что жизнь наша личная получает смысл только в исполнении воли Бога.

Если человек имеет ту δόξα, что важнее всего

¹ Δόξα, как и во многих местах, совершенно неправильно переводится словом: слава. Δόξα от δοξέω значит воззрение, суждение, учение.

его личность, то он будет считать, что его личное благо есть самое главное и желательное в жизни и, смотря по тому, в чем он будет полагать это благо, — в приобретении ли имения, в знатности ли, в славе, в удовлетворении ли похоти и пр., — у него будет соответственная этому взгляду вера, и все поступки его будут всегда сообразны с нею.

Если δόξα человека — другая, если он понимает жизнь так, что смысл ее только в исполнении воли Бога, как понимал это Авраам и как учил этому Христос, то, смотря по тому, в чем он будет полагать волю Бога, у него будет и соответствующая вера, и все поступки его будут вытекать из этой веры.

Вот почему и не могут верующие в благо личной жизни поверить в учение Христа. И все усилия их поверить этому всегда останутся тщетны. Чтобы поверить — им надо изменить свой взгляд на жизнь. А пока они не изменили его, дела их будут всегда совпадать с их верой, а не с их желаниями и словами.

Желание верить в учение Христа тех, которые просили у него знамений, и наших верующих не совпадает и не может совпадать с их жизнью, как бы они ни старались об этом. Они могут молиться Христу-Богу, причащаться, делать дела человеколюбия, строить церкви, обращать других; они всё это и делают, но не могут делать дел Христа, потому что дела эти вытекают из веры, основанной на совсем другом учении (δοξα), чем то, которое они признают. Они не могут принести в жертву единственного сына, как это сделал Авраам, между тем как Авраам не мог даже задуматься над тем, принести ли или не принести сына своего в жертву Богу, тому Богу, который один давал смысл и благо его жизни. И точно так

же Христос и ученики его не могли не отдавать своей жизни другим, потому что в этом одном был смысл и благо их жизни. Из этого-то непонимания сущности веры и вытекает то странное желание людей — сделать так, чтобы поверить в то, что жить по учению Христа лучше, тогда как всеми силами души, согласно с верой в благо личной жизни, им хочется жить противно этому учению.

Основа веры есть смысл жизни, из которого вытекает оценка того, что важно и хорошо в жизни, и того, что неважно и дурно. Оценка всех явлений жизни есть вера. И как теперь люди, имея веру, основанную на своем учении, никак не могут согласовать ее с верою, вытекающей из учения Христа, так не могли этого сделать и ученики его. И это недоразумение много раз резко и ясно выражено в Евангелии. Ученики Христа много раз просили его утвердить их веру в то, что он говорил: Матф., XX, 20—28 и Марка, X, 35—45. По обоим Евангелиям, после слова, страшного для каждого верующего в личную жизнь и полагающего благо в богатстве мира, после слов о том, что богатый не войдет в Царство Бога, и после еще более страшных для людей, верующих только в личную жизнь, слов о том, что кто не оставит всего и жизни своей ради учения Христа, тот не спасется, — Петр спрашивает: что же будет нам, последовавшим за тобой и оставившим все? Потом, по Марку, Иаков и Иоанн сами, а по Матфею их мать, просят его, чтобы он сделал так, чтобы они сели по обеим сторонам его, когда он будет в славе. Они просят, чтобы он утвердил их веру обещанием награды. На вопрос Петра Иисус отвечал притчей (Матф., XX, 1—16); на вопрос же Иакова он говорит: вы сами не знаете, чего хотите, то есть вы просите невозможного. Вы не

понимаете учения. Учение — в отречении от личной жизни, а вы просите личной славы, личной награды. Пить чашу (провести жизнь) вы можете такую же, как и я, но сесть справа и слева от меня, то есть быть равными мне, этого никто не может сделать. И тут Христос говорит: только в мирской жизни сильные мира пользуются и радуются славой и властью личной жизни, но вы, ученики мои, должны знать, что смысл жизни человеческой не в личном счастье, а в служении всем, в унижении перед всеми. Человек не затем живет, чтобы ему служили, а затем, чтобы самому служить и отдавать свою личную жизнь, как выкуп за всех. Христос на требование учеников, показавшее ему все непонимание ими его учения, не приказывает им верить, то есть изменить ту оценку благ и зол жизни, которая вытекает из его учения (он знает, что это невозможно), а разъясняет им тот смысл жизни, на котором зиждется вера, то есть истинная оценка того, что хорошо и дурно, важно и неважно.

На вопрос Петра (Марка, X, 28): что нам будет, какая награда за наши жертвы? Христос отвечает притчей о работниках, нанятых в разное время и получивших одинаковую награду. Христос разъясняет Петру его непонимание учения, от которого и зависит отсутствие его веры. Христос говорит: только в жизни личной и бессмысленной дорого и важно вознаграждение за работу по мере работы. Вера в вознаграждение за работу по мере работы вытекает из учения личной жизни. Вера эта зиждется на предположении о правах, которые мы будто имеем на что-то; но прав человек ни на что не имеет и не может иметь; он только имеет обязательства за благо, данное ему, и потому ему нельзя считаться ни с кем. От-

дав всю свою жизнь, он все-таки не может отдать того, что ему дано, и потому хозяин не может быть несправедливым к нему. Если же человек заявляет права на свою жизнь, считается с началом всего, с тем, что дало ему жизнь, то этим он только показывает, что он не понимает смысла жизни.

Люди, получив счастье, требуют еще чего-то. Люди эти стояли на базаре праздные и несчастные — не жили. Хозяин взял их и дал им высшее счастье жизни — труд. Они приняли милость хозяина и потом остались недовольны. Они недовольны потому, что у них нет ясного сознания своего положения. Они пришли на работу с своим ложным учением о том, что они имеют право на свою жизнь и на свой труд и что поэтому труд их должен быть вознагражден. Они не понимают того, что этот труд есть самое высшее благо, которое дано им и за которое им надо только стараться, воздать такое же благо, а нельзя требовать вознаграждения. И потому люди, имеющие такое же, как эти работники, превратное понятие о жизни, не могут иметь правильной и истинной веры.

Притча о хозяине и работнике, пришедшем с поля, сказанная в ответ на прямую просьбу учеников утвердить, умножить в них веру, еще яснее определяет основу той веры, которой учит Христос.

Луки, XVII, 3—10: На слова Христа, что надо прощать брату не раз, а семь раз семьдесят, ученики, ужасаясь трудности исполнения этого правила, говорят: да, но... надо верить, чтоб исполнять это; утверди же, умножь в нас веру. Как прежде они спрашивали: что нам за это будет? так и теперь спрашивают о том же самом, что говорят все так называемые христиане. Хочь ве-

рить; но не могу; утверди в нас веру в то, что веревка спасения спасает нас. Они говорят: сделай так, чтобы мы верили, — то самое, что говорили ему, требуя от него чудес. Чудесами или обещаниями наград сделай так, чтобы мы верили своему спасению.

Ученики говорят так, как мы говорим: хорошо бы было сделать так, чтобы нам, живя той жизнью одинокой, своевольной, которой мы живем, верить еще, что, если мы будем исполнять учение Бога, нам будет лучше. Мы все предъявляем это противное всему смыслу учения Христа требование и удивляемся, что никак не можем поверить. И на это-то самое коренное недоразумение, бывшее тогда, как и теперь, он отвечает притчей, в которой показывает, что есть истинная вера. Вера не может произойти от доверия к тому, что он скажет; вера происходит только от сознания своего положения. Вера зиждется только на разумном сознании того, что лучше делать, находясь в известном положении. Он показывает, что нельзя возбудить в других людях эту веру обещанием наград и угрозой наказания, что это будет доверие очень слабое, которое разрушится при первом искушении, что та вера, которая горы сдвигает, та, которую ничто поколебать не может, зиждется на сознании неизбежной гибели и того единственного спасения, которое возможно в этом положении.

Для того, чтобы иметь веру, не нужно никаких обещаний наград. Нужно понять, что единственное спасение от неизбежной гибели жизни есть жизнь общая по воле хозяина. Всякий, понявший это, не будет искать утверждения, а будет спасаться без всяких увещаний.

На просьбу учеников утвердить в них веру

Христос говорит: когда хозяин придет с работником с поля, то не велит ему сейчас обедать, а велит убрать скотину и служить, а потом уж работник садится за стол и обедает. Работник все это делает, и не считает себя обиженным, и не хвалится, и не требует благодарности или награды, а знает, что это так должно быть и что он делает только то, что нужно, что это есть необходимое условие службы и вместе с тем истинное благо его жизни. Так и вы, говорит Христос, когда сделаете всё, что вам велено, считайте, что вы сделали только то, что должны были делать. Кто поймет свое отношение к хозяину, тот поймет, что, только покоряясь воле хозяина, он может иметь жизнь, и будет знать, в чем его благо, и будет иметь веру, для которой не будет ничего невозможного. Вот этой-то вере и учит Христос. Вера, по учению Христа, зиждется на разумном сознании смысла своей жизни.

Основа веры, по учению Христа, есть свет.

Иоанна, I, 9—12: Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир произошел через него, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Иоанна, III, 19—21: Суд же ¹ состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

Для того, кто понял учение Христа, не может

¹ Суд — κρίσις — значит не суд, а разделение.

быть вопроса об утверждении веры. Вера, по учению Христа, зиждется на свете истины. Христос нигде не призывает к вере в себя; он призывает только к вере в истину.

Иоанна, VIII, 40: Он говорит иудеям: Вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога.

46: Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Иоанна, XVIII, 37: Он говорит: Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего.

Иоанна, XIV, 6. Он говорит: «Я — путь и истина и жизнь».

«Отец, — говорит он ученикам в той же главе (16), — даст вам другого утешителя, и тот будет с вами вовек. Утешитель этот — дух истины, которого мир не видит и не знает, а вы знаете, потому что он при вас и в вас будет».

Он говорит, что все его учение, что он сам есть истина.

Учение Христа есть учение об истине. И потому вера в Христа не есть доверие во что-нибудь, касающееся Иисуса, но знание истины. В учение Христа нельзя верить никого, нельзя подкупать ничем к исполнению его. Кто понимает учение Христа, у того и будет вера в него, потому что учение это — истина. А кто знает истину, нужную для его блага, тот не может не верить в нее, и потому человек, понявший, что он истинно тонет, не может не взяться за веревку спасения. И вопрос, как сделать, чтобы поверить, есть вопрос, выражающий только непонимание учения Христа.

Мы говорим: «Трудно жить по учению Христа!» Да как же не трудно, когда мы сами старательно всей жизнью нашей скрываем от себя наше положение и старательно утверждаем в себе доверие к тому, что наше положение совсем не то, какое есть, а совершенно другое. И это-то доверие, назвав его верою, мы возводим во что-то священное и всеми средствами — насилием, действием на чувства, угрозами, лестью, обманом — заманиваем к этому ложному доверию. В этом требовании доверия к невозможному и неразумному мы доходим до того, что самую неразумность того, к чему мы требуем доверия, считаем признаком истинности. Нашелся человек христианин, который сказал *credo, quia absurdum*¹, и другие христиане с восторгом повторяют это, предполагая, что нелепость есть самое лучшее средство для научения людей истине. Недавно в разговоре со мной один ученый и умный человек сказал мне, что христианское учение как нравственное учение о жизни не важно. «Все это, — сказал он мне, — можно найти у стоиков, у браминов, в Талмуде. Сущность христианского учения не в этом, а в теозофическом учении, выраженном в догматах». То есть не то дорого в христианском учении, что вечно и общечеловечно, что нужно для жизни и разумно, а важно и дорого в христианстве то, что совершенно непонятно и потому ненужно, и то, во имя чего побиты миллионы людей.

Мы составили себе ни на чем, кроме как на нашей злости и личных похотях основанное ложное представление о нашей жизни и о жизни мира,

¹ верю, потому что нелепо (*лат.*). — *Ред.*

и веру в это ложное представление, связанное внешним образом с учением Христа, считаем самым нужным и важным для жизни. Не будь этого веками поддерживаемого людьми доверия ко лжи, ложь нашего представления о жизни и истина учения Христа обнаружались бы давно.

Ужасно сказать (но мне иногда кажется): не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшим на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, то есть к разумному учению о благе жизни, чем они теперь. Для них не были бы закрыты нравственные учения пророков всего человечества. У них были бы свои маленькие проповедники истины, и они верили бы им. Но теперь вся истина открыта, и вся истина эта показалась так страшна тем, чьи дела были злы, что они перетолковали ее в ложь, и люди потеряли доверие к истине. В нашем европейском обществе на заявление Христа, — что он пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать о истине, и что потому всякий, кто — от истины, слышит его, на эти слова все давно уже отвечали себе словами Пилата: *что есть истина?* Эти слова, выражающие такую грустную и глубокую иронию над одним римлянином, мы приняли взаправду и сделали их своей верою. Все в нашем мире живут не только без истины, не только без желания узнать ее, но с твердой уверенностью, что из всех праздных занятий самое праздное есть искание истины, определяющей жизнь человеческую.

Учение о жизни — то, что у всех народов до нашего европейского общества всегда считалось самым важным, то, про что Христос говорил, что оно единое на потребу, — это-то одно исключено из нашей жизни и всей деятельности челове-

ской. Этим занимается учреждение, которое называется церковью и в которое никто, даже составляющие это учреждение, давно уже не верят.

Единственное окно для света, к которому обращены глаза всех мыслящих, страдающих, закрыто. На вопрос: что я, что мне делать, нельзя ли мне облегчить жизнь мою по учению того Бога, который, по вашим словам, пришел спасти нас? — мне отвечают: исполняй предписание властей и верь церкви. Но отчего же так дурно мы живем в этом мире? — спрашивает отчаянный голос; зачем все это зло, неужели нельзя мне своей жизнью не участвовать в этом зле? неужели нельзя облегчить это зло? Отвечают: нельзя. Желание твое прожить жизнь хорошо и помочь в этом другим есть гордость, *прелесть*. Одно, что можно, — это спасти себя, свою душу для будущей жизни. Если же не хочешь участвовать в зле мира, то уйди из него. Путь этот открыт каждому, говорит учение церкви, но знай, что, избирая этот путь, ты должен уже не участвовать в жизни мира, а перестать жить и медленно сам убивать себя. Есть только два пути, говорят нам наши учителя: верить и повиноваться нам и властям и участвовать в том зле, которое мы учредили, или уйти из мира и идти в монастырь, не спать и не есть или на столбе гноить свою плоть, сгибаться и разгибаться и ничего не делать для людей; или признать учение Христа неисполнимым и потому признать освященную религией беззаконность жизни; или отречься от жизни, что равносильно медленному самоубийству.

Как ни удивительно кажется понявшему учение Христа то заблуждение, по которому признается, что учение Христа очень хорошо для людей, но неисполнимо; но заблуждение, по которому

признается, что человек, желающий не на словах, а на деле исполнять учение Христа, должен уйти из мира, — еще удивительнее.

Заблуждение это — что человеку лучше удалиться от мира, чем подвергаться искушениям мира, есть старое заблуждение, давно известное евреям; но совершенно чуждое не только духу христианства, но и иудаизму. Против этого-то заблуждения задолго еще до Христа написана повесть о пророке Ионе, столь любимая и часто проводимая Христом. Мысль повести от начала до конца одна: Иона-пророк хочет один быть праведным и удаляется от развращенных людей. Но Бог показывает ему, что он — пророк, что он затем только и нужен, чтобы сообщить заблудшим людям свое знание истины, а потому он не убежать должен от заблудших людей, а жить в общении с ними. Иона брезгает развращенными ниневитянами и убегает от них. Но как ни убегает Иона от своего назначения, Бог приводит его через кита к ниневитянам, и делается то, чего хочет Бог, то есть ниневитяне принимают через Иону учение Бога, — и жизнь их делается лучше. Но Иона не только не радуется тому, что он — орудие воли Божией, но досадует, ревнует Бога к ниневитянам, — ему хотелось бы одному быть разумным и хорошим. Он удаляется в пустыню, плачется на свою судьбу и упрекает Бога. И тогда над Ионой вырастает в одну ночь тыква, защищающая его от солнца, а в другую ночь червь съедает эту тыкву. Иона еще отчаяннее упрекает Бога за то, что дорогая ему тыква пропала. Тогда Бог говорит ему: тебе жалко тыкву, которую ты называешь своей, она в одну ночь выросла и в одну ночь пропала, а мне разве не жалко было огромного народа, который погибал, живя, как животные, не умея

отличить правой руки от левой! Твое знание истины на то только и нужно было, чтобы передать его тем, которые не имели его.

Христос знал эту повесть и часто приводил ее, но кроме того, в Евангелиях рассказано, как сам Христос после посещения удалившегося в пустыню Иоанна Крестителя, перед началом своей проповеди, подпал тому же искушению, и как он был отведен диаволом (обманом) в пустыню для искушения, и как он победил это обман и, в силе духа, вернулся в Галилею, и как с тех пор, уже не гнушаясь никакими развратными людьми, провел жизнь среди мытарей, фарисеев и грешников, научая их истине¹.

По церковному же учению, Христос-Богочеловек дал нам пример жизни. Всю известную нам жизнь свою Христос проводит в самом водовороте жизни: с мытарями, блудницами, в Иерусалиме, с фарисеями. Главные заповеди Христа — любовь к ближнему и проповедание другим его учения. И то и другое требует постоянного общения с миром. И вдруг из этого делается тот вывод, что по учению Христа надо уйти от всех, ни с кем не

¹ Луки, IV, 1, 2: Христос отведен в пустыню обманом, чтобы там быть искушаемым. Матф., IV, 3, 4: Обман говорит Христу, что он не сын Бога, если не может из камней сделать хлебы. Христос говорит: я могу жить без хлеба. Я жив тем, что вдунуто в меня Богом. Тогда обман говорит: если ты жив тем, что вдунуто в тебя Богом, то бросься с высоты, ты убьешь плоть, но дух, вдунутый в тебя Богом, не погибнет. Христос отвечает: жизнь моя во плоти есть воля Бога. Убить свою плоть значит идти против воли Бога — искушать Бога. Матф., IV, 8—11: Тогда обман говорит: если так, то и служи плоти, как все люди, и плоть вознаградит тебя. Христос отвечает: я бессилен над плотью, жизнь моя в духе, но уничтожить плоть я не могу, потому что дух вложен в мою плоть волею Бога, и потому, живя во плоти, я могу служить только Отцу своему, Богу. И Христос идет из пустыни в мир.

иметь никакого дела и стать на столб. Чтобы следовать примеру Христа, оказывается, что надо делать совершенно обратное тому, чему он учил, и тому, что он делал.

Учение Христа, по церковным толкованиям, представляется как для мирских людей, так и для монашествующих не учением о жизни — как сделать ее лучше для себя и для других, а учением о том, во что надо верить светским людям, чтобы, живя дурно, все-таки спастись на том свете, а для монашествующих — тем, как для себя сделать эту жизнь еще хуже, чем она есть.

Но Христос учит не этому.

Христос учит истине, и если истина отвлеченная есть истина, то она будет истинною и в действительности. Если жизнь в Боге есть единая жизнь истинная, блаженная сама в себе, то она истинна, блаженна здесь, на земле, при всех возможных случайностях жизни. Если бы жизнь здесь не подтверждала учения Христа о жизни, то это учение было бы не истинно.

Христос не призывает к худшему от лучшего, а, напротив — к лучшему от худшего. Он жалеет людей, которые ему представляются, как растерянные, погибающие без пастуха овцы, и обещает им пастуха и хорошее пастбище. Он говорит, что ученики его будут гонимы за его учение и должны терпеть и переносить гонения мира с твердостью. Но он не говорит, что, следуя его учению, они будут терпеть больше, чем следуя учению мира; напротив, он говорит, что те, которые будут следовать учению мира, те будут несчастны, а те, которые будут следовать его учению, те будут блаженны.

Христос учит не спасению верою, или аскетизму, то есть обману воображения, или самоволь-

ным мучениям в этой жизни; но он учит жизни такой, при которой, кроме спасения от гибели личной жизни, еще и здесь, в этом мире, меньше страданий и больше радостей, чем при жизни личной.

Христос, открывая свое учение, говорит людям, что, исполняя его учение даже среди неисполняющих, они не будут от этого несчастливее, чем прежде, но, напротив, будут счастливее, чем те, которые не будут исполнять этого. Христос говорит, что есть верный мирской расчет не заботиться о жизни мира.

«И начал Петр говорить ему: вот мы оставили всё и последовали за тобой. Что нам будет? Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Матф., XIX, 27—29; Марка, X, 28—30; Луки, XVIII, 28—30).

Христос, правда, упоминает, что тем, которые послушают его, предстанут гонения от тех, которые не послушают его; но он не говорит, чтобы ученики что-нибудь потеряли от этого. Напротив, он говорит, что ученики его будут иметь здесь, в мире этом, больше радостей, чем не ученики.

Что Христос говорит и думает это, в этом не может быть сомнения и по ясности его слов об этом, и по смыслу всего учения, и по тому, как он жил, и по тому, как жили его ученики. Но правда ли это?

Разбирая отвлеченно вопрос о том, чье положение будет лучше: учеников Христа или учени-

ков мира? — нельзя не видеть, что положение учеников Христа должно быть лучше уже потому, что ученики Христа, делая всем добро, не будут возбуждать ненависти в людях. Ученики Христа, не делая никому зла, могут быть гонимы только злыми людьми, ученики же мира должны быть гонимы всеми, так как закон жизни учеников мира есть закон борьбы, то есть гонения друг друга. Случайности же страданий — те же, как для тех, так и для других, с тою только разницей, что ученики Христа будут готовы к ним, а ученики мира все силы души будут употреблять на то, чтобы избежать их, и что ученики Христа, страдая, будут думать, что их страдания нужны для мира, а ученики мира, страдая, не будут знать, зачем они страдают. Рассуждая отвлеченно, положение учеников Христа должно быть выгоднее положения учеников мира. Но так ли оно в действительности?

Чтобы проверить это, пусть всякий вспомнит все тяжелые минуты своей жизни, все телесные и душевные страдания, которые он перенес и переносит, и спросит себя: во имя чего он переносил вся эти несчастья: во имя учения мира или Христа? Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа; но большинство несчастий его жизни произошли только оттого, что он, в противность своему влечению, следовал связывавшему его учению мира.

В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная

от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь,— все это есть мученичество во имя учения мира.

Да, я говорю про свою еще исключительно счастливую в мирском смысле жизнь. А сколько мучеников, пострадавших и теперь страдающих за учение мира страданиями, которых я не могу даже живо представить себе.

Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что все, что мы переносим для него, необходимо.

Мы уверились в том, что все те несчастья, которые мы сами себе делаем, суть необходимые условия нашей жизни, и потому не можем понять, что Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо.

Чтобы быть в состоянии обсудить вопрос о том, какая жизнь счастливее, нам надо хоть мысленно отрешиться от этого ложного представления и без предвзятой мысли оглянуться на себя и вокруг себя.

Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и взгляните в эти истомленные, тревожные, больные лица и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам довелось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, смерти и отчаяния, приводящие к самоубийствам? И вы увидите, как ни странно это кажется сначала, что девять десятых страданий людей несутся ими во имя учения мира, что все

эти страдания не нужны и могли бы не быть, что большинство людей — мученики учения мира.

На днях, в осеннее дождливое воскресенье, я проехал по конке через базар Сухаревой башни. На протяжении полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчас же сдвигавшуюся сзади. С утра до вечера эти тысячи людей, из которых большинство голодные и оборванные, толкуются здесь в грязи, ругая, обманывая и ненавидя друг друга. То же происходит на всех базарах Москвы. Вечер люди эти проведут в кабаках и трактирах. Ночь — в своих углах и конурах. Воскресенье — это лучший день их недели. С понедельника в своих зараженных конурах они опять возьмутся за постылую работу.

Вдумайтесь в жизнь этих людей, в то положение, которое они оставили, чтобы избрать то, в которое они сами себя поставили, и вдумайтесь в тот неустанный труд, который вольно несут эти люди, — мужчины и женщины, — и вы увидите, что это — истинные мученики.

Все эти люди побросали дома, поля, отцов, братьев, часто жен и детей, — отреклись от всего, даже от самой жизни, и пришли в город для того, чтобы приобрести то, что, по учению мира, считается для каждого из них необходимым. И все они, не говоря уж о тех десятках тысяч несчастных людей, потерявших все и перебивающихся требухой и водкой в ночлежных домах, — все, начиная от фабричного, извозчика, швеи, проститутки до богача-купца и министра и их жен, все несут самую тяжелую, неестественную жизнь и не приобрели того, что считается для них нужным по учению мира.

Поищите между этими людьми и найдите, от бедняка до богача, человека, которому бы хватало

то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретет то, что требуется, от него потребуются еще другое, и еще другое, и так без конца идет эта Сизифова работа, губящая жизни людей. Возьмите лестницу состояний от людей, проживающих в год триста рублей до пятидесяти тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен, истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400. Если и есть такие примеры, то и этот переход он делает не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уже отягченную жизнь и душу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра — часы с цепочкой, послезавтра — квартиру с диваном и лампой, после — ковры в гостиную и бархатные одежды, после — дом, рысаков, картины в золотых рамках, после — заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и так же отдает жизнь тому же Молоху, так же умирает и так же сам не знает, зачем он делал все это. Но, может быть, сама эта жизнь, во время которой человек делает все это, сама в себе счастлива?

Прикиньте эту жизнь на мерку того, что всегда все люди называют счастьем, и вы увидите, что эта жизнь ужасно несчастлива. В самом деле, ка-

кие главные условия земного счастья — такие, о которых никто спорить не будет?

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, растениями, животными. Всегда все люди считали лишение этого большим несчастьем. Заключение в тюрьмах сильнее всего чувствуют это лишение. Посмотрите же на жизнь людей, живущих по учению мира: чем большего они достигли успеха по учению мира, тем больше они лишены этого условия счастья. Чем выше то мирское счастье, которого они достигли, тем меньше они видят свет солнца, поля и леса, диких и домашних животных. Многие из них — почти все женщины — доживают до старости, раз или два в жизни увидав восход солнца и утро и никогда не видав полей и лесов иначе, как из коляски или из вагона, и не только не посеяв и не посадив чего-нибудь, не вскормив и не воспитав коровы, лошади, курицы, но не имея даже понятия о том, как рождаются, растут и живут животные. Люди эти видят только ткани, камни, дерево, обделанное людским трудом, и то не при свете солнца, а при искусственном свете; слышат они только звуки машин, экипажей, пушек, музыкальных инструментов; обоняют они спиртовые духи и табачный дым; под ногами и руками у них только ткани, камень и дерево; едят они по слабости своих желудков большей частью несвежее и вонючее. Переезды их с места на место не спасают их от этого лишения. Они едут в закрытых ящиках. И в деревне и за границей, куда они уезжают, у них те же камни и дерево под ногами, те же гардины, скры-

вающие от них свет солнца; те же лакеи, кучера, дворники, не допускающие их до общения с землей, растениями и животными. Где бы они ни были, они лишены, как заключенные, этого условия счастья. Как заключенные утешаются травкою, выросшей на тюремном дворе, пауком, мышью, так и эти люди утешаются иногда чахлыми комнатными растениями, попугаем, собачкой, обезьяной, которых все-таки растят и кормят не они сами.

Другое несомненное условие счастья есть труд, во-первых, любимый и свободный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий, успокаивающий сон. Опять, чем большего, по-своему, счастья достигли люди по учению мира, тем больше они лишены и этого другого условия счастья. Все счастливицы мира — сановники и богачи или, как заключенные, вовсе лишены труда и безуспешно борются с болезнями, происходящими от отсутствия физического труда, и еще более безуспешно со скукой, одолевающей их (я говорю: безуспешно — потому что работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна; а им ничего не нужно), или работают ненавистную им работу, как банкиры, прокуроры, губернаторы, министры и их жены, устраивающие гостинные, посуды, наряды себе и детям. (Я говорю: ненавистную — потому, что никогда еще не встретил из них человека, который хвалил бы свою работу и делал бы ее хоть с таким же удовольствием, с каким дворник очищает снег перед домом.) Все эти счастливицы или лишены работы, или приставлены к нелюбимой работе, то есть находятся в том положении, в котором находятся каторжные.

Третье несомненное условие счастья — есть

семья. И опять, чем дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. Большинство — прелюбодеи и сознательно отказываются от радостей семьи, подчиняясь только ее неудобствам. Если же они и не прелюбодеи, то дети для них не радость, а обуза, и они сами себя лишают их, стараясь всякими, иногда самыми мучительными средствами сделать совокупление бесплодным. Если же у них есть дети, они лишены радости общения с ними. Они по своим законам должны отдавать их чужим, большей частью совсем чужим, сначала иностранцам, а потом казенным воспитателям, так что от семьи имеют только горе — детей, которые смолodu становятся так же несчастны, как родители, и которые по отношению к родителям имеют одно чувство — желание их смерти для того, чтобы наследовать им¹. Они не заперты в тюрьме, но последствия их жизни по отношению к семье мучительнее того лишения семьи, которому подвергаются заключенные.

Четвертое условие счастья есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшей ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены этого

¹ Очень удивительно то оправдание такой жизни, которое часто слышишь от родителей. «Мне ничего не нужно, — говорит родитель, — мне жизнь эта тяжела, но, любя детей, я делаю это для них». То есть я несомненно опытом знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому... я воспитываю детей так, чтобы они были так же несчастливы, как и я. И для этого я по своей любви к ним привожу их в полный физических и нравственных зараз город, отдаю их в руки чужих людей, имеющих в воспитании одну корыстную цель, и физически, и нравственно, и умственно старательно порчу своих детей. И это-то рассуждение должно служить оправданием неразумной жизни самих родителей!

главного условия счастья. Чем выше, тем уже, теснее тот кружок людей, с которыми возможно общение, и тем ниже по своему умственному и нравственному развитию те несколько людей, составляющих этот заколдованный круг, из которого нет выхода. Для мужика и его жены открыто общение со всем миром людей, и если один миллион людей не хочет общаться с ним, у него остается 80 миллионов таких же, как он, рабочих людей, с которыми он от Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представления, тотчас же входит в самое близкое братское общение. Для чиновника с его женой есть сотни людей равных ему, но высшие не допускают его до себя, а низшие все отрезаны от него. Для светского богатого человека и его жены есть десятки светских семей. Остальное всё отрезано от них. Для министра и богача и их семей — есть один десяток таких же важных или богатых людей, как и они. Для императоров и королей кружок делается еще менее. — Разве это не тюремное заключение, при котором для заключенного возможно общение только с двумя-тремя тюремщиками?

Наконец пятое условие счастья есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестнице, тем более они лишены этого условия счастья. Возьмите среднего богача и его жену и среднего крестьянина и его жену, несмотря на весь голод и непомерный труд, который, не по своей вине, но по жестокости людей, несет крестьянство, и сравните их. И вы увидите, что чем ниже, тем здоровее, и чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины.

Переберите в своей памяти тех богачей и их жен, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Из них здоровый человек,

не лечащийся постоянно или периодически летом, — такое же исключение, как больной в рабочем сословии. Все эти счастливицы без исключения начинают онанизмом, сделавшимся в их быту естественным условием развития; все беззубые, все седые или плешивые бывают в те года, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными и половыми болезнями от объядения, пьянства, разврата и лечения, и те, которые не умирают молодыми, половину жизни своей проводят в лечении, в впрыскивании морфина или обрюзгшими калеками, не способными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы. Переберите их смерти: кто застрелился, кто сгнил от сифилиса, кто стариком умер от комфортатива, кто молодым умер от сечения, которому он сам поверг себя для возбуждения, кого живого съели вши, кого — черви, кто спился, кто объелся, кто от морфина, кто от искусственного выкидыша. Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними и, как мученики, ищут страданий и гибели.

Одна жизнь за другую бросается под колесницу этого бога: колесница проезжает, раздирая их жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валятся под нее!

Исполнение учения Христа трудно. Христос говорит: кто хочет следовать мне, тот оставь дом, поля, братьев и иди за мной — Богом, и тот получит в мире этом во сто раз больше домов, полей, братьев и, сверх того, жизнь вечную. И никто не идет. А учение мира сказало: брось дом, поля, братьев, уйди из деревни в гнилой город, живи всю свою жизнь банщиком голым, в пару намы-

ливая чужие спины, или гостинодворцем, всю жизнь считая чужие копейки в подвале, или прокурором, всю жизнь свою проводя в суде и над бумагами, занимаясь тем, чтобы ухудшить участь несчастных, или министром, всю жизнь впопыхах подписывая ненужные бумаги, или полководцем, всю жизнь убивая людей, — живи этой безобразной жизнью, кончающейся всегда мучительной смертью, и ты ничего не получишь в мире этом и не получишь никакой вечной жизни. И все пошли. Христос сказал: возьми крест и иди за мной, то есть неси покорно ту судьбу, которая выпала тебе, и повинуйся мне, Богу, и никто не идет. Но первый потерянный, никуда, как на убийство, не годный человек в эполемах, которому это взбредет в голову, скажет: возьми не крест, а ранец и ружье и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть, — и все идут.

Побросав семьи, родителей, жен, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню; но они не быки, а люди. Они не могут не знать, что их гонят на бойню; с неразрешимым вопросом — зачем? — и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразительных болезней до тех пор, пока их не поставят под пули и ядра и не велят им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют, и их бьют. И никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло. И никто не находит, что это трудно. Не только те, которые стра-

дают, но и отцы и матери не находят, что это трудно. Они даже сами советуют детям идти. Им кажется, что это не только так надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно.

Можно бы поверить, что исполнение учения Христа трудно и страшно и мучительно, если бы исполнение учения мира было очень легко и безопасно и приятно. Но ведь учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа.

Были когда-то, говорят, мученики Христа, но это было исключение; их насчитывают у нас 380 тысяч — вольных и невольных за 1800 лет; но сочтите мучеников мира — и на одного мученика Христа придется тысяча мучеников учения мира, которых страдания в сто раз ужаснее. Одних убитых на войнах нынешнего столетия насчитывают тридцать миллионов человек.

Ведь это всё мученики учения мира, которым стоило бы не то что следовать учению Христа, а только не следовать учению мира, и они избавились бы от страданий и смерти.

Стоит человеку только сделать то, чего ему хочется, — отказаться от того, чтобы идти на войну, — и его послали бы копать канавы и не замутили бы в Севастополе и Плевне. Стоит человеку только не верить учению мира, что нужно надеть калоши и цепочку и иметь пенужную ему гостиную, и что не нужно делать все те глупости, которых требует от него учение мира, и он не будет знать непосильной работы и страданий и вечной заботы и труда без отдыха и цели; не будет лишен общения с природой, не будет лишен любимого труда, семьи, здоровья и не погибнет бессмысленно мучительной смертью.

Не мучеником надо быть во имя Христа. не этому учит Христос. Он учит тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира.

Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл; учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа.

Христос говорит: не сердись, не считай никого ниже себя — это глупо. Будешь сердиться, обижать людей — тебе же будет хуже. Христос говорит еще: не бегай за всеми женщинами, а сойди с одной и живи — тебе будет лучше. Еще он говорит: не обещайся никому ни в чем, а то тебя заставят делать глупости и злодеяния. Еще говорит: за зло не плати злом, а то зло вернется на тебя еще злее, чем прежде, как подвешенная колода над медом, которая убивает медведя. И еще говорит: не считай людей чужими только потому, что они живут в другой земле, чем ты, и говорят другим языком. Если будешь считать их врагами и они будут считать тебя врагом, — тебе же будет хуже. Итак, не делай всех этих глупостей, и тебе будет лучше.

«Да, — говорят на это, — но мир так устроен, что противиться его устройству еще мучительнее, чем жить согласно с ним. Откажись человек от военной службы, и его посадят в крепость, расстреляют, может быть. Не обеспечивай человек свою жизнь приобретением того, что нужно ему и семье, он и семья его умрут с голоду». Так говорят люди, стараясь защитить устройство мира, но сами они не думают так. Они говорят так толь-

ко потому, что им нельзя отрицать справедливости учения Христа, которому они будто бы верят, и им надо оправдаться как-нибудь в том, что они не исполняют этого учения. Но они не только не думают этого, но никогда даже вовсе не думали об этом. Они верят учению мира и только пользуются отговоркой, которой их научила церковь, — что, исполняя учение Христа, надо много страдать, и потому никогда даже и не пробовали исполнять учение Христа. Мы видим бесчисленные страдания, которые несут люди во имя учения мира, но страданий из-за учения Христа мы в наше время никогда уже не видим. Тридцать миллионов погибло за учение мира на войнах; тысячи миллионов погибло в мучительной жизни из-за учения мира, но не только миллионов, даже тысяч, даже десятков, даже ни одного человека я не знаю, который бы погиб смертью или мучительной жизнью с голода или холода из-за учения Христа. Это только смешная отговорка, доказывающая, до какой степени неизвестно нам учение Христа. Мало того, что мы не разделяем его, но мы никогда даже серьезно не принимали его. Церковь потрудилась растолковать нам учение Христа так, что оно представляется не учением о жизни, а пугалом.

Христос призывает людей к ключу воды, которая тут, подле них. Люди томятся жаждой, едят грязь, пьют кровь друг друга, но учителя их сказали им, что они погибнут, если пойдут к тому ключу, к которому призывает Христос. И люди верят им, мучаются и мрут от жажды в двух шагах от воды, не смея подойти к ней. Но стоит только поверить Христу, что он принес благо на землю, поверить, что он дает нам, жаждущим, ключ воды живой, и прийти к нему, чтобы увидеть, как

коварен обман церкви и как безумны наши страдания тогда, когда спасение наше так близко. Стоит прямо и просто принять учение Христа, чтобы ясен был тот ужасный обман, в котором живем все мы и живет каждый из нас.

Поколения за поколениями мы трудимся над обеспечением своей жизни посредством насилия и упрочения своей собственности. Счастье нашей жизни представляется нам в наибольшей власти и наибольшей собственности. Мы так привыкли к этому, что учение Христа о том, что счастье человека не может зависеть от власти и имени, что богатый не может быть счастлив, представляется нам требованием жертвы во имя будущих благ. Христос же и не думает призывать нас к жертве, он, напротив, учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь, в этой жизни. Христос, любя людей, учит их воздержанию от обеспечения себя насилием и от собственности так же, как, любя людей, учит их воздержанию от драки и пьянства. Он говорит, что, живя без опоры другим и без собственности, люди будут счастливее, и своим примером жизни подтверждает это. Он говорит, что человек, живущий по его учению, должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия другого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием каких-то жертв; а это только утверждение тех условий, в которых всегда неизбежно живет всякий человек. Ученик Христа должен был готов во всякую минуту на страдания и смерть. Но ученик мира разве не в том же положении? Мы так привыкли к нашему обману, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни: наши войска, крепости, наши запасы,

наши одежды, наши лечения, все наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительным, серьезно обеспечивающим нашу жизнь. Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго: он умер в ту же ночь. Ведь все, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает страус, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видать, как его убивают. Мы делаем хуже страуса: чтобы сомнительно обеспечить не нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем, мы наверно губим нашу верную жизнь в верном настоящем.

Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что и не замечаем всего, что мы теряем из-за него. А теряем мы всё — всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остается.

Ведь стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена. Но мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспе-

чения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы. Богач обеспечивает свою жизнь тем, что у него есть деньги. И самые деньги привлекают разбойника, который убивает его. Мнительный человек обеспечивает свою жизнь лечением, и самое лечение медленно убивает его, а если и не убивает его, то наверно лишает его жизни, как того расслабленного, который не жил 38 лет, а дожидался ангела у купели.

Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть, несомненно лучше, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь; лучше тем, что неизбежность смерти и необеспеченность жизни остается та же при учении мира и при учении Христа, но сама жизнь, по учению Христа, не поглощается уже вся без остатка праздным занятием мнимого обеспечения своей жизни, а становится свободной и может быть отдана единой свойственной ей цели — благу себя и людей. Ученик Христа будет беден. Да, то есть он будет пользоваться всегда всеми теми благами, которые ему дал Бог. Он не будет губить свою жизнь. Мы назвали словом, выражающим беду — бедностью, то, что есть счастье; но само дело не изменилось от этого. Беден — это значит: он будет не в городе, а в деревне, не будет сидеть дома, а будет работать в лесу, в поле, будет видеть свет солнца, землю, небо, животных; не будет придумывать, что ему съесть, чтобы возбудить аппетит, и что сделать, чтоб сходить на час, а будет три раза в день голоден; не будет ворочаться на мягких подушках и придумывать, чем спастись от бессонницы, а будет спать; будет иметь детей, будет жить с ними, будет в свободном общении со всеми людьми, а главное, не будет делать ничего такого, чего

ему не хочется делать; не будет бояться того, что с ним будет. Болеть, страдать, умирать он будет так же, как и все (судя по тому, как болеют и умирают бедные, — легче, чем богатые), но жить он будет несомненно счастливее. Быть бедным, быть нищим, быть бродягой (πτωχός значит бродяга) — это то самое, чему учил Христос; то самое, без чего нельзя войти в Царство Бога, без чего нельзя быть счастливым здесь, на земле.

«Но никто не будет кормить тебя, и ты умрешь с голоду», говорят на это. На возражение о том, что человек, живя по учению Христа, умрет с голоду, Христос ответил одним коротким изречением (тем самым, которое толкуется так, что оно оправдывает праздность духовенства) (Матф., X, 10; Луки, X, 7).

Он сказал: «Не берите: ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха; ибо *трудящийся достоин пропитания*». «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть; ибо *трудящийся достоин награды за труды свои*».

Трудящийся достоин (ἐξέστί) — слово в слово значит: может и должен иметь пропитание. Это очень короткое изречение; но для того, кто поймет его так, как понимал его Христос, уже не может быть рассуждения о том, что человек, не имеющий собственности, умрет с голоду. Для того, чтобы понять это слово в его настоящем значении, надо прежде всего отрешиться совершенно от сделавшегося, вследствие догмата искушения, столь привычным нам представлением о том, что блаженство человека есть праздность. Надо восстановить то свойственное всем неиспорченным людям представление о том, что необходимое условие счастья человека есть не праздность, а труд; что человек не может не работать, что

ему скучно, тяжело, трудно не работать, как скучно, трудно не работать муравью, лошади и всякому животному. Надо забыть наше дикое суеверие о том, что положение человека, имеющего неразменный рубль, то есть казенное место, или право на землю, или билеты с купонами, которые дают ему возможность ничего не делать, есть естественное счастливое состояние. Надо восстановить в своем представлении тот взгляд на труд, который имеют на него все неиспорченные люди и который имел Христос, говоря, что трудящийся достоин пропитания. Христос не мог представить себе людей, которые бы смотрели на работу как на проклятие, и потому не мог и представить себе человека, неработающего или желающего не работать. Он всегда подразумевает, что ученик его работает. И потому говорит: если человек работает, то работа кормит его. И если работу этого человека берет себе другой человек, то другой человек и будет кормить того, кто работает, именно потому, что пользуется его работой. И потому трудящийся всегда будет иметь пропитание. Собственности он не будет иметь; о пропитании же не может быть речи.

Разница между учением Христа и учением нашего мира о труде — в том, что по учению мира работа есть особенная заслуга человека, в которой он считается с другими и предполагает, что имеет право на большее пропитание, чем больше его работа; по учению же Христа: работа — труд есть необходимое условие жизни человека, а пропитание есть неизбежное последствие его. Работа производит пищу, пища производит работу — это вечный круг: одно — следствие и причина другого. Как бы зол ни был хозяин, он будет кормить

работника так же, как будет кормить ту лошадь, которая работает на него, будет кормить так, чтобы работник мог сработать как можно больше, то есть будет содействовать тому самому, что составляет благо человека.

«Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою в выкуп за многих». По учению Христа, каждый отдельный человек, независимо от того, каков мир, будет иметь наилучшую жизнь, если он поймет свое призвание — не требовать труда от других, а самому всю жизнь свою полагать на труд для других, жизнь свою отдавать, как выкуп за многих. Человек, поступающий так, говорит Христос, достоин пропитания, то есть не может не получить его. Словами: человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других, Христос устанавливает ту основу, которая, несомненно, обеспечивает материальное существование человека, а словами: трудящийся достоин пропитания, Христос устраняет то столь обыкновенное возражение против возможности исполнения учения, которое состоит в том, что человек, исполняющий учение Христа среди не исполняющих, погибнет от голода и холода. Христос показывает, что человек обеспечивает свое пропитание не тем, что он будет его отбирать от других, а тем, что он сделается полезен, нужен для других. Чем он нужнее для других, тем обеспеченнее будет его существование.

При теперешнем устройстве мира люди, не исполняющие законов Христа, но трудящиеся для ближнего, не имея собственности, не умирают от голода. Как же возражать против учения Христа, что исполняющие его учение, то есть трудящиеся для ближнего, умрут от голода? Человек

не может умереть от голода, когда есть хлеб у богатого. В России в каждую данную минуту есть всегда миллионы людей, живущих без всякой собственности, только трудом своим.

Среди язычников христианин будет точно так же обеспечен, как и среди христиан. Он работает на других, следовательно он нужен им, и потому его будут кормить. Собаку, которая нужна, и ту кормят и берегут; как же не кормить и не беречь человека, который всем нужен?

Но больной человек, человек с семейством, с детьми не нужен, не может работать, — и его перестают кормить, скажут те, которым непременно хочется доказать справедливость зверской жизни. Они скажут это, они и говорят это, и сами не видят того, что они сами, говорящие это, и желали бы поступить так, да не могут и поступают совсем иначе. Эти самые люди, те, которые не признают приложимости учения Христа, — исполняют его. Они не перестают кормить овцу, быка, собаку, которая заболевает. Они даже старую лошадь не убивают, а дают ей по силам работу: они кормят семейство, ягнят, поросят, щенят, ожидая от них пользы; так как же они не будут кормить нужного человека, когда он заболевает, и как же не найдут посильной работы старому и малому, и как же не станут выращивать людей, которые будут на них же работать?

Они не только будут делать это, но они это самое и делают. Девять десятых людей — черный народ — выкармливаются одной десятой не черных, а богатых и сильных людей, как рабочий скот. И как ни темно то заблуждение, в котором живет эта одна десятая, как ни презирает она остальных $\frac{9}{10}$ людей, эта одна десятая сильных никогда не отнимает у $\frac{9}{10}$ нужного пропита-

ния, хотя и может это сделать. Она не отнимает у черного народа нужного для того, чтобы он плодился и работал на них. В последнее время эта $\frac{1}{10}$ сознательно работает на то, чтобы $\frac{9}{10}$ кормились правильно, то есть могли бы выставлять как можно больше работы, и на то, чтобы плодились и выкармливались новые рабочие. Муравьи — и те плодят и воспитывают своих дойных коровок; так как же людям не делать того же: плодить тех, которые на них работают? Рабочие нужны. И те, которые пользуются работой, всегда будут очень озабочены тем, чтобы эти рабочие не переводились.

Возражение против исполнимости учения Христа, состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретенное, то никто не станет кормить мою семью, справедливо, но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Праздных людей никто воспитывать не станет, кроме безумных родителей, потому что праздные люди никому, даже самим себе, не нужны; но людей-работников даже самые злые люди будут кормить и воспитывать. Телят воспитывают, а человек есть рабочее животное, более полезное, чем бык, как оно и ценилось всегда на базаре рабов. Вот почему дети никогда не могут остаться без призрения.

Человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Кто будет трудиться, того будут кормить.

Это — истины, подтверждаемые жизнью всего мира.

До сих пор, всегда и везде, где человек трудился, он получал пропитание, как всякая лошадь получала корм. И такое пропитание получал тру-

дящийся невольно, неохотно, ибо трудящийся желал одного — избавиться от труда, приобрести как можно больше и сесть на шею того, кто у него сидит на шее. Такой невольно, неохотно трудящийся, завистник и злой работник не оставался без пропитания и оказывался счастливее даже того, который не трудился и жил чужими трудами. Насколько же счастливее будет тот трудящийся по учению Христа, которого цель будет состоять в том, чтобы сработать как можно больше и получить как можно меньше? И насколько еще будет счастливее его положение, когда вокруг него еще будет хоть несколько, а может быть, и много таких же, как он, людей, которые будут служить и ему.

Учение Христа о труде и плодах его выражено в рассказе о насыщении 5 и 7 тысяч двумя рыбами и пятью хлебами. Человечество будет иметь высшее доступное ему благо на земле, когда люди не будут стараться поглотить и потребить всё каждый для себя, но когда они будут делать как научил их Христос на берегу моря.

Надо было накормить тысячи людей. Ученик Христа сказал ему, что видел у одного человека несколько рыб; у учеников тоже было несколько хлебов. Иисус понял, что у людей, пришедших издалека, у некоторых есть с собой пища, а у некоторых нет. (То, что у многих были с собой запасы, доказывает уже то, что во всех четырех Евангелиях сказано, что по окончании еды остатки собраны в 12 корзин. Если бы ни у кого, кроме как у мальчика, ничего не было, то и не могло бы быть 12 корзин в поле.) Если бы Христос не сделал того, что он сделал, то есть чудо насыщения тысячи народа пятью хлебами, то было бы то, что происходит теперь в мире. Те, у которых были

запасы, съели бы то, что у них было, съели бы всё через силу даже, чтобы ничего не оставалось. Скупые, может быть, унесли бы домой свои остатки. Те, у которых ничего не было, остались бы голодными, с злобной завистью смотрели бы на ядущих, а может быть, некоторые из них утащили бы у запаёсливых, и произошли бы ссоры и драки, и одни пошли бы домой пресыщенные, другие — голодные и сердитые; было бы то же самое, что происходит в нашей жизни.

Но Христос знал, что он хотел сделать (как и сказано в Евангелии), он велел всем сесть кругом и научил учеников предлагать другим то, что у них было, и говорить другим, чтобы они делали то же. И тогда вышло то, что когда все те, у которых были запасы, сделали то же, что ученики Христа, то есть свое предлагали другим, то все ели в меру, и когда обошли круг, то досталось и тем, которые не ели сначала. И все насытились, и осталось еще много хлеба, так много, что собрали 12 корзин.

Христос учит людей, что так сознательно они должны поступать в жизни потому, что таков закон человека и всего человечества. Труд есть необходимое условие жизни человека. И труд же дает благо человеку. И потому удержание от других людей плодов своего или чужого труда препятствует благу человека. Отдавание своего труда другим содействует благу человека.

«Если люди не будут отнимать один у другого, то они будут умирать с голоду», — говорим мы. Казалось бы, надо сказать обратное: если люди будут силой отнимать один у другого, то будут люди, которые умрут с голоду, как оно и есть.

Ведь всякий человек, как бы он ни жил, — по учению ли Христа, или по учению мира, — он жив

только трудом других людей. Другие люди и уберегли его, и вспоили, и вскормили его, и берегут, и поят, и кормят. Но по учению мира, человек насилем и угрозой заставляет других людей продолжать кормить себя и свою семью. По учению Христа человек точно так же убережен, вскормлен и вспоен другими людьми; но для того, чтобы другие люди продолжали беречь, поить и кормить его, он никого к этому не принуждает, а сам старается служить другим, быть как можно полезнее всем, и тем становится нужным для всех. Люди мира всегда будут желать перестать кормить ненужного им человека, насилем заставляющего их кормить себя, и при первой возможности не только перестают кормить, но и убивают его, как ненужного. Но всегда все люди, как бы злы они ни были, будут старательно кормить и беречь работающего на них.

Как же вернее, разумнее и радостнее жить: по учению мира или по учению Христа?

XI

Учение Христа устанавливает Царство Бога на земле. Несправедливо то, чтобы исполнение этого учения было трудно: оно не только не трудно, но неизбежно для человека, узнавшего его. Учение это дает единственно возможное спасение от неизбежно предстоящей гибели личной жизни. Наконец, исполнение этого учения не только не призывает к страданиям и лишениям в этой жизни, но избавляет от девяти десятых страданий, которые мы несем во имя учения мира.

И, поняв это, я спросил себя: отчего же я до сих пор не исполнял этого учения, дающего мне

благо, спасение и радость, а исполнял совсем другое — то, что делало меня несчастным? И ответ мог быть и был только один: я не знал истины, она была скрыта от меня.

Когда мне открылся в первый раз смысл Христова учения, я никак не думал, что разъяснение этого смысла приведет меня к отрицанию учения церкви. Мне казалось только, что церковь не дошла до тех выводов, которые вытекают из учения Христа, но я никак не думал, что новый открывшийся мне смысл учения Христа и выводы из него разъединят меня с учением церкви. Я боялся этого. И потому во время своих исследований я не только не отыскивал ошибки церковного учения, напротив, умышленно закрывал глаза на те положения, которые мне казались неясными и странными, но не противоречили тому, что я считал сущностью христианского учения.

Но чем дальше я шел в изучении Евангелий, чем яснее открывался мне смысл учения Христа, тем неизбежнее становился для меня выбор: учение Христа разумное, ясное, согласное с моею совестью и дающее мне спасение, или учение прямо противоположное, не согласное с моим разумом и совестью и не дающее мне ничего, кроме сознания гибели вместе с другими. И я не мог не откидывать одно за другим положения церкви. Я делал это нехотя, с борьбой, с желанием смягчить сколько возможно мое разногласие с церковью, не отделяться от нее, не лишиться самой радостной поддержки в вере — общения со многими. Но когда я кончил свою работу, я увидал, что, как я ни старался удержать хоть что-нибудь от учения церкви, от него ничего не осталось. Мало того, что ничего не осталось, я убедился в том, что и не могло ничего остаться.

Уже при окончании моей работы случилось следующее: мальчик, сын мой, рассказал мне, что между двумя совсем необразованными, еле грамотными людьми, служащими у нас, шел спор по случаю статьи какой-то духовной книжки, в которой сказано, что не грех убивать людей-преступников и убивать на войне. Я не поверил тому, чтобы это могло быть напечатано, и попросил показать книжку. Книжечка, вызвавшая спор, называется: «Толковый молитвенник». Издание третье (восьмой десяток тысяч). Москва, 1879 г. На странице 163-й этой книжки сказано:

«Какая шестая заповедь Божия? — Не убий. Не убий — не убивай. — Что Бог запрещает этой заповедью? — Запрещает убивать, то есть лишать жизни человека. — Грех ли наказывать по закону преступника смертью и убивать неприятеля на войне? — Не грех. Преступника лишают жизни, чтобы прекратить великое зло, которое он делает; неприятеля убивают на войне потому, что на войне сражаются за государя и отечество». И этими словами ограничивается объяснение того, почему отменяется заповедь Бога. Я не поверил своим глазам.

Спорящие спросили моего мнения о своем споре. Я сказал тому, который признавал справедливость напечатанного, что это объяснение неправильно.

«Как же так печатают неправильно против закона?» — спросил он. Я ничего не мог ему ответить. Я оставил книгу и просмотрел ее всю. Книга содержит: 1) 31 молитву с поучениями о коленопреклонениях и сложении перстов; 2) объяснение символа веры; 3) ничем не объясненные выписки из 5-й главы Матфея, почему-то названные заповедями для получения блаженства;

4) десять заповедей с объяснениями, большей частью упраздняющими их, и 5) тропари на праздники.

Как я говорил, я не только старался избегать осуждения церковной веры, я старался видеть ее с самой хорошей стороны и потому не отыскивал ее слабостей и, хорошо зная ее академическую литературу, я был совершенно незнаком с ее учительной литературой. Распространенный в таком огромном количестве экземпляров еще в 1879 г. молитвенник, вызывающий сомнения самых простых людей, поразил меня.

Я не мог верить, чтобы чисто языческое, не имеющее ничего христианского, содержание молитвенника было сознательно распространяемое в народе церковью учение. Чтобы проверить это, я купил все изданные Синодом или «с благословения» его книги, содержащие краткие изложения церковной веры для детей и народа, и перечитал их.

Содержание их было для меня почти новое. В то время как я учился закону Божию, этого еще не было. Не было, сколько мне помнится, заповедей блаженств, не было и учения о том, что убивать *не грех*. Во всех старых русских катехизисах этого нет. Нет ни в катехизисе Петра Могилы, ни в катехизисах Платона, ни в катехизисе Беякова, нет и в кратких католических катехизисах. Нововведение это сделано Филаретом, составившим также катехизис для военного сословия. Толковый молитвенник составлен по этому катехизису. Основная книга есть «Пространный *христианский* катехизис православной церкви» для употребления *всех* православных *христиан*, изданный по высочайшему его императорского величества повелению.

Книга разделена на три части: о вере, надежде и любви. В первой разбор Никейского символа веры. Во второй разбор молитвы Господней и восьми стихов пятой главы Матфея, составляющих вступление к Нагорной проповеди и почему-то названных заповедями для получения блаженства. (В обеих частях этих трактуется о догматах церкви, молитвах и таинствах, но нет никакого учения о жизни.) В 3-й части излагаются обязанности христианина. В этой части, названной: «О любви», излагаются не заповеди Христа, а 10 заповедей Моисея. И заповеди Моисея излагаются как будто только для того, чтобы научить людей не исполнять их и поступать противно им. После каждой заповеди оговорка, уничтожающая заповедь. По случаю первой заповеди, повелевающей почитать одного Бога, катехизис научает почитать ангелов и святых, не говоря уже о матери Бога и трех лицах Бога («Прост. катех.», стр. 107—108). По случаю второй заповеди — не сотворять кумира — катехизис научает поклонению иконам (стр. 108). По случаю третьей заповеди — не клясться напрасно — катехизис научает людей клясться по всякому требованию *законной* власти (стр. 111). По случаю четвертой заповеди — о праздновании субботы — катехизис научает праздновать не субботу, а воскресенье и 13 праздников больших и множество малых и поститься все посты, среды и пятницы (стр. 112—115). По случаю пятой заповеди — почитать отца и мать — катехизис научает «почитать государя, отечество, пастырей духовных, *начальствующих в разных отношениях*» (sic); и о почитании начальствующих — три страницы с перечислением всех сортов начальствующих. «Начальствующие в училищах, *начальники гражданские,*

судьи, начальники военные, господа (sic) в отношении к тем, которые им служат и которыми они владеют» (sic) (стр. 116—119). (Я цитирую из катехизиса издания 64-го 1880 года. Двадцать лет прошло с уничтожения рабства, и никто не позаботился даже выкинуть ту фразу, которая по случаю повеления Бога почитать родителей была вписана в катехизис для поддержания и оправдания рабства.)

По случаю 6-й заповеди — не убий — люди с первых же строк научаются убивать.

«В.— Что запрещается 6-й заповедью?»

«О.— Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом».

«В.— Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?»

«О.— Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь *по должности*, как-то:

1) когда преступника *наказывают* смертью по правосудию;

2) когда убивают *неприятеля на войне* за государя и отечество» (курсивы в подлиннике).

И дальше:

«В.— Какие случаи относятся могут к законопреступному убийству?»

«О.— ... 2) когда кто *укрывает или освобождает убийцу*».

И это печатается и насильно в сотнях тысяч экземпляров и под страхом угроз и наказаний внушается всем русским людям под видом христианского учения. Этому учат весь русский народ. Этому учат *всех* невинных ангелов-детей — тех детей, которых Христос просит не отгонять от себя, потому что их есть Царствие Божие, — тех детей, на которых нам надо быть похожими, чтобы войти в Царство Бога, похожими тем, чтобы не

знать этого, — тех детей, ограждая которых Христос сказал: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих. И этих-то детей насильно учат этому, говоря им, что это единственный священный закон Бога.

Это не прокламации, которые распространяются тайно, под страхом каторги, а это прокламации, несогласие с которыми наказывается каторгой. Я теперь пишу это, и мне жутко только за то, что я позволяю себе сказать, что нельзя отменять главную заповедь Бога, написанную во всех законах и во всех сердцах, ничего не объясняющими словами: *по должности, за государя и отечество*, и что не должно учить этому людей.

Да, сделалось то, о чем Христос предупреждал людей (Луки, XI. 33—36, и Матф., VI, 23), говоря: смотрите, не сделался бы свет, находящийся в вас, тьмою. Если свет, который есть в тебе, стал тьмою, то какова же тьма?

Свет, находящийся в нас, стал тьмою. И тьма, в которой мы живем, стала ужасна.

«Горе вам, — сказал Христос, — горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. за то, что заперли вы от людей Царство Небесное. Сами не вошли и не даете другим войти в него. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что поедаете дома вдов и на виду молитесь подолгу. За это вы еще больше виноваты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что обходите моря и земли, чтобы обращать в свою веру, а когда обратите, то сделаете обращенного хуже, чем он был. Горе вам, вожаки слепые!..

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков, украшаете памятники праведников. И вы полагаете, что если бы вы жили в те дни, когда замучены были про-

роки, то вы бы не были участниками в их крови. Так вы сами свидетельствуете против себя о том, что вы такие же, как те, которые били пророков. Дополняйте же меру, начатую подобными вам. И вот пошлю вам пророков мудрых и книжников; и иных вы убьете и распнете, а иных будете бить в ваших собраниях и будете высылать из города в город. И да падет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от Авеля».

«Всякая хула (клевета) прощается людям, но не может быть прощена клевета на Святой Дух».

Ведь все это точно вчера написано против тех людей, которые теперь уже не обходят моря и земли, клеветца на Святой Дух и приводя людей к вере, делающей этих людей худшими, но прямо насилием заставляют их принимать эту веру и преследуют и губят всех тех пророков и праведников, которые пытаются разрушить их обман.

И я убедился, что церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам.

Учение Христа, как и всякое религиозное учение, заключает в себе две стороны: 1) учение о жизни людей — о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе, — этическое и 2) объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе — метафизическое учение. Одно есть следствие и вместе причина другого. Человек должен жить так потому, что таково его назначение, или назначение человека таково, и потому он должен жить так. Эти две стороны всякого учения находятся во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же

и религия Христа. Она учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить. Но как было со всеми учениями: браминизмом, иудаизмом, буддизмом, так было и с учением Христа. Люди отступают от учения о жизни, и из числа людей являются такие, которые берутся оправдать это отступление. Люди эти, садящиеся, по выражению Христа, на седалище Моисея, разъясняют метафизическую сторону учения так, что этические требования учения становятся необязательными и заменяются внешним богочитанием — обрядами. Это явление обще всем религиям, но *никогда*, мне кажется, это явление не выразилось с такою резкостью, как в христианстве. Оно выразилось особенно резко потому, что учение Христа есть самое высшее учение; а самое высшее оно потому, что метафизика и этика учения Христа до такой степени неразрывно связаны и определяются одна другою, что отделить одну от другой нельзя, не лишив все учение его смысла, и еще потому, что Христово учение есть уже само по себе протестантизм, то есть отрицание не только обрядных постановлений иудаизма, но и всякого внешнего богочитания. И потому в христианстве разрыв этот должен был уже совершенно извратить учение и лишить его всякого смысла. Так оно и было. Разрыв между учением о жизни и объяснением жизни начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея, и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-каббалистическую теорию, и совершился этот разрыв окончательно во время Константина, когда найдено было возможным весь языческий строй жизни, не изменяя его, облечь в христианские одежды и потому признать христианским.

Со времени Константина, язычника из язычников, которого церковь за все его преступления и пороки причисляет к лику христианских святых, начинаются соборы, и центр тяжести христианства переносится на одну метафизическую сторону учения. И это метафизическое учение с сопутствующими ему обрядами, все более и более отклоняясь от основного смысла своего, доходит до того, до чего оно дошло теперь: до учения, которое объясняет самые недоступные разуму человеческому тайны жизни небесной, дает сложнейшие обряды богослужебные, но не дает *никакого* религиозного учения о жизни земной.

Все религии, кроме церковно-христианской, требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших поступков и воздержания от дурных. Иудаизм требует обрезания, соблюдения субботы, милостыни, юбилейного года и еще многого другого. Магометанство требует обрезания, ежедневной пятикратной молитвы, десятины бедным, поклонения гробу пророка и многого другого. То же и все другие религии. Хороши ли, дурны ли эти требования, но это требования поступков. Только псевдохристианство не требует ничего. Нет ничего, что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен бы был обязательно воздерживаться, если не считать постов и молитв, самой церковью признаваемых необязательными. Все, что нужно для псевдохристианина, — это таинства. Но таинство не делает сам верующий, а над ним его производят другие. Псевдохристианин ничего не обязан делать и ни от чего не обязан воздерживаться для того, чтобы спастись, но над ним церковью совершается все, что для него нужно: его и окрестят, и помажут, и причастят, и особо-

руют, и исповедуют даже глухою исповедью, и помолятся за него — и он спасен. Христианская церковь со времен Константина не потребовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было. Христианская церковь признала и освятила все то, что было в языческом мире. Она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; но потом при крещении младенцев перестали требовать даже и этого.

Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо отрицала его.

Вместо того чтобы руководить миром в его жизни, церковь в угоду миру перестолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал все, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всем противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то и состоит учение Христа.

Но пришло время, и свет истинного учения Христа, которое было в Евангелиях, несмотря на то, что церковь, чувствуя свою неправду, старалась скрывать его (запрещая переводы Биб-

лии), — пришло время; и свет этот через так называемых сектантов, даже через вольнодумцев мира проник в народ, и неверность учения церкви стала очевидна людям, и они стали изменять свою прежнюю, оправданную церковью жизнь на основании этого помимо церкви дошедшего до них учения Христа.

Так, сами люди помимо церкви уничтожили рабство, оправдываемое церковью, уничтожили сословия, уничтожили оправдываемые церковью религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государств. И церковь ничего не отстаивала и теперь не может отстаивать, потому что уничтожение этих неправд жизни происходило и происходит на основании того самого христианского учения, которое проповедовала и проповедует церковь, хотя и стараясь извратить его.

Учение о жизни людей эмансипировалось от церкви и установилось независимо от нее.

У церкви остались объяснения, но объяснения чего? Метафизическое объяснение учения имеет значение, когда есть то учение жизни, которое оно объясняет. Но у церкви не осталось никакого учения о жизни. У ней было только объяснение той жизни, которую она когда-то учреждала и которой уже нет. Если остались еще у церкви объяснения той жизни, которая была когда-то прежде, как объяснения катехизиса о том, что *по должности* должно убивать, то никто уже не верит в это. И у церкви ничего не осталось, кроме храмов, икон, парчи и слов.

Церковь пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков и; желая скрыть его в

своих одеждах, сама сожглась на этом свете. Мир с своим устройством, освященным церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живет без нее. Факт этот совершился — и скрывать его уже невозможно. Все, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, все живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от церкви. И пусть не говорят, что это — так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационализованных христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от церкви, слава Богу, гораздо гнилее Европы.

Все живое независимо от церкви.

Государственная власть зиждется на традиции, на науке, на народном избрании, на грубой силе, на чем хотите, но только не на церкви.

Войны, отношения государств устанавливаются на принципе народности, равновесии, на чем хотите, только не на церковных началах. Государственные учреждения прямо игнорируют церковь. Мысль о том, чтобы церковь могла быть основой суда, собственности, в наше время только смешна. Наука не только не содействует учению церкви, но печально, невольно в своем развитии всегда враждебна церкви. Искусство, прежде служившее одной церкви, теперь все ушло от нее. Мало того, что жизнь вся эманципировалась от церкви, жизнь эта не имеет другого отношения к церкви, кроме презрения, пока церковь не вмешивается в дела жизни, и ничего, кроме ненависти, как только церковь пытается напомнить ей свои прежние права. Если еще существует

та форма, которую мы называем церковью, то только потому, что люди боятся разбить сосуд, в котором было когда-то драгоценное содержимое; только этим можно объяснить существование в наш век католичества, православия и разных протестантских церквей.

Все церкви — католическая, православная и протестантская — похожи на караульщиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел и ходит среди караульщиков и даже воюет с ними. Все то, чем истинно живет теперь мир: социализм, коммунизм, политико-экономические теории, утилитаризм, свобода и равенство людей и сословий и женщин, все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, науки, искусства, все, что ворочает миром и представляется церкви враждебным, все это — части того же учения, которое, сама того не зная, пронесла с скрываемым ею учением Христа та же церковь.

В наше время жизнь мира идет своим ходом, совершенно независимо от учения церкви. Учение это осталось так далеко назад, что люди мира не слышат уже голосов учителей церкви. Да и слушать нечего, потому что церковь только дает объяснения того устройства жизни, из которого уже вырос мир и которого или уже вовсе нет, или которое неудержимо разрушается.

Люди плыли в лодке и гребли, а кормщик правил. Люди вверились кормщику, и кормщик правил хорошо; но пришло время, что хорошего кормщика заменил другой, который не правил. Лодка пошла скоро и легко. Сначала люди не замечали того, что новый кормщик не правит, и только радовались тому, что лодка шла легко. Но

потом, убедившись, что новый кормщик не нужен, они стали смеяться над ним — и прогнали его.

Все бы это ничего, но горе в том, что люди под влиянием досады на бесполезного кормщика забыли, что без кормщика не знаешь, куда плывешь. Это самое случилось с нашим христианским обществом. Церковь не правит, и легко плыть, и мы далеко уплыли, и все успехи знаний, которыми так гордится наш XIX век, это — только то, что мы плывем без руля. Мы плывем, не зная куда. Мы живем и делаем эту свою жизнь и решительно не знаем, зачем. А нельзя плыть и грести, не зная, куда плывешь, и нельзя жить и делать свою жизнь, не зная, зачем.

Ведь если бы люди ничего сами не делали, а были поставлены внешней силой в то положение, в котором они находятся, они бы могли на вопрос: зачем вы в таком положении? совершенно разумно ответить: мы не знаем, но мы очутились в таком положении и находимся в нем. Но люди делают свое положение сами для себя, для других и в особенности для своих детей, и потому на вопросы: зачем вы собираете и сами собирались в миллионы войск, которыми вы убиваете и увечите друг друга? зачем вы тратили и тратите страшные силы людские, выражающиеся миллиардами, на постройку ненужных и вредных вам городов, зачем вы устраиваете свои игрушечные суды и посылаете людей, которых считаете преступными, из Франции в Каэну, из России в Сибирь, из Англии в Австралию, когда вы сами знаете, что это бессмысленно? зачем вы оставляете любимое вами земледелие и трудитесь на фабриках и заводах, которые вы сами не любите? зачем воспитываете детей так, чтобы они продолжали эту не одобряемую вами жизнь? зачем вы

всё это делаете? На это вы не можете не ответить. Если бы все это были приятные дела, которые бы вы любили, вы и тогда должны бы были сказать: зачем вы это делаете? Но когда это ужасно трудные дела и вы их делаете с усилием и ропотом, то нельзя же вам не думать о том, зачем вы всё это делаете. Надо или перестать делать все это, или ответить, зачем мы это делаем.

Без ответа на этот вопрос люди никогда не жили и не могут жить. И ответ всегда был у людей.

Иудей жил так, как он жил, то есть воевал, казнил людей, строил храм, устраивал всю свою жизнь так, а не иначе, потому что все это было предписано в законе, по убеждению его, сошедшем от самого Бога. То же самое для индийца, китайца; то же самое было для римлянина, то же самое и для магометанина; то же самое было и для христианина за 100 лет тому назад; то же самое и теперь для невежественной толпы христиан. На вопросы эти невежественный христианин теперь отвечает так: солдатчина, войны, суды, казни, все это существует по закону Бога, передаваемому нам церковью. Здесь мир есть мир падший. Все зло, которое существует, существует по воле Бога как наказание за грехи мира, и потому исправлять это зло мы не можем. Мы можем только спасать свою душу верою, таинствами, молитвами и покорностью воле Божией, передаваемой нам церковью. Церковь же учит нас, что каждый христианин должен беспрекословно повиноваться царям, помазанникам Божиим, и поставленным от них начальникам, ограждать насилием свою и чужую собственность, воевать, казнить и переносить казни по воле Богом поставленных властей.

Хороши ли, дурны ли эти объяснения, но они объясняли для верующего христианина, как для иудея, буддиста и магометанина, все особенности жизни, и человек не отрекался от разума, живя по закону, который он признавал за Божественный. Но теперь пришло время, что в эти объяснения верят только самые невежественные люди, и число таких людей с каждым днем и с каждым часом все уменьшается. Остановить это движение нет никакой возможности. Все люди неудержимо идут за теми, которые идут впереди, и все придут туда, где стоят передовые. Передовые же стоят над пропастью. Передовые эти находятся в ужасном положении: они делают жизнь для себя, готовят жизнь для всех тех, которые идут за ними, и находятся в совершенном неведении того, зачем они делают то, что делают. Ни один цивилизованный передовой человек теперь не в состоянии дать ответ на прямой вопрос: зачем ты живешь тою жизнью, которой ты живешь? Зачем делаешь все то, что ты делаешь? Я пробовал спрашивать об этом и спрашивал у сотен людей, и никогда не получал прямого ответа. Всегда, вместо прямого ответа на личный вопрос: зачем ты так живешь и так делаешь, всегда я получал ответ не на мой вопрос, а на вопрос, которого я не делал.

Верующий католик, протестант, православный на вопрос: зачем он живет так, как он живет, то есть противно тому учению Христа-Бога, которое он исповедует? — всегда вместо прямого ответа начинает говорить о плачевном состоянии безверия нынешнего поколения, о злых людях, производящих безверие, и о значении и будущности истинной церкви. Но почему он сам не делает того, что велит ему его вера, он не отвечает. Вместо ответа о себе он говорит об общем состоя-

нии человечества и о церкви, словно его собственная жизнь не имеет для него никакого значения, а он занят только спасением всего человечества и тем, что он называет церковью.

Философ, какого бы он ни был толка — идеалист, спиритуалист, пессимист, позитивист, — на вопрос: зачем он живет так, как он живет, то есть несогласно с своим философским учением? — всегда вместо ответа на этот вопрос заговорит о прогрессе человечества, о том историческом законе этого прогресса, который он нашел и по которому человечество стремится к благу. Но он никогда прямо не ответит на вопрос: почему он сам в своей жизни не делает того, что считает разумным? Философ, так же как и верующий, как будто озабочен не своею личной жизнью, а только наблюдением над общими законами всего человечества.

Средний человек, огромное большинство полуверующих, полуневерующих цивилизованных людей, тех, которые всегда без исключения жалуются на свою жизнь и на устройство нашей жизни и предвидят гибель всему, — этот средний человек на вопрос: зачем он сам живет этой осуждаемой им жизнью и ничего не делает, чтобы улучшить ее? — всегда вместо прямого ответа начнет говорить не о себе, а о чем-нибудь общем: о правосудии, о торговле, о государстве, о цивилизации. Если он городской или прокурор, он скажет: «А как же пойдет государственное дело, если я, чтобы улучшить свою жизнь, перестану участвовать в нем?» «А как же торговля?» — скажет он, если он торговый человек. «А как же цивилизация, если я для улучшения своей жизни не буду содействовать ей?» Он скажет всегда так, как будто задача его жизни состоит не в том, что-

бы делать то благо, к которому он всегда стремится, а в том, чтобы служить государству, торговле, цивилизации. Средний человек отвечает точь-в-точь то же, что и верующий философ. Он на место личного вопроса подставляет общий, а подставляет его и верующий, и философ, и средний человек потому, что у него нет никакого ответа на личный вопрос жизни, потому что у него нет никакого настоящего учения о жизни. И ему совестно.

Ему совестно потому, что он чувствует себя в унижительном положении человека, не имеющего никакого учения о жизни: тогда как человек никогда не жил и не может жить без учения о жизни. Только в нашем христианском мире, на место учения о жизни и объяснения, почему жизнь должна быть такая, а не иная, то есть на место религии подставилось одно объяснение того, почему жизнь должна быть такою, какою она была когда-то прежде, и религией стало называться то, что никому ни на что не нужно: а сама жизнь стала независима от всякого учения, то есть осталась без всякого определения.

Мало того, как всегда бывает, наука признала именно это случайное, уродливое положение нашего общества за закон всего человечества. Ученые Тиле, Спенсер и др. пресерьезно трактуют о религии, разумея под нею метафизические учения о начале всего и не подозревая, что говорят не о всей религии, а только о части ее.

Отсюда произошло то удивительное явление, что в наш век мы видим людей умных и ученых, пренаивно уверенных, что они свободны от всякой религии только потому, что не признают тех метафизических объяснений начала всего, которые когда-то и для кого-то объясняли жизнь. Им не

приходит в голову, что им надо же жить как-нибудь и что они живут же как-нибудь и что именно то, на основании чего они живут так, а не иначе, — и есть их религия. Люди эти воображают, что у них есть очень возвышенные убеждения и нет никакой веры. Но каковы бы ни были их разговоры, у них есть вера, если только они совершают какие-нибудь разумные поступки, потому что разумные поступки всегда определяются верою. Поступки же этих людей определяются только верою, что надо делать всегда то, что велят. Религия людей, не признающих религии, есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, то есть, короче, религия повиновения существующей власти.

Можно жить по учению мира, то есть животною жизнью, не признавая ничего выше и обязательнее предписаний существующей власти. Но кто живет так, не может же утверждать, что живет разумно. Прежде чем утверждать, что мы живем разумно, надо ответить на вопрос: какое учение о жизни мы считаем разумным? А у нас, несчастных, не только нет никакого такого учения, но потеряно даже и сознание в необходимости какого-нибудь разумного учения о жизни.

Спросите у людей нашего времени, верующих или неверующих: какому они учению следуют в жизни? Они должны будут сознаться, что они следуют одному учению — законам, которые пишут чиновники II-го отделения или законодательные собрания и приводит в исполнение — полиция. Это — единственное учение, которое признают наши европейские люди. Они знают, что учение это не от неба, не от пророков и не от мудрых людей; они постоянно осуждают постановления этих чиновников или законодательных

собраний; но все-таки признают это учение и повинуются исполнителям его — полиции, повинуются безропотно в самых страшных требованиях ее. Написали чиновники или собрания, что всякий молодой человек должен быть готов на поругание, смерть и на убийство других, и все отцы и матери, вырастившие сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажным чиновником и завтра могущему быть измененным.

Понятие о законе, несомненно разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех, до такой степени утрачено в нашем обществе, что существование у еврейского народа закона, определявшего всю их жизнь, такого закона, который был обязателен не по принуждению, а по внутреннему сознанию каждого, считается исключительным свойством одного еврейского народа. Что евреи повиновались только тому, что они считали в глубине души несомненной истиной, полученной прямо от Бога, то есть тому, что было согласно с их совестью, считается особенностью евреев. Нормальным же состоянием, свойственным образованному человеку, считается то, чтобы повиноваться тому, что заведомо пишется презираемыми людьми и приводится в исполнение городским с пистолетом, тому, что каждым или по крайней мере большинством этих людей считается неправильным, то есть противным их совести.

Тщетно искал я в нашем цивилизованном мире каких-нибудь ясно выраженных нравственных основ для жизни. Их нет. Нет даже сознания, что они нужны. Есть даже странное убеждение, что они не нужны, что религия есть только известные слова о будущей жизни, о Боге; известные

обряды, очень полезные для спасения души, по мнению одних, и ни на что не нужные, по мнению других, а что жизнь идет сама собой и что для нее не нужно никаких основ и правил; нужно только делать то, что велят. Из того, что составляет сущность веры, то есть учения о жизни и объяснения смысла ее, первое считается неважным и не принадлежащим к вере, а второе, то есть объяснение когда-то бывшей жизни или рассуждения и гадания об историческом ходе жизни, считаются самым важным и серьезным. Во всем, что составляет жизнь человека — в том, как жить, идти ли убивать людей или не идти, идти ли судить людей или не идти, воспитывать ли своих детей так или иначе, — люди нашего мира отдаются безропотно другим людям, которые точно так же, как и они сами, не знают, зачем они живут, и заставляют жить других так, а не иначе.

И такую-то жизнь люди считают разумной и не стыдятся ее!

Раздвоение между объяснением веры, которое названо верою, и самою верою, которая названа общественной, государственной жизнью, дошло теперь до последней степени, — и все цивилизованное большинство людей осталось для жизни с одной верой в городского и урядника.

Положение это было бы ужасно, если бы оно вполне было таково. Но, к счастью, и в наше время есть люди, лучшие люди нашего времени, которые не довольствуются такой верою и имеют свою веру в то, как должны жить люди.

Люди эти считаются самыми зловредными, опасными и, главное, неверующими людьми; а между тем это единственные верующие люди нашего времени, и не только верующие вообще,

но верующие именно в учение Христа, если не во все учение, то хотя в малую часть его.

Люди эти часто вовсе не знают учения Христа, не понимают его, часто не принимают, так же как и враги их, главной основы Христовой веры — непротивления злу, часто даже ненавидят Христа; но вся их вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа. Как бы ни гнали этих людей, как бы ни клеветали на них, но это — единственные люди, не покоряющиеся безропотно всему, что велят, и потому это — единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью, — единственные верующие люди.

Нить, связующая мир с церковью, дававшей смысл миру, становилась все слабее и слабее по мере того, как содержание, соки жизни все более и более переливались в мир. И теперь, когда соки все перелились, связующая нить стала только помехой.

Это — таинственный процесс рождения; и вот он совершается на наших глазах. В одно и то же время обрывается последняя связь с церковью и устанавливается самостоятельный процесс жизни.

Учение церкви с ее догматами, соборами, иерархией, несомненно, связано с учением Христа. Связь эта столь же очевидна, как и связь новорожденного плода с утробой матери. Но как пуповина и место делаются после рождения ненужными кусками мяса, которые, из уважения к тому, что хранилось в них, надо бережно зарыть в землю, так и церковь сделалась ненужным, отжившим органом, который только из уважения

к тому, чем она была прежде, надо спрятать куда-нибудь подальше. Как только установилось дыхание и кровообращение, — связь, бывшая прежде источником питания, стала помехою. И безумны усилия удержать эту связь и заставить вышедшего на свет ребенка питаться через пуповину, а не через рот и легкие.

Но освобождение детеныша из утробы матери не есть еще жизнь. Жизнь детеныша зависит от установления новой связи питания с матерью. То же должно совершиться и с нашим христианским миром. Учение Христа выносило наш мир и родило его. Церковь — один из органов учения Христа — сделала свое дело и стала ненужна, стала помехой. Мир не может руководиться церковью, но и освобождение мира от церкви еще не есть жизнь. Жизнь его наступит тогда, когда он сознает свое бессилие и почувствует необходимость нового питания. И вот это должно наступить в нашем христианском мире: он должен закричать от сознания своей беспомощности; только сознание своей беспомощности, сознание невозможности прежнего питания и невозможности всякого другого питания, кроме молока матери, приведет его к нагрудней от молока груди матери.

С нашим столь внешне самоуверенным, смелым, решительным и в глубине сознания испуганным и растерянным европейским миром происходит то же, что бывает с только что родившимся детенышем: он мечется, суется, кричит, толкается, точно сердится, и не может понять, что ему делать. Он чувствует, что источник прежнего питания его иссяк, но не знает еще, где искать новый.

Только что родившийся ягненок и глазами и

ушами водит, и хвостом трясет, и прыгает, и брыкается. Нам кажется по его решительности, что он все знает, а он, бедный, ничего не знает. Вся эта решительность и энергия — плод соков матери, передача которых только что прекратилась и не может уже возобновиться. Он — в блаженном и вместе в отчаянном положении. Он полон свежести и силы; но он пропал, если не возьмется за соски матери.

То же самое происходит и с нашим европейским миром. Посмотрите, какая сложная, как будто разумная, какая энергическая жизнь кипит в европейском мире. Как будто все эти люди знают всё, что они делают и зачем они всё это делают. Посмотрите, как решительно, молодо, бодро люди нашего мира делают всё, что делают. Искусства, науки, промышленность, общественная, государственная деятельность — все полно жизни. Но все это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери через пуповину. Была церковь, которая проводила разумное учение Христа в жизнь мира. Каждое явление мира питалось им и росло, и выросло. Но церковь сделала свое дело и отсохла. Все органы мира живут; источник их прежнего питания прекратился, нового же они еще не нашли; и они ищут его везде, только не у матери, от которой они только что освободились. Они, как ягненок, пользуются еще прежней пищей, но не пришли еще к тому, чтобы понять, что эта пища опять только у матери, но только иначе, чем прежде, может быть передана им.

Дело, которое предстоит теперь миру, состоит в том, чтобы понять, что процесс прежнего бессознательного питания пережит и что необходим новый, сознательный процесс питания.

Этот новый процесс состоит в том, чтобы сознательно принять те истины учения христианского, которые прежде бессознательно вливались в человечество через орган церкви и которыми теперь живо еще человечество. Люди должны вновь поднять тот свет, которым они жили, но который скрыт был от них, и высоко поставить его перед собою и людьми и сознательно жить этим светом.

Учение Христа как религия, определяющая жизнь и дающая объяснение жизни людей, стоит теперь так же, как оно 1800 лет тому назад стояло перед миром. Но прежде у мира были объяснения церкви, которые, заслоняя от него учение, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни; а теперь настало время, что церковь отжила, и мир не имеет никаких объяснений своей новой жизни и не может не чувствовать своей беспомощности, а потому и не может теперь не принять учения Христа.

Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет есть в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным. Считаете неразумным идти убивать турок или немцев — не ходите; считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей для того, чтобы надевать цилиндр или затягиваться в корсет, или сооружать затрудняющую вас гостиную — не делайте этого; считаете неразумным развращенных праздностью и вредным сообществом сажать в остроги, то есть в самое вредное сообщество и самую полную праздность, — не делайте этого; считаете неразумным жить в зараженном городском воздухе, когда можете жить на чистом;

считаете неразумным учить детей прежде и больше всего грамматикам мертвых языков — не делайте этого. Не делайте только того, что делает теперь весь наш европейский мир: жить и не считать разумным свою жизнь, делать и не считать разумными свои дела, не верить в свой разум, жить несогласно с ним.

Учение Христа есть свет. Свет светит, и тьма не обнимает его. Нельзя не принимать света, когда он светит. С ним нельзя спорить, нельзя с ним не соглашаться. С учением Христа нельзя не согласиться потому, что оно обнимает все заблуждения, в которых живут люди, и не сталкивается с ними и, как эфир, про который говорят физики, проникает всех их. Учение Христа одинаково неизбежно для каждого человека нашего мира, в каком бы он ни был состоянии. Учение Христа не может не быть принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно дает (отрицать всё можно), но потому, что только оно одно даст те правила жизни, без которых не жило и не может жить человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить, как человек, то есть разумною жизнью.

Сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в том, что вытекает из него — в учении о жизни. Метафизическое учение Христа не новое. Это все одно и то же учение человечества, которое написано в сердцах людей и которое проповедовали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа — в приложении этого метафизического учения к жизни.

Метафизическая основа древнего учения евреев и Христа — одна и та же: любовь к Богу и ближнему. Но приложение этого учения к жизни

по Моисею и по закону Христа — весьма различно. По закону Моисея, как его понимали евреи, для приложения его к жизни требовалось исполнение шестисот тринадцати заповедей, часто бессмысленных, жестоких и таких, которые все основывались на авторитете Писания. По закону Христа, учение о жизни, вытекающее из той же метафизической основы, выражено в пяти заповедях, разумных, благих и носящих в самих себе свой смысл и свое оправдание и обнимающих всю жизнь людей.

Учение Христа не может не быть принято теми верующими иудеями, буддистами, магометанами и другими, которые усомнились бы в истинности своего закона; еще менее — оно не может не быть принято людьми нашего, христианского мира, которые не имеют теперь никакого нравственного закона.

Учение Христа не спорит с людьми нашего мира о их мирозерцании, оно вперед соглашается с ним и, включая его в себя, дает им то, чего у них нет, что им необходимо и чего они ищут: оно дает им путь жизни и притом не новый, а давно знакомый и родной им всем.

Вы — верующий христианин, какого бы то ни было исповедания. Вы верите в сотворение мира, в Троицу, в падение и искупление человека, в таинства, в молитвы, в церковь. Христово учение не только не спорит с вами, но вполне соглашается с вашим мирозерцанием, оно только дает вам то, чего у вас нет. Сохраняя вашу теперешнюю веру, вы чувствуете, что жизнь мира и жизнь ваша — исполнена зла и вы не знаете, как избежать его. Учение Христа (обязательное для вас, потому что оно есть учение вашего Бога), дает вам простые, исполнимые правила жизни,

которые избавят и вас и других людей от того зла, которое мучит вас. Верьте в воскресение, в рай, в ад, в папу, в церковь, в таинства, в искупление, молитесь, как это требуется по вашей вере, гонимые, пойте псалмы — все это не мешает вам исполнять то, что открыто Христом для вашего блага: *не сердитесь, не блудите, не клянитесь, не защищайтесь насильем, не воюйте.*

Может случиться, что вы не исполните какого-нибудь из этих правил, вы увлечетесь и нарушите одно из них так же, как вы нарушаете теперь в минуты увлечения правила вашей веры, правила закона гражданского или законов приличия. Так же вы отступите, может быть, в минуты увлечения и от правил Христа. Но в спокойные минуты не делайте того, что вы теперь делаете, — устраивайте жизнь не такую, при которой трудно сердиться, не блудить, не клясться, не защищаться, не воевать, а такую, при которой трудно бы было это делать. Вы не можете не признать этого, потому что Бог велел вам это.

Вы — неверующий философ какого бы то ни было толка. Вы говорите, что все происходит в мире по закону, который вы открыли. Христово учение не спорит с вами и признает вполне открытый вами закон. Но ведь помимо этого вашего закона, по которому через тысячелетия настанет то благо, которое вы желаете и приготовили для человечества, есть еще ваша личная жизнь, которую вы можете прожить или согласно с разумом, или противно ему; а для этой-то вашей личной жизни у вас теперь и нет никаких правил, кроме тех, которые пишутся не уважаемыми вами людьми и приводятся в исполнение полицейскими. Учение Христа дает вам такие правила, которые наверно сходятся с вашим законом, потому

что ваш закон альтруизма или единой воли есть не что иное, как дурная перифраза того же учения Христа.

Вы — средний человек, полуверующий, полуневевающий, не имеющий времени углубляться в смысл человеческой жизни; и у вас нет никакого определенного мирозерцания, вы делаете то, что делают все. Христово учение не спорит с вами. Оно говорит: хорошо, вы не способны рассуждать, поверять истинность преподаваемого вам учения, вам легче поступать зауряд со всеми; но как бы скромны вы ни были, вы все-таки чувствуете в себе того внутреннего судью, который иногда одобряет ваши поступки, согласные со всеми, иногда не одобряет их. Как бы ни скромна была ваша доля, вам приходится все-таки задумываться и спрашивать себя: так ли мне поступить, как все, или по-своему? В таких именно случаях, то есть когда вам представится надобность решить такой вопрос, правила Христа и предстанут перед вами во всей своей силе. И правила эти наверное дадут вам ответ на ваш вопрос, потому что они обнимают всю вашу жизнь, и они ответят вам согласно с вашим разумом и вашей совестью. Если вы ближе к вере, чем к неверию, то, поступая таким образом, вы поступаете по воле Бога; если вы ближе к свободомыслию, то вы, поступая так, поступаете по самым разумным правилам, какие существуют в мире, в чем вы сами убедитесь, потому что правила Христа сами в себе несут свой смысл и свое оправдание.

Христос сказал (Иоанна, XII, 31): «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон».

Он сказал еще (Иоанна, XVI, 33): «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире бу-

дете иметь скорбь, но мужайтесь: *я победил мир*».

И действительно, мир, то есть зло мира, побеждено.

Если существует еще мир зла, то он существует только как нечто мертвое, он живет только по инерции; в нем нет уже основ жизни. Его нет для верующего в заповеди Христа. Он побежден в разумном сознании сына человеческого. Разбежавшийся поезд еще бежит по прямому направлению, но вся разумная работа на нем делается уже давно для обратного направления.

Ибо все рожденное от Бога побеждает мир. *И победа, которою побежден мир, есть вера ваша* (Первое послание Иоанна, V, 4).

Вера, побеждающая мир, есть вера в учение Христа.

XII

Я верю в учение Христа, и вот в чем моя вера.

Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.

Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа

дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец жизни.

Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной гибели и дает мне здесь наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его.

Закон дан через Моисея, а благо и истина — через Иисуса Христа (Иоанна, I, 17). Учение Христа есть благо и истина. Прежде, не зная истины, я не знал и блага. Принимая зло за благо, я впадал во зло и сомневался в законности моего стремления ко благу. Теперь же я понял и поверил, что благо, к которому я стремлюсь, есть воля отца, есть самая законная сущность моей жизни.

Христос сказал мне: живи для блага, только не верь тем ловушкам — соблазнам (σκάνδαλος), которые, заманивая тебя подобием блага, лишают этого блага и уловляют в зло. Благо твое есть твое единство со всеми людьми, зло есть нарушение единства сына человеческого. Не лишай себя сам того блага, которое дано тебе.

Христос показал мне, что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне прежде казалось, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором рождаются дети, по словам его, и то, в котором живут всегда все люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами.

Но Христос не только показал мне это, но он ясно, без возможности ошибки перечислил мне в своих заповедях все до одного соблазна, лишавшие меня этого естественного состояния единства, любви и блага и уловлявшие меня в зло. Заповеди Христа дают мне средство спасения от со-

блазнов, лишивших меня моего блага, и потому я не могу не верить в эти заповеди.

Мне дано благо жизни, а я сам губил его. Христос показал мне своими заповедями те соблазны, которыми я гублю свое благо, а потому я и не могу делать того, что губит мое благо. В этом и в этом одном вся моя вера.

Христос показал мне, что первый соблазн, губящий мое благо, есть моя вражда с людьми, мой гнев на них. Я не могу не верить в это, и потому не могу уже сознательно враждовать с другими людьми, не могу, как я делал это прежде, радоваться на свой гнев, гордиться им, разжигать, оправдывать его признанием себя важным и умным, а других людей ничтожными — потерянными и безумными; не могу уже теперь при первом напоминании о том, что я не поддаюсь гневу, не признавать себя одного виноватым и не искать примирения с теми, кто враждует со мною.

Но этого мало. Если я знаю теперь, что гнев мой есть неестественное, вредное для меня болезненное состояние, то я знаю еще, какой соблазн приводил меня в него. Этот соблазн состоял в том, что я отделял себя от других людей, признавая только некоторых из них равными себе, а всех остальных — ничтожными, не людьми (рака) или глупыми и необразованными (безумными). Я вижу теперь, что это отделение себя от людей и признание других за «рака» и безумных было главной причиной моей вражды с людьми. Вспоминая свою прежнюю жизнь, я вижу теперь, что я никогда не позволял разгораться своему враждебному чувству на тех людей, которых считал выше себя, и никогда не оскорблял их; но зато малейший неприятный для меня поступок человека, которого я считал ниже себя, вызывал мой

гнев на него и оскорбление, и чем выше я считал себя перед таким человеком, тем легче я оскорблял его; иногда даже одна воображаемая мною низкость положения человека уже вызывала с моей стороны оскорбление ему. Теперь же я понимаю, что выше других людей будет стоять только тот, кто унизит себя перед другими, кто будет всем слугою. Я понимаю теперь, почему то, что высоко перед людьми, есть мерзость перед Богом, и почему горе богатым и прославляемым, и почему блаженны нищие и униженные. Только теперь я понимаю это и верю в это, и вера эта изменила всю мою оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, — все это стало для меня дурным и низким. Все же, что казалось дурным и низким — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов, — все это стало для меня хорошим и высоким. А потому, если и теперь, зная все это, я могу в минуту забвения отдаться гневу и оскорбить брата, то в спокойном состоянии я не могу уже служить тому соблазну, который, возвышая меня над людьми, лишал меня моего истинного блага — единства и любви, как не может человек устраивать сам для себя ловушку, в которую он попал прежде и которая чуть не погубила его. Теперь я не могу содействовать ничему тому, что внешне возвышает меня над людьми, отделяет от них; не могу, как я прежде это делал, признавать ни за собой, ни за другими никаких званий, чинов и наименований, кроме звания и имени человека; не могу искать славы и похвалы, не могу искать

таких знаний, которые отделяли бы меня от других, не могу не стараться избавиться от своего богатства, отделяющего меня от людей, не могу в жизни своей, в обстановке ее, в пище, в одежде, во внешних приемах не искать всего того, что не разъединяет меня, а соединяет с большинством людей.

Христос показал мне, что другой соблазн, губящий мое благо, есть блудная похоть, то есть похоть к другой женщине, а не той, с которой я сошелся. Я не могу не верить в это и потому не могу, как я делал это прежде, признавать блудную похоть естественным и возвышенным свойством человека; не могу оправдывать ее перед собой моей любовью к красоте, влюбленностью или недостатками своей жены; не могу уже при первом напоминании о том, что поддаюсь блудной похоти, не признавать себя в болезненном, неестественном состоянии и не искать всяких средств, которые могли бы избавить меня от этого зла.

Но, зная теперь, что блудная похоть есть зло для меня, я знаю еще и тот соблазн, который вводил меня прежде в него, и потому не могу уже служить ему. Я знаю теперь, что главная причина соблазна не в том, что люди не могут воздержаться от блуда, но в том, что большинство мужчин и женщин оставлено теми, с которыми они сошлись сначала. Я знаю теперь, что всякое оставление мужчины или женщины, которые сошлись в первый раз, и есть тот самый развод, который Христос запрещает людям потому, что оставленные первыми супругами мужа и жены вносят весь разврат в мир. Вспоминая то, что меня вводило в блуд, я вижу теперь, что, кроме того дикого воспитания, при котором и физически и умственно разжигалась во мне блудная похоть и оправды-

валась всеми изощрениями ума, главный соблазн, уловлявший меня, заключался в оставлении мною той женщины, с которой я сошелся сначала, и в состоянии оставленных женщин, со всех сторон окружавших меня. Я вижу теперь, что главная сила соблазна была не в моей похоти, а в неудовлетворенности похоти моей и тех оставленных женщин, которые со всех сторон окружали меня. Я понимаю теперь слова Христа: Бог сотворил вначале человека — мужчиной и женщиной, так чтобы два были одно, и что поэтому человек не может и не должен разъединять то, что соединил Бог. Я понимаю теперь, что единобрачие есть естественный закон человечества, который не может быть нарушаем. Я понимаю теперь вполне слова о том, что тот, кто разводится с женою, то есть с женщиной, с которой он сошелся сначала, для другой, заставляет ее распутничать и вносит сам против себя новое зло в мир. Я верю в это, и вера эта изменяет всю мою прежнюю оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. То, что прежде мне казалось самым хорошим — утонченная, изящная жизнь, страстная и поэтическая любовь, восхваляемая всеми поэтами и художниками, — все это представилось мне дурным и отвратительным. Наоборот, хорошим представились мне: трудовая, скудная, грубая жизнь, умеряющая похоть; высоким и важным представилось мне не столько человеческое учреждение брака, накладывающее внешнюю печать законности на известное соединение мужчины и женщины, сколько самое соединение всякого мужчины и женщины, которое, раз совершившись, не может быть нарушено без нарушения воли Бога. Если я и теперь могу в минуту забвения подпасть блудной похоти, то не могу уже, зная тот соблазн, ко-

торый вводил меня в это зло, служить ему, как я делал это прежде. Я не могу желать и искать физической праздности и жирной жизни, разжигавшей во мне чрезмерную похоть; не могу искать тех разжигающих любовную похоть потех — романов, стихов, музыки, театров, балов, которые прежде представлялись мне не только не вредными, но очень высокими увеселениями; не могу оставлять своей жены, зная, что оставление ее есть первая ловушка для меня, для нее и для других; не могу содействовать праздной и жирной жизни других людей; не могу участвовать и устраивать тех похотливых увеселений — романов, театров, опер, балов и т. п., — которые служат ловушкой для меня и других людей; не могу поощрять безбрачное житье людей зрелых для брака; не могу содействовать разлуке мужей с женами; не могу делать различия между союдами, называемыми браками и не называемыми так; не могу не считать священным и обязательным только то брачное соединение, в котором раз находится человек.

Христос открыл мне, что третий соблазн, губящий мое благо, есть соблазн клятвы. Я не могу не верить в это и потому не могу уже, как я делал это прежде, сам клясться кому-нибудь и в чем-нибудь и не могу уже, как я делал это прежде, оправдывать себя в своей клятве тем, что в этом нет ничего дурного для людей, что все делают это, что это нужно для государства, что мне или другим будет хуже, если я откажусь от этого требования. Я знаю теперь, что это есть зло для меня и для людей, и не могу делать его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который уловлял меня в это зло, и не могу уже служить ему. Я знаю, что соблазн со-

стоит в том, что именем Бога освящается обман. Обман же состоит в том, что люди вперед обещаются повиноваться тому, что велит человек или люди, тогда как человек не может никогда повиноваться никому, кроме Бога. Я знаю теперь, что самое страшное по своим последствиям зло мира — убийство на войнах, заключения, казни, истязания людей совершаются только благодаря этому соблазну, во имя которого снимается ответственность с людей, совершающих зло. Вспоминая теперь многое и многое зло, которое заставляло меня осуждать и не любить людей, — я вижу теперь, что все оно было вызвано присягой — признанием необходимости подчинить себя воле других людей. Я понимаю теперь значение слов: все, что сверх простого утверждения или отрицания — да и нет, все, что сверх этого, всякое обещание, даваемое вперед, — есть зло. Понимая это, я верю, что клятва губит благо мое и других людей; и вера эта изменяет мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Все то, что прежде казалось мне хорошим и высоким, обязательство верности правительству, подтверждаемое присягой, вымогание этой присяги от людей и все поступки, противные совести, совершаемые во имя этой присяги, — все это представилось теперь мне и дурным и низким. И потому я не могу уже теперь отступить от заповеди Христа, запрещающей клятву; не могу уже клясться другому, ни заставлять клясться других, ни содействовать тому, чтобы люди клялись и заставляли клясться других людей и считали бы клятву или важную и нужную, или хотя бы не вредною, как это думают многие.

Христос открыл мне, что четвертый соблазн, лишающий меня моего блага, есть противление

злу насилием других людей. Я не могу не верить, что это есть зло для меня и других людей, и поэтому не могу сознательно делать его и не могу, как я делал это прежде, оправдывать это зло тем, что оно нужно для защиты меня и других людей, для защиты собственности моей и других людей; не могу уже при первом напоминании о том, что я делаю насилие, не отказаться от него и не прекратить его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который вводил меня в это зло. Я знаю теперь, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что жизнь моя может быть обеспечена защитой себя и своей собственности от других людей. Я знаю теперь, что большая доля зла людей происходит оттого, что они, вместо того чтобы отдавать свой труд другим, не только не отдают его, но сами лишают себя всякого труда и насилием отбирают труд других. Вспоминая теперь все то зло, которое я делал себе и людям, и все зло, которое делали другие, я вижу, что большая доля зла происходила оттого, что мы считали возможным защитой обеспечить и улучшить свою жизнь. Я понимаю теперь значение слов: человек рожден не для того, чтобы на него работали, но чтобы самому работать на других, и значение слов: трудящийся достоин пропитания. Я верю теперь в то, что благо мое и людей возможно только тогда, когда каждый будет трудиться не для себя, а для другого, и не только не будет отстаивать от другого свой труд, но будет отдавать его каждому, кому он нужен. И вера эта изменила мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким — богатство, собственность всякого рода, честь, сознание собственного достоинства,

права, — все это стало теперь дурно и низко; все же, что казалось мне дурным и низким — работа на других, бедность, унижение, отречение от всякой собственности и всяких прав, — стало хорошо и высоко в моих глазах. Если теперь я и могу в минуту забвения увлечься насилием для защиты себя и других или своей или чужой собственности, то я не могу уже спокойно и сознательно служить тому соблазну, который губит меня и людей; я не могу приобретать собственности; не могу употреблять какое бы то ни было насилие против какого бы то ни было человека, за исключением ребенка, и то только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла; не могу участвовать ни в какой деятельности власти, имеющей целью ограждение людей и их собственности насилием; не могу быть ни судьей, ни участником в суде, ни начальником, ни участником в каком-нибудь начальстве; не могу содействовать и тому, чтобы другие участвовали в судах и начальствах.

Христос открыл мне, что пятый соблазн, лишаящий меня моего блага, — есть разделение, которое мы делаем между своими и чужими народами. Я не могу не верить в это, и потому если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство к человеку другого народа, то я не могу уже в спокойную минуту не признавать это чувство ложным, не могу оправдывать себя, как я прежде делал это, признанием преимущества своего народа над другими, заблуждениями, жестокостью или варварством другого народа; не могу, при первом напоминании о том, не стараться быть более дружелюбным к человеку чужого народа, чем к соотечественнику.

Но мало того, что я знаю теперь, что разделе-

ние мое с другими народами есть зло, губящее мое благо,— я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо мое связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю теперь, что единство мое с другими людьми не может быть нарушено чертою границы и распоряжениями правительств о принадлежности моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья. Вспоминая теперь все то зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемый патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая свое воспитание, я вижу теперь, что чувства вражды к другим народам, чувства отделения себя от них никогда не было во мне, что все эти злые чувства были искусственно привиты мне безумным воспитанием. Я понимаю теперь значение слов: творите добро врагам, делайте им то же, что и своим. Вы все дети одного Отца, и будьте так же, как и Отец, то есть не делайте разделения между своим народом и другими, со всеми будьте одинаковы. Я понимаю теперь, что благо возможно для меня только при признании своего единства со всеми людьми мира без всякого исключения. Я верю в это. И вера эта изменила всю мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и высоким — любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служение им в ущерб блага других людей, военные подвиги людей, — все это мне показалось отвратительным и жалким. То, что мне представлялось дурным и позорным — отре-

чение от отечества, космополитизм, — показалось мне, напротив, хорошим и высоким. Если я и могу теперь в минуту забвения содействовать больше русскому, чем чужому, желать успеха русскому государству или народу, то не могу я уже в спокойную минуту служить тому соблазну, который губит меня и людей. Не могу признавать никаких государств или народов, не могу участвовать ни в каких спорах между народами и государствами, ни разговорами, ни писаниями, ни тем более службой какому-нибудь государству. Я не могу участвовать во всех тех делах, которые основаны на различии государств — ни в таможенных или сборах пошлин, ни в приготовлении снарядов или оружия, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами, и не могу содействовать людям, чтобы они делали это.

Я понял, в чем мое благо, *верю* в это и потому не могу делать того, что несомненно лишает меня моего блага.

Но мало того, что я верю в то, что я должен жить так, я *верю*, что если буду жить так, и только так, то жизнь моя получит для меня единственно возможный разумный, радостный и не уничтожаемый смертью смысл.

Я *верю*, что разумная жизнь моя — свет мой на то только и дан мне, чтобы светить перед чело-веками не словами, но добрыми делами, чтобы люди прославляли Отца (Матф., V, 16). Я верю, что моя жизнь и знание истины есть талант, данный мне для работы на него, что этот талант есть огонь, который только тогда огонь, когда он жжет. Я верю, что я — Ниневия по отношению к другим Ионам, от которых я узнал и узнаю истину, но что и я — Иона по отношению к другим ниневитянам,

которым я должен передать истину. Я верю, что единственный смысл моей жизни — в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и ставить его не под спуд, но высоко перед людьми, так, чтобы люди видели его. И вера эта придает мне новую силу при исполнении учения Христа и уничтожает все те препятствия, которые прежде стояли передо мной.

То самое, что прежде подрывало для меня истинность и исполнимость учения Христа, то, что отталкивало меня от него — возможность лишений, страданий и смерти от людей, не знающих учение Христа, — это самое теперь подтвердило для меня истинность учения и привлекло к нему.

Христос сказал: когда возвысите сына человеческого, все привлечетесь ко мне — и я почувствовал, что неудержимо привлечен к нему. Он сказал еще: истина освободит вас — и я почувствовал себя совершенно свободным.

Придет войной неприятель или просто злые люди нападут на меня, думал я прежде, и если я не буду защищаться, они оберут нас, осрамят, измучают и убьют меня и моих близких, и мне казалось это страшным. Но теперь все, смущавшее меня прежде, показалось теперь радостным и подтвердило истину. Я знаю теперь, что и неприятели и так называемые злодеи и разбойники, все — люди, точно такие же сыны человеческие, как и я, так же любят добро и ненавидят зло, так же живут накануне смерти и так же, как и я, ищут спасения и найдут его только в учении Христа. Всякое зло, которое они сделают мне, будет злом для них же, и потому они должны делать мне добро. Если же истина неизвестна им и они делают зло, считая его благом, то я знаю истину

только для того, чтобы показать ее тем, которые не знают ее. Показать же ее им я не могу иначе, как отречением от участия в зле, исповеданием истины на деле.

Придут неприятели: немцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, они перебьют вас. Это неправда. Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели — ни немцы, ни турки, ни дикие — не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе все то, что и так отдавали бы эти люди, для которых нет различия между русским, немцем, турком и дикарем. Если же христиане находятся среди общества нехристианского, защищающего себя войною, и христианин призывается к участию в войне, то тут-то и является для христианина возможность помочь людям, не знающим истины. Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают ее. Свидетельствовать же он может не иначе как делом. Дело же его есть отречение от войны и делание добра людям без различия так называемых врагов и своих.

Но не неприятели, а свои же злые люди нападут на семью христианина и, если он не будет защищаться, оберут, измучают и убьют его и его близких. Это опять несправедливо. Если все члены семьи — христиане и потому полагают свою жизнь в служении другим, то не найдется такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему. Миклухо-Маклай поселился среди самых зверских, как говорили, диких, и его не только не убили, но полюбили его, покорились ему только потому, что он не боялся их, ничего не требовал

от них и делал им добро. Если же христианин живет среди нехристианской семьи и близких, защищающих себя и свою собственность насилием, и христианин призывается к участию в этой защите, то этот призыв и есть для христианина призыв к исполнению своего дела жизни. Христианин только для того и знает истину, чтобы показать ее другим и — более всего — близким ему, связанным с ним семейными и дружескими связями людям, а показать истину христианин не может иначе, как не впадая в то заблуждение, в которое впали другие, не становясь на сторону ни нападающих, ни защищающих, а отдавая все другим, жизнью своей показывая, что ему ничего не нужно, кроме исполнения воли Бога, и ничего не страшно, кроме отступления от нее.

Но правительство не может допустить того, чтобы член общества не признавал основ государственного порядка и уклонялся от исполнения обязанностей всех граждан. Правительство потребует от христианина присяги, участия в суде, военной службе и за отказ подвергнет его наказанию — ссылке, заключению, даже казни. И опять-таки это требование правительства будет для христианина только призывом его к исполнению своего дела жизни. Для христианина требование правительства есть требование людей, не знающих истины. И потому христианин, знающий ее, не может не свидетельствовать о ней перед людьми, не знающими ее. Насилие, заключение, казни, которым подвергнется вследствие этого христианин, дают ему возможность свидетельствовать не словами, а делом. Всякое насилие: война, грабеж, казни происходят не вследствие неразумных сил природы, но производятся людьми заблудшими и лишенными знания исти-

ны. И потому чем большее зло делают эти люди христианину, тем более они далеки от истины, тем несчастнее они и тем нужнее им знание истины. Передать же знание истины людям христианин не может иначе, как воздержанием от того заблуждения, в котором находятся люди, делающие ему зло, воздаянием добра за зло. И в этом одном все дело жизни христианина и весь смысл ее, не уничтожаемый смертью.

Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человечества направлена на разрушение этого сцепления обмана.

Все революции суть попытки насильственного разбивания этой массы. Людям представляется, что если они разобьют эту массу, то она перестанет быть массой, и они бьют по ней; но, стараясь разбить ее, они только куют ее.

Но сколько бы они ни ковали ее, сцепление частиц не уничтожится, пока внутренняя сила не сообщится частицам массы и не заставит их отделяться от нее.

Сила сцепления людей есть ложь, обман. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцепления, есть истина. Истина же передается людям только делами истины.

Только дела истины, внося свет в сознание каждого человека, разрушают сцепление обмана, отрывают одного за другим людей от массы, связанной между собою сцеплением обмана.

И вот уже 1800 лет делается это дело.

С тех пор, как заповеди Христа поставлены перед человечеством, началась эта работа, и не кончится она до тех пор, пока не будет исполнено все, как и сказал это Христос (Матф., V, 18).

Церковь, составлявшаяся из тех, которые думали соединить людей воедино тем, что они с заклинаниями утверждали про себя, что они в истине, давно уже умерла. Но церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино, — эта церковь всегда жила и будет жить. Церковь эта как прежде, так и теперь составляется не из людей, взывающих: Господи, Господи! и творящих беззаконие (Матф., VII, 21, 22), но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их.

Люди этой церкви знают, что жизнь их есть благо, воли они не нарушают единства сына человеческого, и что благо это нарушается только неисполнением заповедей Христа. И потому люди этой церкви не могут не исполнять этих заповедей и не учить других исполнению их.

Мало ли, много ли теперь таких людей, но это — та церковь, которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди.

Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Луки, XII, 32).

Москва

22 января 1884 г.



НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ДУШИ

То, что произошло со Львом Николаевичем Толстым в конце 1870-х годов, когда он написал «Исповедь», можно называть по-разному — и заблуждением, и духовным кризисом, и прозрением. Разность зависит от убеждений и пристрастий толкователя, больше всего от его конфессии, то есть от того, верующий он или атеист, православный или инославный. Впрочем, вряд ли кто будет спорить, если ограничиться констатацией: Толстой был художником, а стал религиозным философом. Констатация — не уход от оценки и не отказ от разбора сути дела. Анализ и диагноз всегда предшествует некий симптом, и любой диагност обязан задаться вопросом, проявляется этот симптом у одного человека либо у множества людей.

Даже поверхностный взгляд на семидесятые годы убеждает, что обращение к религии и религиозной философии — явление в ту пору самое обыкновенное, даже расхожее. По принятой у нас схеме общественная жизнь и общественная мысль этого десятилетия «возглавляется» социальными радикалами — с крайним их ответвлением, «Народной волей». Она действительно громко заявила о себе — взрывами бомб на Екатерининском канале 1 марта 1881 года. Считается само собою разумеющимся, что социальные радикалы — сплошь атеисты. Между тем это явное упрощение. Молодежь, начавшая в семидесятые годы «хождение в народ», одушевлялась и бунтарством, и Евангелием. О том, что фри-

гийский колпак и голгофский крест не противопоставлялись, а объединялись в качестве символов равенства, жертвенности, справедливости, свидетельствует в своих воспоминаниях земледелец О. В. Аптекман, который, кстати говоря, в «хождении» крестился в православие. Верующих находим и в позднейших поколениях революционеров, в частности среди эсеровских боевиков. Таким был Иван Каляев, убийца великого князя Сергея Александровича. Но как примирить террор и заповедь «не убий»? Об этом можно прочесть в «Коне бледном» Б. В. Савинкова (Ропшина), в разговоре повествователя с бомбистом, чьим прототипом и был Каляев. Бомбист цитирует Евангелие от Иоанна, стих 13-й главы 15-й: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Смысл разговора в том, что террорист заведомо губит свою душу, обрекает ее на вечные мучения, утешаясь тем, что облегчит земное существование «малых сих». Заблуждение, конечно, ибо на крови храм счастья не воздвигнуть, и зло, в какие бы одежды оно ни рядилось, порождает зло. России за это заблуждение пришлось очень дорого заплатить, и Бог весть когда совершится окончательный расчет. Но так было, и разговор в «Коне бледном» — не художественный вымысел: такой же разговор (правда, с девицей, но тоже из боевой дружины) воспроизведен Савинковым в мемуарах, опубликованных в пореволюционном «Былом».

Впрочем, религиозность некоторых радикалов — лишь слабый отголосок того религиозного напряжения, брожения, иногда надрыва, которые характерны именно для семидесятых годов. Это касается и «народа», который обнаружил значительно большую, чем прежде, склонность к сектантству, к молоканству, штунде и т. д. Это касается и «общества»: показателен, например, успех, который в петербургском свете имело проповедничество лорда Редстока. К нему и его последователям, «так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление» («Исповедь»), Толстой сначала отнесся вполне серьезно («...и я ухватывался

за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни»). Однако разочарование воспоследовало очень скоро, о чем говорит карикатура на «новых христиан» в седьмой части «Анны Карениной» (вышла в № 4 «Русского вестника» за 1877 год). На изображенном в романе молитвенном собрании нормальным выглядит лишь москвич Стива Облонский, воплощение античной максимы «в здоровом теле здоровый дух», человек, который и обыкновенную православную службу выстаивал с трудом, с каким-то «затеканием ног». От духовной тревоги он бесконечно далек, и поэтому Толстой, любя его как доброго малого из своего круга, все-таки примешивает к этой любви толику презрения.

и .:

Однако и среди «новых христиан» («пашковцев», прозванных по имени В. А. Пашкова, основавшего в 1876 году «Общество поощрения духовно-нравственного чтения») преобладали люди толстовского круга; с иными из них он состоял в знакомстве и поддерживал переписку. При всех различиях «пашковства» и «толстовства» стоит отметить, что власти относились к обоим течениям сперва подозрительно, а потом враждебно, вплоть до запретительных мер.

В семидесятые годы религиозно-философским творчеством занимается все больше «личностей». В это время Н. Ф. Федоров, ровесник Толстого, уже служит библиотекарем Румянцевского музея в Москве, уже очно и заочно учит «взыскующих града небесного», в их числе и Достоевского, и Вл. С. Соловьева, который называл Федорова «дорогим учителем и утешителем». Недюжинные умы, теплые души... Всем им суждено навеки остаться в русской и мировой культуре.

Ясно, что Толстой не одинок, что смятение его духа, его исповедальная тяга — эпохальная примета. В зеркале «Исповеди» отразился не один автор, а многие из занимавшихся, если выразиться по-старинному, «умным деланием». Это повествование о переживаниях русской души, о череде

ее состояний, начиная с сороковых годов. Это глубоко поучительное повествование, позволяющее кое-что понять в судьбе России.

«Я был крещен и воспитан в православной христианской вере», — начинает «Исповедь» Толстой. Но уже в юности, в студенчестве, когда человек начинает размышлять (или ему так кажется), Толстой уразумел, что это не вера, а культурный обиход, нечто из разряда приличий: «Учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует». Когда один из его старших братьев «предался вере», в семье над ним посмеивались «и прозвали почему-то Ноем». Ясно почему: брат, совсем молодой, вел себя как старичок — ведь Ноею к тому роковому дню, когда разверзлись хляби небесные, по библейскому счету исполнилось шестьсот лет. Оба, русский университет и ветхозаветный праотец, казались окружающим чудаками, белыми воронами. Все грешили и веселились, они же алкали праведности. Что до Ноя, он хотя бы знал от Бога, что грядет потоп и надо соорудить ковчег, дабы спастись самому, спасти чад, домочадцев и населяющих землю тварей. А Дмитрию Толстому, ему-то зачем понадобилась «чистая и нравственная жизнь»? Ведь никакого потопы не предвиделось, Россия была на вершине силы и славы, и царь Николай оканчивал рескрипты горделивыми словами «с нами Бог». «Огромное большинство людей» толстовского круга не боялось ни за себя, ни за свое сословие, ни за умиротворенную страну... На что им Бог, на что им вера?

Это унаследовано от отцов, сформировавшихся в александровскую эпоху, когда единицы ударялись в мистицизм (ему, как известно, был подвержен и государь), а множество жило в плаценте религиозного и церковного равнодушия. Это видно по Евгению Онегину, «карманному зеркалу русской молодежи», как сказал о нем П. А. Плетнев. В зеркале этом отразился и Пушкин, и вообще люди его поколения, его состояния и его воспитания, в том числе и попечитель

Казанского университета Мусин-Пушкин, потешавшийся над страстной религиозностью Дмитрия Толстого.

Онегин взрослеет, влюбляется, танцует на балах и делает разные разности. Однако он не заглядывает в церковь и лба не крестит. Когда им овладела хандра, то есть он впал в смертный грех отчаяния, ему и в голову не пришло отправиться за утешением к духовнику. Что до деревни, куда Онегин удалился, в ее поэтических ландшафтах и поэтических интерьерях мы не найдем ни храма, ни иконы. Герой поселился в доме дяди:

Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои, .П
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах...
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.

Но где образа и где лампы? Разумеется, и образа в доме висели, и лампы теплились (тем более что после похорон прошло мало времени), но взгляд Онегина (и Пушкина) скользит мимо них. Даже бытового православия в романе нет и в помине. Пусть Онегин «лишний человек». Но и мечтательный Ленский, посетив кладбище и пролив слезы над прахом родителей, в церковь — ни ногой. Такова и «русская душою» Татьяна: прощаясь с родными краями, она с церковью, где ее крестили и где отпевали ее отца, проститься не удосужилась. «В жизни», конечно, было иначе (о Лариных сказано: «Два раза в год они говели...», то есть бывали у исповеди и причастия). «В жизни» было так, как описано в «Исповеди»: в церковь ходят, хотя бы для удостоверения в лояльности, но без всякой охоты. Это нужно учитывать при чтении следующей фразы: «Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть». Здесь существенна оговорка о «собственном

побуждении». Толстой, бесспорно, в церкви бывал, но по обязанности, «как все». Если он и веровал, то «в совершенствование», умственное, волевое, физическое. Вера была всецело замещена культурой.

Так продолжалось и после несчастной для России Крымской кампании. Казалось бы, поражение должно было повергнуть общество в уныние, случилось же прямо противоположное: вместе с воцарением Александра II в образованном слое воцарилась эйфория, «чад молодости, который зовется любовью» (Н. Шелгунов). Такая метаморфоза была естественной. Ушло «холодное, ледяное, как петербургский климат» николаевское время. Эта характеристика принадлежит А. И. Герцену, и он же приветствовал нового императора, творца великих реформ, знаменитыми словами: «Ты победил, Галилеянин!» За них Герцена очень бранили, а стоит ли? Он был в том же чаду, он уповал на ту же культуру, на прогресс.

Всем, кто проявлял склонность к учительству, было высочайше дозволено учить (в известных пределах, конечно). Считалось, по извечно присущей человеческому роду наивности, что благодарные ученики толпами хлынут в школы, что они выкажут себя прилежными, послушными, благонравными. Страна обучится, станет цивилизованной и благополучной. Толстой, уже прославившийся, эти иллюзии разделял в полной мере.

«Наше призвание — учить людей... Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию... Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы — самые хорошие и по-

лезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно... И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры».

Для истории русской души эти печальные признания крайне важны. Из них следует, что в России всякая гуманитарная деятельность, и прежде всего писательское ремесло, возводится до уровня религии. Жрецы, к которым и Толстой принадлежал, получили как-никак православное воспитание, а православие, подобно всем монотеистическим конфессиям, исходит из того, что лишь ему принадлежит Истина. Писательская корпорация сознательно или бессознательно воспринимала себя в качестве псевдоцеркви. Но члены корпорации не признавали верховенства Доброго Пастыря, они были именно жрецы, то есть причетники языческих культов, и поклонялись разным истуканам. Если бы Толстой понимал, что вера и культура — феномены принципиально различные, что между ними пролегла межа (не пропасть, а именно межа), — его душа была бы спокойнее, и он не произнес бы горьких слов: «Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман».

Интеллектуальный труд, включая писательство, неизбежно предлагает множество позиций, художественных манер, школ и методов. Споры в этом деле неизбежны, без них не обойтись, ибо строительство культуры совершается методом проб и ошибок. И корыстность «учителей», вызвавшая у Толстого отвращение, тоже, как это ни печально, в порядке вещей. Конечно, словесная война отвратительна, как и всякая война. В известном смысле она даже хуже: после сдачи Севастополя был Парижский мирный трактат, а в словесной войне возможны разве что кратковременные перемирия. Но ужасаться ею — значит протестовать против очевидности, противиться естественному течению жизни. Русские вообще склонны к максимализму, а Толстой был «из русских перерусский». Разочаровавшись в «обществе», он

возложил упование на «народ», то есть ударился в новую крайность.

«...Я поселился в деревне и попал на запятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому процессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят».

И опять ничего не вышло, точнее результаты оказались ничтожными. Причина ясна — причина в заблуждении насчет «первобытности» крестьян. У них была своя культура, целостная, древняя и мудрая. Она несколько не хуже культуры дворянской, она другая, просто другая, совсем другая. Претензия русской литературы XIX века на «вразумление» первобытных будто бы крестьян — претензия пустопорожняя. Русская литература добровольно возложила на себя вериги народного заступничества. Казалось, она эту функцию выполняла, и выполняла блистательно, но лишь до тех пор, покуда крестьянская Россия была объята «вековой тишиной». Стоило в 1905 году народу, так сказать, зашевелиться, как эта функция стала проблемой. И. А. Бунин, описывая похороны Толстого, передает разговоры местных мужиков, несших полотнище с надписью: «Лев Николаевич, память о том добре, которое ты делал нам, никогда не умрет в нас, осиротевших крестьянах Ясной Поляны». Вот эти разговоры: «Ну вот, мы несли эту самую вывеску. Что ж, будет нам за это какое-нибудь награждение от начальства или от графини? Ведь мы как старались! Целый день на ногах! Опять же, на венок потратились». Бунин на этих «первобытных» мужиков сердится, и сердится совершенно напрасно.

Если бы они хорошили своего, у них корыстных расчетов не было бы, разве что на поминальную выпивку и закуску. Но они хорошили чужого. И когда крестьяне, привыкшие ценить труд и вещи, скопидомные по самой сословной природе, жгли в 1905-м и 1917 годах барские усадьбы, не строения они жгли, а усадебную культуру с ее библиотеками, картинными галереями, музицированием. Крестьяне ведь не предвидели, что в войне «белой» и «черной» кости победителей не будет, будут только побежденные.

Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого без крестьянской культуры не было бы, как не было бы Мусоргского, Чайковского, Сурикова... Но эта великая культура пока народу была чужда и не нужна, она воспринималась им как шум, набор странных слов, причудливых линий и пятен. Соединительные звенья малочисленны — это прежде всего «литературная» песня и романс. Другое дело, что обращение к этой великой культуре было неизбежно, вопрос стоял лишь о сроках. При жизни Толстого эти сроки не исполнились и исполниться не могли. Сам он чувствовал это лучше всех, ибо его это больше всех мучило — в отличие от дюжины писателей — «народников», иные из которых не могли отличить ржи от ячменя. Ключевой мотив толстовской прозы — встреча барина и мужика, встреча бесплодная и недружественная, как и беседа их, которая всегда выглядит как разговор глухих.

Тот, кто принимает «Исповедь» за документ, ошибается. Толстой от «художественности» отойти не мог, она была у него в крови. «Исповедь» построена по очень давней трехчастной схеме христианской легенды. Это жесткая схема. Первый ее элемент — преступление (в «Исповеди» это безверие, тщеславие, корысть, любострастие и пр.). Потом следует наказание грешника («смертельная внутренняя болезнь», «мысль о самоубийстве», о «петле или пуле», «ужас тьмы»), наконец — исцеление, прозрение, обретение благодати: «Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни

без Бога», и тогда из тьмы перейдешь в свет. И Толстой стал искать Бога.

Попытка вернуться в Церковь не удалась, с Церковью он не поладил. Это объясняют личными качествами, одни гордыней, другие свободолюбием, опять-таки в зависимости от конфессии толкователей и оценщиков. Но должно помнить, что не в ладах с Церковью были почти все, притом из самых выдающихся, богословы-«непрофессионалы», то есть не принадлежавшие к духовному сословию религиозные философы. В этом смысле схожи и апологет латинства Чаадаев, и православнейший славянофил Хомяков, и чаявший «воскрешения предков» Федоров, и «восточный католик» Соловьев с его «Вечной Женственностью». Значит, это общее явление, и ему надлежит искать общее, эпохальное и национально-историческое объяснение.

Что до Толстого, его «обращение», в сущности, означало опрощение. Жизнь в православно-гуманистической «привычке», в полурелигиозной или арелигиозной культуре — вот та жизнь, которая была ему суждена, которая пристала ему и его окружению. Затем пришла неудовлетворенность этой культурой, сменившаяся недоверием, а затем воспоследовало неверие, притом абсолютное, включая и святых отцов, и Шекспира, возведенное в ранг веры: «Я убежден, что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославляемых последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений» («В чем моя вера?»). Отчего же? Оттого, что эвклидова и неэвклидова геометрия, Шекспир, Моцарт и сам Толстой людям не нужны, ибо не помогают им стать лучше и счастливее.

Уход из культуры есть уход из истории, потому что человечество за время своего существования только и делало, что наращивало культурный слой. Каждый археолог знает, что чем древнее раскапываемое поселение, тем этот слой

толще. Но количественно в нем всегда преобладают фрагменты керамики, то есть битые горшки. Это и ужаснуло Толстого: не куча ли мусора вся наша хваленая цивилизация? Добро бы колотили по горшкам, но ведь спокон веку колотили по «скудельному (глиняному) сосуду», как на библейском, всем в ту пору внятном языке именовался человек.

Люди, как и вещи, созданы из глины и праха, но людей до слез жалко. Тысячи лет им никто не был в состоянии пособить, и что же делать? «Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами себе не помогут. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя». Выход один — надо вернуться к проповеди Христа.

Но эта проповедь — право и обязанность Церкви, которая ответственна за духовное здоровье православной паствы. Толстой Церкви не доверяет. Уход его из истории совпал с «историзмом» профессионально-православного богословствования, который пришелся как раз на семидесятые годы. Этот историзм был и формально закреплен в уставе духовных академий, высочайше утверждённом в 1869 году: предписывалось, дабы из трех отделений-факультетов одно было «церковно-историческим». Опять учено-педагогическая религия, какое-то приближение к университетам, опять культура! В программе Толстого, естественно, места ей нету, хотя богословы в ту пору создали много археографических, то есть собирательских, энциклопедических, то есть публикаторских, а также переводческих работ. Ими Толстой широко пользуется (его знания об Оригене скорее всего почерпнуты из книги В. В. Болотова, современницы «Исповеди», поскольку она вышла в 1879 году).

Впрочем, минуют считанные годы, после первоапрельского царевичества на троне окажется Александр III, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев получит полную духовную власть, и ситуация резко изменится. Этот человек, у нас ругательски изруганный, был непрост. Он много знал и много понимал, и не зря же Достоевский, к счастью, до царевичества не доживший, вел с ним регулярные еженедельные беседы. Победоносцев культуре не доверял, боялся всякого умствования, всякого спора — до такой степени, что прекратил традиционные публичные диспуты в духовных академиях и упразднил лучшие богословские издания. Ставка Победоносцева — на «простонародную веру», даром что она с большой долей язычества, на «status quo», на вековую тишину деревни. Он старался кое в чем потрафить крестьянству — заводил церковно-приходские школы, поощрял церковную благотворительность, озаботился об издании для народа всякого рода благочестивых книжек и пр. «Русификация» — девиз и политика Победоносцева. Ее составляющие — и разрешение носить бороды на государственной службе (это было запрещено Петром I; и первым — и предпоследним — бородатым императором стал Александр III), и русский стиль в архитектуре (характерный его образец — храм Спаса-на-крови в Петербурге, на печально памятном Екатерининском канале), и «национальный облик» военных мундиров, и преподавание по-русски в Дерптском, а теперь Юрьевском университете (раньше там читали лекции по-немецки), и переименование Царства Польского в «привислицские губернии»... Но все это — только форма, а суть политики — «тишина и покой», на деле же — ничегонеделание.

Теперь в Церкви ценится не культура, но культ, не служение, но служба. Совершается как бы попятное движение — к временам Николая I. Считается, что простонародью достаточно элементарной грамотности и православного обычая, обихода; считается, что это надежный щит, который охранит бесхитростные крестьянские души от вли-

яния «лихого человека». Это выражение Победоносцева, а заповедь его — не мудрствуйте лукаво. Но в лукавстве подозревалась всякая вообще мысль, поэтому лучшие умы России, и первый из них Лев Толстой, стали в оппозицию к правительству.

Сотрудничество с ним, в той или иной степени возможное и реальное в эпоху «великих реформ», а в последний раз при Лорис-Меликове с его «диктатурой сердца», отныне (не навсегда ли?) было сочтено интеллигенцией безнравственным. Она стала чураться власти, и этот разрыв — одна из российских неизбывных бед. Власть была обречена на глупость, в лучшем случае на дюжинность (не без исключений, разумеется; к ним должно отнести графа С. Ю. Витте и П. А. Столыпина). Что до интеллигенции, она была обречена на неучастие в государственных делах.

Победоносцева этот разрыв не особенно волновал: интеллигенция, в конце концов, — тончайший общественный слой, и его можно не принимать в расчет. Пусть интеллигенты пишут книги и картины, пусть сочиняют музыку и читают лекции (под недреманным присмотром). Это ничего, это не страшно. Главное, чтобы крестьянская и мещанская Россия (о чиновничьей и поминать не стоит) пребывала в «тишине и покое». Власть не понимала, что доведенная до абсурда охранительность заключает в самой себе разрушительный фермент. Люди, пребывающие в косности, невежестве, умственной лени, чрезвычайно податливы к любому новому учению, особенно радикальному и особенно радикально-нелепому. От косности до бунта — рукой подать, так как сидеть сиднем народ будет лишь до поры до времени. Власть не понимала, что жизнь не остановишь. Всегда нечто случается, и всякое непредвиденное событие в атмосфере «тишины и покоя» — это как гром с ясного неба. Случилась при коронации Николая II трагедия на Ходынском поле (не по чьему-либо злому умыслу) — и повергла Россию в шок. Случился про-

игрыш русско-японской войны — и повлек за собой первую революцию.

Толстой, как многие и многие, предвидел возможность национального взрыва. Он его боялся и стремился предотвратить, и как раз в этом была «его вера». Толстой уповал на движение, но только нравственное, а не социальное. «Разум, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уж никак нельзя отрицать. Следование разуму для достижения блага — в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа, и его-то, то есть разум, отрицать разумом уже никак нельзя».

Что же подсказывал Толстому разум? Что благоденствие России на его памяти росло — пусть медленно, с запаздыванием, но все же росло. Людьми не торговали, их меньше и реже секли, их учили в земских школах и лечили в земских больницах... И наряду с этим в России зримо умножалось зло и бесовство. Во время первой революции Толстой вспоминал, как гордился когда-то перед европейцами, что в России по закону не было смертной казни; что «недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли во всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то».

Что же теперь, после 9 января 1905 года? Теперь — кровь и смерть, «не убийство, не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства». Убивают власти, убивают революционеры, сатанеет русская душа. И те и другие не послушали Толстого, презрели «его веру», не опомнились, не примирились друг с другом, не отказались от насилия, не обратились ни к разуму, ни к Христу (православному или «толстовскому»). Теперь люди сами идут в палачи, торгуются, назначая цену за голову. Это, положим, отребье. Но пора-

жены и души «средних людей». «Дети играют в повешение», «почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту». Эти люди, повзрослев или постарев, делали погоду и в 1917 году, и много позже.

Что ж, такова наша судьба. Культура не спасла Россию, не спасла ее и проповедь Толстого. Однако зло не вечно, оно тоже склонно к усталости, к маразму, оно уступает добру. И Толстой «воскресает», ибо он принес посильную лепту на алтарь добра.

Александр Панченко

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПСС — Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928—1958.

РМ — «Русская мысль», научный, политический и литературный журнал, изд. в Москве ежемесячно с 1880 по 1918 г.

ИСПОВЕДЬ

Заглавие «Исповедь» автобиографический трактат Толстого получил не сразу. Выделившийся из одной главы обширного изложения религиозно-философских воззрений, к которому Толстой приступил в октябре 1879 г., трактат был назван «Вступление к ненапечатанному сочинению». Это «Вступление...» должно было предварить знакомство читателя с работами «Исследование догматического богословия» и «Соединение и перевод четырех Евангелий».

«Исповедь» Толстого не укладывается в рамки устоявшихся канонов жанра. Как, впрочем, не укладывалась (в свое время и по-своему) в эти рамки и «Исповедь» Августина Блаженного¹. И так же, как эта последняя, отличается ярчайшим проявлением личности автора.

Вопрос о смысле жизни, не уничтожаемом неизбежностью смерти, становится для Толстого важнейшим

¹ См.: П и т и р и м, архиепископ Волоколамский. О Блаженном Августине//Богословские труды. 1976. Сб. 15. С. 3—24.

задолго до создания трактата. Русло поисков ответа на этот вопрос естественно обуславливалось идеей единения людей (стержневой в наследии писателя) и опорой Толстого на вечные начала нравственности: на первый план выдвигается проблема расхождения между идеалом нравственности и практической этикой людей.

Историческая ретроспектива этой проблемы уходила в далекие века. Ее решение — и философской, и художественной мыслью разных времен и народов — связывалось всегда с исследованием существующих представлений о добродетели, поскольку именно ими определялись не только пути к общему благу, но и само его осмысление.

Понимание добродетели исторически менялось. Четырем основным добродетелям древнегреческих этических концепций — мудрости, мужеству, справедливости и умеренности — христианская этика противопоставила веру, надежду, любовь, обуславливающие сущность всех остальных устремлений к добру. Тем не менее с понятием добродетель и в древнем, и в новом мире неизменно связывались положительные нравственные качества личности. Столь же неизменной оставалась и проблема извращенных представлений о добродетели, внешне противостоящих пороку, но внутренне тождественных ему. Длительная традиция исключительно пристального внимания к этой проблеме была Толстому, разумеется, хорошо известна (Сократ, Монтень, Руссо, Гоголь и т. д.).

Извращение представлений о добродетели связывалось Толстым с той социальной общностью людей, которая именовалась им сословием образованным; бытие истинной добродетели — с миром крестьянским, с русским трудовым народом.

Эта социально-нравственная антитеза, оформившаяся в начале творческого пути Толстого, и предопределила собою последующее уяснение писателем источников духовного самосозидания и осмысления им «истинного» христианства как гуманистического учения, общечеловеческого по своей нравственной первооснове.

Устранение расхождений между существующим и должным Толстой ставил (с начала творческого пути) в прямую зависимость от внутреннего усилия личности и тем самым

утверждал нравственное совершенствование в качестве главного начала в движении от зла к добру. В 1891 г., возвращаясь к этой проблеме, Толстой писал: «Свободы не может быть в конечном, свобода только в бесконечном. Есть в человеке бесконечное — он свободен, нет — он вещь. В процессе движения духа совершенствование есть бесконечно малое движение — оно-то и свободно, — и оно-то бесконечно велико по своим последствиям, потому что не умирает» (ПСС. Т. 52. С. 12).

Идея «подвижности личности» по отношению к истине обуславливала веру писателя в возможность преодоления извращенных представлений о добродетели. А самый процесс этого преодоления (не только в его этапных стадиях, но и движении внутростадиальном) рассматривался им как изменение жизнепонимания человека¹, его отношения к миру.

Путь к новому жизнепониманию показан в «Исповеди» как ряд сменяющих друг друга состояний, завершающихся обретением веры². Вера определяется Толстым как сила жизни, как знание ее смысла. Период, который предшествует ее обретению, в духовном отношении неоднозначен. Исходное состояние этого периода покоится на признании всего существующего разумным, управляется соблазнами (то есть подобием добра)³, мотивируется желанием извращенно понимаемого общего блага и оправдывается общепринятым мне-

¹ О толстовской концепции жизнепониманий см.: Га- ла га п Г. Я. Л. Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л., 1981. С. 126—164.

² О понятии «вера» в творческом сознании Толстого см.: Ку п р е я н о в а Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М.; Л., 1966. С. 242—272.

³ В трактате «Христианское учение» (1894—1896) Толстой писал: «Соблазн... означает западню, ловушку. И действительно, соблазн есть ловушка, в которую заманивается человек подобием добра и, попав в нее, погибает в ней. Поэтому и сказано в Евангелии, что соблазны должны войти в мир, но горе миру от соблазнов и горе тому, чрез кого они входят» (ПСС. Т. 39. С. 143).

нием. Начиная с 1860-х гг., это мнение Толстой последовательно называет «царствующим», «так называемым», «извращенным» и «лжехристианским» (ПСС. Т. 13. С. 205; Т. 17. С. 360; Т. 28. С. 202). В тексте «Исповеди» с этим начальным периодом связаны «выходы» эпикурейства и неведения. В трактате «О жизни» он определяется как период «непробудившегося сознания» (ПСС. Т. 26. С. 344).

Состояние, к описанию которого писатель переходит далее, начинается с возмущений не разума, а сердца, ощущения духовной болезни и рождения внутренних противоречий. Отсюда — резкое ослабление власти соблазнов. Движение на этом отрезке пути сопровождается «остановками» жизни, чередованием «оживлений» и «умираний», раздвоенностью. Кризисная остановка, связанная с отрицанием жизни, объясняется в «Исповеди» признанием неразумности всего существующего, утверждением в тщете соблазнов и осмыслением жизни как обмана, зла и бессмыслицы. Именно на этой стадии и происходит осмысление уже отвергнутого жизнепонимания (или «подобия жизни») и символическое уподобление его соблазну «сладости». В тексте «Исповеди» с этим периодом движения личности от одного жизнепонимания к другому (в варианте трагического исхода этого движения) связан выход силы и энергии.

Сознание трудностей не только перехода от одного жизнепонимания к другому, но и поступательного движения внутри каждого из них и обусловило сосредоточенность Толстого (и художника, и публициста) в 60—70-е годы на исследовании той стадии духовной эволюции человека, которая предшествует обретению веры.

Жанр исповеди не явился в творческом движении Толстого чем-то неожиданным. Неодолимую потребность в самоанализе и исповеди он испытывал всегда. И то и другое — в его дневнике, который велся (с незначительными перерывами) на протяжении шестидесяти лет, в письмах, в незавершенных философских набросках 1860—1870-х гг. Наконец — во всем его художественном творчестве.

«Исповедь» Толстого стоит в одном духовно-психологическом ряду с «Исповедями» Августина Блаженного и Руссо.

«Исповедь» была написана Толстым в основном в конце 1879 г., переработана — к началу июля 1881 г., завершающий ее раздел относится к 1882 г.

Первая публикация «Исповеди» состоялась в журнале «Русская мысль» (1882, № 5) под заглавием «Вступление к ненапечатанному сочинению», с эпитафией: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях (Ап<остол> Пав<ел>). Посл<ание> к Рим<лянам>, 14: 1)» и предисловием редактора журнала С. А. Юрьева. Но журнал вышел в свет без трактата Толстого: духовная цензура запретила издание «Исповеди»; текст трактата был вырезан почти из всего тиража журнала и отправлен в Главное управление по делам печати; читающая Россия познакомилась с «Исповедью» по копиям с ее корректурных оттисков.

Под названием «Исповедь (Вступление к ненапечатанному сочинению)» трактат появился в первом отдельном издании: Женева, 1884. С мая 1885 г. это название употребляется и самим Толстым (см.: ПСС. Т. 63. С. 242). В России первое полное издание трактата «Исповедь» состоялось в 1906 г. (Всемирный вестник, № 1).

В настоящем издании «Исповедь» печатается по тексту: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1957. Т. 23. С. 1—59, с устранением опечаток и неточностей, подтвержденном автографами, авторизованными корректурами и текстом публикации в «Русской мысли» (после этой публикации к тексту «Исповеди» Толстой больше не возвращался).

С. 31. ...к ненапечатанному сочинению... — Имеются в виду религиозно-философский трактат «Исследование догматического богословия» (1879—1880, 1884) и работа «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880—1881). В первой редакции «Заключения» к «Исповеди» (1882) Толстой писал: «Это было написано мною три года тому назад. После этого я написал исследование догматического христианского богословия и изложение христианского учения, как я его понимаю. Эти части ненапечатанного сочинения, если они кому-нибудь нужны, будут напечатаны когда-нибудь, когда это будет возможно» (Государственный музей Л. Н. Толстого.

А II. Оп. 10. С. 1). «Исследование догматического богословия» было впервые опубликовано под заглавием «Критика догматического богословия» М. К. Элпидиным в Женеве: первая часть в 1891 г., вторая — в 1896 г. В России этот трактат вышел лишь в 1908 г. Книга «Соединение и перевод четырех Евангелий» была издана впервые также Элпидиным в Женеве: первый том — в 1892 г., второй — в 1893 г., третий — в 1894 г. (издание вышло со множеством опечаток). В России эта книга (без последней, заключительной главы) была опубликована лишь в 1906 г. в приложении к журналу «Всемирный вестник». В том же году книга была полностью издана Е. В. Герциком.

...18-ти лет... университета. — В 1844 г. Толстой поступил на восточный факультет Казанского университета. Через год — перешел на юридический факультет. Из университета вышел в 1847 г.

Володенька М. — Речь идет о Владимире Алексеевиче Милютине (1826—1855), впоследствии — профессоре государственного, а затем — полицейского права в Петербургском университете, брате военного министра Д. А. Милютина. Дружеские отношения между братьями Толстыми и Милютиными установились во время пребывания семьи Толстых в Москве, в 1837—1841 гг., когда у детей был общий учитель французского языка и латыни — Сен-Тома (см.: Русская литература. 1969. № 1. С. 117—118). Исследовательскую деятельность В. А. Милютин начал, еще будучи студентом, и сразу заявил о себе как о талантливом литераторе и ученом. Печатался, в частности, в «Отечественных записках», «Современнике». На двадцать девятом году жизни В. А. Милютин (вследствие личных причин) покончил с собой.

...это было в 1838 г. ... — Описанный Толстым случай произошел в 1839 г.

...старшие братья... — У Толстого было три старших брата — Николай (1823—1860), Сергей (1826—1904) и Дмитрий (1827—1856).

С. 32. *...прозвали почему-то Ноем.* — Ной — в преданиях иудаизма и христианства герой повествования о всемирном потопе, спасенный праведник и строитель ковчега; спаситель мира зверей и птиц. через своих сыновей родоначаль-

ник всего послепотопного человечества (см.: Бытие, 5; 29, 6: 9—19).

Мусин-Пушкин. — Речь идет о Михаиле Николаевиче Мусине-Пушкине (1795—1862), попечителе Казанского учебного округа в 1829—1845 гг., впоследствии, с 1845 г. — попечителе С.-Петербургского учебного округа, с 1849 г. — сенаторе.

...Давид плясал перед ковчегом. — Давид — царь Израильско-Иудейского государства (X в. до н. э.); ветхозаветное повествование о котором (Первая книга Царств, 16; Третья книга Царств, 2, 11; Первая книга Паралипоменон, 10—29) придало ему черты эпического героя, царя-воителя. Согласно ветхозаветному преданию, Давид в юности был пастухом, искусным поэтом и музыкантом; по одной из версий, он успокаивал царя Саула игрой на гуслях. Ковчег Завета, о котором идет речь, — ковчег откровения; в нем хранились скрижали или десятословие, данное Богом и служившее выражением его воли, Заветом между Богом и народом израильским. Став царем и завоевав Иерусалим, Давид перенес туда свою резиденцию и Ковчег Завета. О плясках Давида перед Ковчегом во время перевозки последнего в Иерусалим см.: Вторая книга Царств, 6: 16, 21.

...читал Вольтера... веселили меня. — Вольтер (настоящее имя — Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) — французский писатель, философ, историк. Против официальной церкви направлены очень многие его сочинения («Эдип», «Фанатизм, или Магомет-пророк», «Заира», «Генриада», «Век Людовика XIV», «Опыт о нравах и духе народов» и др.). Одну из едких насмешек Вольтера над церковными догматами Толстой вспоминает в работе «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1901—1902). В своем осмыслении «ополчения» философии XVIII века на церковь и духовенство Толстой был близок к точке зрения известного французского историка А. Токвиля. В работе «Старый порядок и революция», прочтенной Толстым в 1856 г., Токвиль, в частности, писал: «Философия XVIII века <...> была проникнута безверием. Но в ней необходимо тщательно различать две совершенно разнородные и независимые части <...> Философы XVIII века принялись с

какою-то яростью за церковь <...> Христианство загло эту страстную ненависть к себе не столько в качестве религиозной доктрины, сколько в качестве политического учреждения» (Старый порядок и революция. СПб., 1860. С. 14—15).

С. 33. *...учат катехизису...*— Катехизис (греч.; буквально — устное наставление, оглашение) — книга, содержащая краткое изложение христианского вероучения, обычно в форме вопросов и ответов, предназначенная для начального религиозного обучения верующих.

...в бытии у причастия.— Причащение — главное из христианских таинств. К причастию в православной церкви допускаются все ее члены, после должного приготовления исповедью и покаянием.

...рассказывал С. ...— брат Толстого Сергей Николаевич. «Старший брат», упоминаемый далее, — Н. Н. Толстой. Точные слова, сказанные старшим братом, были: «А ты еще все делаешь этот намаз?» (ПСС. Т. 23. С. 489).

С. 35. *...вера моя... я считал совершенствованием.*— Значимость проблемы нравственного самосовершенствования для молодого Толстого засвидетельствована его дневником, начатым в 1847 г. (и с 1850 г. ведшимся систематически до конца жизни). философскими набросками, «Журналом ежедневных занятий» и многочисленными «Правилами»: для развития воли (телесной и чувственной), для подчинения воле чувств самолюбия и корыстолюбия, для развития деятельности (умственной и чувственной), для развития способности «приводить выводы в порядок» и т. д., и т. д. (см.: ПСС. Т. 1. С. 245—249; Т. 46). В центре внимания молодого Толстого — проблема всестороннего развития человека, который бы способствовал всестороннему развитию человечества (см.: Б у р с о в Б. И. Лев Толстой: Идеиные искания и творческий метод. 1847—1862. М., 1960).

С. 36. *Добрая тетушка моя...*¹ Имеется в виду Татьяна Александровна Ергольская (1792—1874). Отмечая ее благотворное влияние, Толстой писал в посвященной Т. А. Ергольской главе «Воспоминаний»: «Она научила меня духовному наслаждению любви» (ПСС. Т. 34. С. 366).

Я убивал людей на войне...— Толстой участвовал в военных действиях на Кавказе в 1851—1853 гг., в 1854 г.

служил в Дунайской армии, с ноября 1854 г. по август 1855 г. защищал осажденный Севастополь.

...вызывал на дуэли...— Известны два таких случая. Первый — вызов на дуэль 19 марта 1856 г. М. Н. Лонгинова, в то время сотрудника «Современника», позднее — начальника Главного управления по делам печати. Толстой был оскорблен содержанием письма Лонгинова к Н. А. Некрасову, в котором выражалось сомнение в свободомыслии Толстого. Некрасов показал ему письмо, не прочтя его. Инцидент был улажен Некрасовым (см.: ПСС. Т. 60. С. 75—76). Второй раз на дуэль был вызван И. С. Тургенев после ссоры Толстого с ним в имени А. А. Фета (27 мая 1861 г.): на критическое замечание Толстого, связанное с воспитанием дочери Тургенева, реакция последнего была неадекватно несдержанной. Дуэль не состоялась (см.: Там же. С. 391—395).

...проигрывал в карты... которого бы я не совершал...— Здесь и ниже — пристрастно-самокритичные оценки Толстым малейших отступлений от нравственного идеала. Аналогичное отношение к собственным слабостям на пути совершенствования зафиксировано в раннем дневнике писателя, где с целенаправленным вниманием к собственным отступлениям от идеала связывается результативность движения на пути самосовершенствования. Такое восприятие негативных сторон поступков совершенствующей себя личностью находилось в русле общемировой духовной традиции, Толстому известной (Руссо, Жан де Лабрюйер, В. Франклин, К. Цюкке и т. д.).

В это время... смысл моей жизни.— Это суждение во многом предваряет тот своеобразный обвинительный приговор нерезультативности (в максимальном смысле) воздействия культуры на нравственный мир человека, который был вынесен Толстым в трактате «Что такое искусство?» (1898). Размышляя о задачах искусства еще до завершения повести «Детство», Толстой отмечал в одном из философских набросков 1851 г.: «Для чего пишут люди? Для того чтобы приобрести кто денег, а кто славы, а кто и то и другое; некоторые же говорят, что для того, чтобы учить добродетели людей <...> Единственный способ, чтобы быть счастливым, есть добродетель,

следовательно благоразумно только читать <...> те книги, которые учат добродетели» (ПСС. Т. 1. С. 246). Первое опубликованное произведение Толстого — повесть «Детство»; она появилась в № 9 «Современника» за 1852 г.

С. 37. *Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург...*— Толстой приехал в Петербург 19 ноября 1855 г., после Крымской войны, в возрасте двадцати семи лет.

С. 37—38. *...я стал замечать... друг против друга.*— Имеются в виду, в частности, разногласия между революционно-демократическим крылом журнала «Современник» (Некрасов, Чернышевский) и так называемым «бесценным триумvirатом», писателями В. П. Боткиным, А. В. Дружининым, П. В. Анненковым, сторонниками «чистого искусства» (см.: Э й х е н б а у м Б. М. Лев Толстой. Кн. первая. 50-е годы. Л., 1928. С. 220—235).

С. 39. *...все, что существует, то разумно.*— Осмысленные личностью этого философского положения (в истоках своих восходящего к Гегелю — см. предисловие к «Философии права», 1821) ложится в основание толстовской концепции жизнепониманий, получившей наиболее полное логическое освещение в трактате «Царство Божие внутри вас» (1893) и статье «Религия и нравственность» (1893). Признание этого положения, опора на него, объединяет, по мысли Толстого, два низших жизнепонимания — личное (или животное) и общественное (или языческое). Первое из них преследует цель удовлетворения воли отдельной личности, второе — воли избранной совокупности людей. Высшее (или божеское, всемирное) жизнепонимание покоится, по Толстому, на убеждении в неразумности и несовершенстве всего существующего и одновременном утверждении неизбежности движения от неразумности к разумности. Цель этого жизнепонимания — исполнение нравственного закона, вложенного в душу каждого человека. «Двигатель» жизни — бескорыстная любовь.

С. 40. *...до моей женитьбы.*— До 23 сентября 1862 г., когда Толстой женился на Софье Андреевне Берс.

...я поехал за границу.— Первая заграничная поездка Толстого состоялась в 1857 г. Он выехал из Москвы 29 янва-

ря, вернулся в Петербург 30 июля. Во время поездки посетил Францию, Швейцарию, Германию.

С. 41. *Только изредка... в наше время суеверия...*— Наиболее ярко это «возмущение» чувства проявилось в этот период в рассказе «Люцерн» (1857).

...вид смертной казни... а я своим сердцем.— 25 марта (6 апреля) 1857 г. в Париже Толстой присутствовал при гильотинировании убийцы. Вечером в толстовском дневнике появилась запись: «Больной встал в 7 час(ов) и поехал смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица! — Сильное и недаром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу... Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться» (ПСС. Т. 47. С. 121—122). О впечатлении, произведенном на него «видом» смертной казни, Толстой в тот же день писал В. П. Боткину (см.: ПСС. Т. 60. С. 167—169); позднее — в трактате «Так что же нам делать?» (1882—1886): «Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки<...>, но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире» (ПСС. Т. 25. С. 190).

...смерть моего брата.— Николай Николаевич Толстой скончался 20 сентября 1860 г. в Гиере от туберкулеза. Л. Толстой писал в «Воспоминаниях»: «Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый

юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивос, высоко нравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства» (ПСС. Т. 34. С. 386). Потрясенный смертью брата, Толстой писал в дневнике 13 октября 1860 г.: «Скоро месяц, что Николенька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие... Николенькина смерть — самое сильное впечатление в моей жизни» (ПСС. Т. 48. С. 29—30).

С. 41—42. *...занятие крестьянскими школами... они хотят.*— Толстой занимался педагогической деятельностью в течение 1859—1862 гг. Первая его попытка организовать школу для крестьянских детей относится, однако, еще к 1849 г. Решение крестьянского вопроса рассматривалось Толстым как составная часть проблемы совершенства человеческой личности. Толстой стремился не только приобщить крестьянских детей к общечеловеческой культуре, но хотел увидеть в их общении между собой и учителем те чисто человеческие отношения, которые, по его мысли, должны порождать общность духовного мира людей разных социальных положений. Основным принципом педагогической системы Толстого было отсутствие всякого принуждения по отношению к учащимся со стороны учителя (см.: Б у р с о в Б. И. Лев Толстой: Идеиные искания и творческий метод. С. 305—335).

С. 42. *...я другой раз поехал за границу...*— Вторично Толстой выехал за границу 2 июля 1860 г., вернулся — 12 апреля 1861 г., побывав в Германии, Франции, Англии, Бельгии.

...заняв место посредника...— Толстой был назначен мировым посредником 4-го участка Крапивенского уезда Тульской губернии 16 мая 1861 г. Институт мировых посредников был введен после отмены крепостного права для разрешения спорных вопросов между помещиками и крестьянами. Исполняя посреднические обязанности, Толстой всегда вставал на сторону крестьян, чем вызвал озлобление всего крапивенского дворянства.

...стал учить... начал издавать.— В 1862 г. Толстой издавал журнал под названием «Ясная Поляна. Школа. Журнал педагогический» (№ 1—12). Толстой опубликовал в нем одиннадцать статей. В центре его внимания были преж-

де всего две проблемы: постановка дела народного образования в разных странах и в разные эпохи; методы обучения в Яснополянской школе (см.: Купреянова Е. Н. Публицистика Л. Н. Толстого начала 60-х гг. (Педагогические статьи) / Яснополянский сборник. Тула, 1955. С. 85—125).

С. 43. *...поехал в степь к башкирам...*— Речь идет о поездке в Самарскую губернию на кумыс. Толстой выехал 14 мая 1862 г., вернулся — 31 июля. Около двух месяцев он жил в башкирском кочевье на Каралыке в Николаевском уезде Самарской губернии (см.: Морозов В. С. Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы. М., 1917. С. 89—123).

...я женился.— См. примеч. к с. 40.

С. 44. *Так я жил... Зачем? ну а потом?* — Первый мучительный приступ тоски был пережит Толстым вскоре после окончания «Войны и мира», в сентябре 1869 г., по дороге в Пензенскую губернию и описан впоследствии в рассказе «Записки сумасшедшего» (1884—1886). Мотивы «Исповеди» явственно ощутимы в дневнике Толстого 1870-х гг. Так, к февралю 1874 г. относится следующая дневниковая запись: «Проживя под 50 лет, я убедился, что земная жизнь ничего не дает, и тот умный человек, который взглянется в земную жизнь серьезно, труды, страх, упреки, борьба — *зачем?* — ради сумасшествия, тот сейчас застрелится, и Гартман и Шопенгауэр прав. Но Шопенгауэр давал чувствовать, что есть что-то, отчего он не застрелился. Вот это *что-то* есть задача моей книги. Чем мы живем?» (ПСС. Т. 48. С. 347). Психологически этапным в движении к «Исповеди» является письмо Толстого к Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 г., где стягиваются в единый узел ряд важнейших проблем будущего «Вступления к ненапечатанному сочинению»: «Я вам посылаю то, что я написал вроде предисловия к задуманному мною философскому сочинению. Вы увидите из этого, что из 3-х вопросов Канта [1. Что могу я знать? 2. Что должен я делать? 3. На что я имею право надеяться? — в «Критике чистого разума». — Г. Г.] меня (...) занимает только, и с детства занимал, один последний вопрос — на что мы можем надеяться? (...) Для всякого

мыслящего человека все три вопроса нераздельно связаны в один — что такое моя жизнь, что я такое? Но каждому человеку инстинкт предчувствия, опыт ума — что хотите — указывает на то, какой из этих трех замков этих дверей легче отпирается, для какого у него есть ключ, или, может быть, к какой из дверей он приткнут жизнью; но несомненно то, что достаточно отворить одну из дверей, чтобы проникнуть в то, что заключается за всеми <...> Я знаю, что это очень дерзко и может показаться странным и легкомысленным — отвечать на такой вопрос на 2-х почтовых листиках бумаги, но я имею причины, по которым считаю, что не только могу, но должен это сделать. И сделал бы это, если бы я писал не письмо вам, близкому человеку, но если бы я писал свою profession de foi, зная, что меня слушает все человечество. Вот какие это причины...» (Там же. Т. 62. С. 219—220). Мотивы «Исповеди» внутренне организуют и ряд философских набросков Толстого середины 1870-х гг. — «О будущей жизни вне времени и пространства» (1875), «О душе и жизни ее...» (1875), «О значении христианской религии» (1875—1876), «Определение религии — веры» (1875—1876), «Христианский катехизис» (1877).

С. 45—46. *Жизнь моя остановилась... Если бы пришла волшебница... настоящей смерти — полного уничтожения.* — Ср. в письме к Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 г.: «Мне 47 лет <...> Я чувствую, что для меня наступила старость. Я называю старостью то внутреннее, душевное состояние, при котором все внешние явления мира потеряли для меня свой интерес <...> Если бы пришла волшебница и спросила у меня, чего я хочу, я бы не мог выразить ни одного желания. Если и есть у меня желания, как например: вывести ту породу лошадей, которых я мечтаю вывести, затравить 10 лисиц в одно поле и т. п., огромного успеха своей книге, приобрести миллион состояния, выучиться по-арабски и монгольски и т. п., то я знаю, что это — желания не настоящие, не постоянные, но что это только остатки привычек желаний и появляющиеся в дурные минуты моего душевного состояния. В те минуты, когда я имею эти желания, внутренний голос говорит уже мне, что желания эти не удовлетворят меня. Итак, я дожил до старости, до такого внутрен-

него душевного состояния <...>, в котором нет желаний и впереди себя не видишь ничего, кроме смерти» (ПСС. Т. 62. С. 226).

С. 47. *...жизнь моя есть... глупая и злая шутка.*— Перефразировка заключительных строк стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно...» (1840):

И жизнь, как посмотришь с холодным
вниманьем вокруг,—
Такая пустая и глупая шутка...

Ср. в письме Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 г.: «...первое испытанное мною чувство, когда я вступал в старость, было недоумение, потом ужас, тяжелое чувство отчаяния и в том, что бойкая фраза поэта не есть фраза, а что действительно жизнь есть пустая и глупая шутка, которую кто-то подшутил над нами» (ПСС. Т. 62. С. 227). Ср. в письме к А. А. Фету от 10—15 октября 1880 г.: «Как же мне не любить, не верить и не следовать тому свету, при котором <...> то, вследствие чего весь мир живых людей является не какой-то злой шуткой кого-то, а той средой, в которой осуществляется вместе и разумение, и высшее благо. Такой свет мне дает Евангелие» (Там же. Т. 63. С. 29). Мотив уподобления жизни глупой шутке, разыгранной чужою волей, присутствует уже в черновой разработке монолога Андрея Болконского в канун Бородинского сражения в «Войне и мире» (1863—1869): «Глупо, когда не понимаешь, мерзко, когда понимаешь всю эту шутку» (Там же. Т. 14. С. 105).

С. 48. *...придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей...*— Ко времени написания «Исповеди» Толстой пережил смерть отца, Николая Ильича (1794—1837); бабушки, Пелагеи Николаевны Толстой (1762—1838); тетушек Александры Ильиничны Остен-Сакен (1797—1841), Татьяны Александровны Ергольской (1792—1874) и Пелагеи Ильиничны Юшковой (1801—1875); братьев Дмитрия и Николая; зятя Валериана Петровича Толстого (1813—1865); сыновей — Петра (1872—1873) и Николая (1874—1875).

Вот именно... жестоко и глупо.— См. примеч. к с. 47.

Давно уже рассказана восточная басня...— Притча о путнике входит в состав санскритского сборника повестей, басен и назидательных сентенций, известного под названием «Панчатантры» (Пятикнижия), относящегося предположительно к периоду между II в. до н. э. и VI в. В VI в. сборник был переведен на сирийский, позднее — на арабский язык. Арабский перевод послужил источником для распространения притчи с Востока на Запад (см.: Буслеев Ф. И. *Перехожие повести // Мои досуги. М., 1886. Т. 2*). Под заглавием «Притча святого Варлаама о временном сем веце» она была помещена в «Прологе» — под 19 ноября (см. ниже, примеч. к с. 103). Эта притча была широко известна и в стихотворном переложении В. А. Жуковского («Две повести. Подарок на Новый год издателю «Москвитянина», 1844).

С. 49. *И я пытаюсь сосать тот мед...*— На «сцеплении» реального ощущения «зла и бессмыслицы» жизни и условно-символического уподобления ее физиологической потребности в «сладоности» покоится художественное решение предсмертного внутреннего монолога Анны Карениной. Один из ведущих мотивов ее монолога: «Все неправда, все ложь, все обман, все зло» (ПСС. Т. 19. С. 347). Второй — «Всем нам хочется сладкого, вкусного» (Там же. С. 340). Соблазн «сладоности» осознается как символ всеобщего смысла жизни, ведущей к человеческому разъединению.

С. 51. *Ужас тьмы...*— здесь: ужас смерти.

С. 53. *Метафизика*— (греч., буквально — после физики) — наука о сверхчувственных принципах и началах бытия.

С. 55—56. *...человечество идет к высшему благу... в чем состоят идеалы человечества...*— В «Опытах» Монтеня, с которыми Толстой, познакомившись в 1860 г., не расставался до конца жизни, отмечалось, например (с прямой отсылкой на труд Цицерона «О высшем благе и высшем зле»): «Философы ни о чем не спорят так страстно и так ожесточенно, как по поводу того, в чем состоит высшее благо человека; по подсчетам Варрона существовало двести восемьдесят восемь школ, занимавшихся этим вопросом <...> Одни говорят, что наше высшее благо состоит

в добродетели; другие — что в наслаждении; третьи — в следовании природе; кто находит его в науке, кто — в отсутствии страданий, а кто в том, чтобы не поддаваться видимостям...» (Монтень М. Опыты. М., 1979. Кн. 2. С. 510). Самим Толстым высшее благо мыслилось как единение людей.

С. 56. *...это таинственное человечество...* Еще в 1865 г. в наброске «О религии» Толстой писал: «Человечество есть одно из тех понятий, которые мы можем себе только выразить, но владеть которым мы не можем: человечество есть ничто, и потому-то, как скоро в наших мысленных формулах мы введем понятие человечества, мы точно так же, как в математике, введя бесконечно малое и великое, получаем произвольные и ложные выводы» (ПСС. Т. 7. С. 126). Специальное внимание этой проблеме Толстой уделяет в трактате «Царство Божие внутри вас»: «Есть государство, народ, есть отвлеченное понятие: человек, но человечества, как реального понятия, нет и не может быть <...> Где предел человечества? Где оно кончается или начинается? Кончается ли человечество дикарем, идиотом, алкоголиком, сумасшедшим включительно <...> Любовь к человечеству, логически вытекающая из любви к личности, не имеет смысла, потому что человечество — фикция» (ПСС. Т. 28. С. 83, 296). Ср. близкие к этому суждению высказывания А. И. Герцена в главе «Роберт Оуэн» шестой главы «Былого и дум»: «Слово «человечество» препротивное: оно не выражает ничего определенного <...> Какое единство разумеется под словом «человечество»? Разве то, которое мы понимаем под всяким суммовым названием, вроде икры и т. п.» (Герцен А. И. Собр. соч. М., 1957. Т. 11. С. 251; см. также: М., 1955. Т. 6. С. 84) и Ф. М. Достоевского в «Записной тетради» 1872—1875 гг.: «Кто слишком любит человечество вообще, тот, большею частью, мало способен любить человека в частности» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 264).

С. 61. *...в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией...* — А. Шопенгауэр (1788—1860) — немецкий философ-идеалист. Имеется в виду его суждение в предисловии ко второму изданию

книги «Мир как воля и представление» (1844) (см.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. А. А. Фета. СПб., [Б. д.] Изд. 4-е. С. XXV—XXVIII). Касаясь сходных проблем в письме к Н. Н. Стрехову 30 ноября 1875 г., Толстой подчеркивал: «Самые предметы, которыми занимается философия,— жизнь, душа, воля, разум, не подлежат рассечению, устранению известных сторон <...> При философском изложении невозможно переопределять тех понятий, из которых слагается философское знание, невозможно урезывать эти понятия, а нужно оставлять их во всей их цельности, так как это понятия, приобретаемые непосредственно, и потому невозможно из этих понятий строить цепь какой бы то ни было необходимости. Все эти понятия не подчиняются ни одному из выставленных Шопенгауэром положений о достаточном основании. Все эти понятия не подлежат логическим выводам, все они равны между собой и не имеют логической связи; и вследствие того убедительность философского учения никогда не достигается логическими выводами, а достигается только гармоничностью соединения в одно целое всех этих нелогических понятий, то есть достигается мгновенно, без выводов и доказательств <...> В подтверждение этого положения я прошу вас вспомнить недействительность философских научных теорий и действительность и силу религий не на одни грубые и невежественные умы, как вы сами знаете <...> Философия, в личном смысле, есть знание, дающее наилучшие возможные ответы на вопросы о значении человеческой жизни и смерти» (ПСС. Т. 62. С. 223—225).

...ответ, данный Сократом... — Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — древнегреческий философ. Приводимые ниже его суждения (с. 61, 66) — свободный и сокращенный перевод двух выдержек из глав XI и XII диалога Платона «Федон». Выдержки из этого диалога были включены Толстым в «Круг чтения» (1904—1908). Подробнее об отношении Толстого к Сократу см.: Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой: Художественно-этические искания. Л., 1981. С. 32—34.

...ответ, данный... Шопенгауэром... — Приводимая ниже выдержка (с. 61—62) — толстовский перевод части заключи-

тельного, 71-го параграфа книги Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung» («Мир как воля и представление»), прочтенной писателем в оригинале.

...ответ, данный... Соломоном... — Соломон (евр. — мирный, благодатный) — третий царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965—928 до н. э.), изображенный в ветхозаветных книгах величайшим мудрецом всех времен. Ему приписывается авторство книг Притчей Соломоновых, Екклесиаста, Песни Песней. Ниже (с. 62—65) приведены выдержки из «Книги Екклесиаста, или Проповедника» (1: 2—4, 9—14, 16—18; 2: 1—12, 14—18, 22—24; 9: 2—6).

С. 65—66. *Сакиа-Муни... уничтожить жизнь совсем, в корне.* — Шакьямуни, индийский принц Сиддхарта Гаутама (сер. 1-го тыс. до н.э.), получивший впоследствии имя Будды, то есть пробужденного, просветленного, основатель буддизма, одной из трех мировых религий наряду с христианством и исламом. Характерной особенностью буддизма является его этико-практическая направленность; в качестве центральной проблемы буддизм выдвигает проблему бытия личности; стержнем содержания буддизма является проповедь Будды о «четырех благородных истинах»: страдание как факт, причина страдания, освобождение от страданий, путь, ведущий к освобождению от страданий. Личность Будды интересовала Толстого до конца жизни. Так, в частности, к концу 1885—1886 гг. относится его незавершенный замысел «Сиддарта, прозванный Буддой, то есть святым. Жизнь и учение его»; позднее — для «Круга чтения» (1904—1908) им пишется статья «Будда». Издательство «Посредник» выпускает в 1911 г. книгу П. А. Буланже «Жизнь и учение Сиддарты Готама, прозванного Буддой». См. также: Шифман А. И. Лев Толстой и Восток. М., 1971. С. 113—225.

С. 68. *«И похвалил я веселье... ни знания, ни мудрости».* — Приведена выдержка из ветхозаветной «Книги Екклесиаста, или Проповедника» (8: 15; 9: 7, 9, 10).

С. 69. *...философия, которую они называют позитивной...* — Позитивизм (фр. positivisme, от лат. positivus — положительный), философское направление, основанное на признании подлинным (позитивным) знанием лишь результата отдельных специальных наук и их синтетического объе-

динения. В письме к Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 г. Толстой писал: «...стоит только почитать все те книги, на обертках которых написано «философия», для того чтобы найти во всех этих книгах именно то свойство, которое, по моим словам, чуждо философии. Это происходит, во-первых, оттого, что многие из этих книг вовсе не философия, как все позитивистические сочинения такого рода (<...>), которые, ставя низко и потому неверно цель философии, с полной строгостью применяют к философии общий научный метод и вполне достигают своей цели; но по существу своей цели остаются вне философии» (ПСС. Т. 62. С. 221—222).

С. 75—76. *Это Бог 1 и 3...* — Толстой имеет в виду троичность Божества.

С. 77. *...то знание, которое, как это сделал Декарт... во всем...* — Декарт Рене (1596—1650) — французский философ и математик, представитель классического рационализма. Речь идет о его труде «Начала философии» (1644). С этим трудом Толстой знакомится по статье Н. Н. Стрехова «Об основных понятиях психологии» (Журнал министерства народного просвещения. 1878. № 5. С. 31—35). В письме Н. Н. Страхову от 30 ноября 1875 г. Толстой писал: «...Сознание того, что моя жизнь не может быть шутка, то сознание, из которого Декарт пришел к доказательству существования Бога, выразил убеждением в том, что не мог Бог подшутить над нами, это сознание воспротивилось во мне, как оно воспротивится и во всяком человеке в признании бессмысленности жизни разумного существа. Сознание это заставило меня усумниться в том, что я разумно понимал смысл жизни» (ПСС. Т. 62. С. 227).

С. 78. *Брамины* — жреческая и с древних пор первенствующая каста в Индии. Ортодоксальное учение браминов ставит целью достижение конечной свободы и блаженства в зависимость от полного познания природы Божества, приобретаемого путем полного отвлечения ума от всего земного и сосредоточения его на размышлении о Божестве, что, в свою очередь, предполагает полное подавление всех чувственных стремлений путем умерщвления плоти.

С. 79. *...«обличение вещей невидимых»...* — См.: Послание апостола Павла к евреям (11: 1).

С. 82. *Буддизм.* — См. примеч. к с. 65—66.

Магометанство. — Магомет — устаревшая транскрипция имени Мухаммеда (570?—632), основателя ислама (араб., букв.— покорность, предание себя воле (Бога)), одной из наиболее распространенных религий мира, почти не знающей стремления преодолеть или преобразить человеческую природу, направленной на упорядочение и освещение житейских данностей.

...к православным богословам нового оттенка... — Имеются в виду труды славянофилов А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина. После знакомства с работой Ю. Ф. Самарина «Два письма об основных истинах религии. По поводу сочинений Макса Мюллера: «Введение в сравнительное изучение религий» и „Опыты по истории религий“» Толстой писал Н. Н. Страху 17—18 мая 1876 г.: «В ней хорошо доказательство, основанное на воздействии Бога на человека (хотя гегелианское) и на важности, которую человек приписывает своей личности» (ПСС. Т. 62. С. 276). О впечатлении, произведенном на него богословскими трудами А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина, см. в трактатах «Исследование догматического богословия» (гл. XIII) и «Царство Божие внутри вас» (гл. III). См. также примеч. к с. 98—99.

...к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. — В 1874 г. в Петербурге неоднократно выступал с проповедями английский проповедник оправдания верой Гренвил Редсток. Отрицая значимость добрых дел для прощения грехов, он развивал идею о том, что грехи могут быть смыты лишь святою кровью, уже пролитой и очищающей всякого, кто принимает Христа как единого Спасителя и ходатая между Богом и человечеством. Толстой был знаком и состоял в 1876 г. в переписке с одним из последователей Редстока — гр. А. П. Бобринским, в 1871—1874 гг. — министром путей сообщения. Сведения о лорде Редстоке сообщила Толстому и А. А. Толстая, фрейлина двора, в письме от 28 марта 1876 г., где отмечала, что проповедник «природу человеческую вовсе не знает и даже не обращает на нее внимания» (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб., 1911. С. 267). В седьмой части «Анны Карениной» (гл. XXI—XXII) исповедующие спасение верою изображаются в комическом виде.

С. 87. *...люди более возлюбили тьму... не обличились дела его.* — См. Евангелие от Иоанна (3: 19—20).

С. 91. *...вытекало не из моего хода мыслей... но оно вытекало из сердца.* — Первые сомнения Толстого в «пути мысли» относятся еще к середине 1850-х гг. В марте 1856 г. он записывает в дневнике: «Главная моя ошибка в жизни состояла в том, что я позволял уму становиться на место чувства, и то, что совесть называла дурным, гибким умом, переводить на то, что совесть называла хорошим» (ПСС. Т. 47. С. 68). В незавершенном философском наброске начала 1860-х гг. «О характере мышления в молодости и старости» Толстой говорит о неизбежности встречи на «пути мысли» с «непонятным, неразрешимым, необъятным» (Там же. Т. 7. С. 12). А в наброске «О религии» (1865) все это «неразрешимое» и «непонятное» (Там же. Т. 17. С. 374, 376, 379) ставит в прямую связь с главным вопросом человечества: «Что я? Зачем я живу? Что будет после смерти?» (Там же. Т. 7. С. 124). «Путь мысли», «ход мысли» находит эстетическое осмысление в «Войне и мире» (Безухов, Болконский), в «Анне Карениной» (Левин). Чувство, «вытекающее» из сердца, Толстой называет в середине 1870-х гг. «знанием сердечным», а десятилетием позднее главным началом постижения высшей формы нравственного называет «разумение» или «разумное сознание», которое мыслится им как синтез знаний «сердечного» и «разумного» (Там же. Т. 26. С. 367; Т. 27. С. 535).

...я вполне был убежден... (Кант доказал мне... что доказать этого нельзя)... — И. Кант (1724—1804) — немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии. В его труде «Критика чистого разума» (1. Трансцендентальное учение об элементах. Гл. III. Секции 4—6) говорится о невозможности онтологического, космологического и физико-биологического доказательства существования Бога.

...доводы... Шопенгауэра... — Доказательство бытия Божия рассматривается А. Шопенгауэром в работе «О четвертом корне закона достаточного основания» (гл. 2 § 7, 8; гл. 4 § 20).

С. 96. *...нужно жить по-Божьи... трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым.* — Ориентацией на самосози-

дающие ценности народного сознания ознаменован весь творческий путь Толстого, начиная с повести «Детство» (1852), где, выявляя источник духовного самотворчества личности, писатель утверждает в высоком нравственном содержании людей труда (бескорыстная любовь, терпение, отсутствие страха смерти). Слова «жизнь для души, по правде, по-Божьи» мужика Федора раскрывают Левину («Анна Каренина», 1873—1877) главную особенность народного сознания: отсутствие расхождений между идеалом нравственности и практической этикой.

Смысл этот народ черпает... в легендах, пословицах, рассказах. — Факт зависимости нравственных воззрений народа от хранимого и чтимого им «предания» подчеркивается в черновиках «Исповеди»: «Я понял, что верования народа питались и питаются двумя источниками: одним — чисто христианским, выраженным в излюбленных народом местах из Евангелия, переходящих из уст в уста иногда в внешне искаженном виде, в житиях подвижников и мучеников, в легендах, пословицах, рассказах и, главное, в самом предании жизни, примером подвигов жизни людей народа» (ПСС. Т. 23. С. 508).

С. 98—99. *...наши русские богословские сочинения... софизма, находящегося в этом рассуждении.* — См. примеч. к с. 82. В трактате «Царство Божие внутри вас» (1893) Толстой писал: «Хомяков утверждает, что церковь есть собрание людей (всех без различия — клира и паствы), соединенных любовью, что только людям, соединенным любовью, открывается истина (Возлюбим друг друга да единомыслием и т. д.) и что таковая церковь есть церковь, во-первых, признающая Никейский символ, а во-вторых, та, которая после разделения церквей не признает папы и новых догматов. Но при таком определении церкви является еще большее затруднение приравнять, как того хочет Хомяков, церковь, соединенную любовью, с церковью, признающей Никейский символ и правоту Фотия. Так что утверждение Хомякова о том, что эта соединенная любовью и, следовательно, святая церковь и есть самая, исповедуемая греческой иерархией, церковь, еще более произвольно, чем утверждение католиков и старых православных. Если допустить понятие церкви в том значении, которое дает ему Хомяков, то есть как собрание людей, соединенных любовью и

истиной, то все, что может сказать всякий человек по отношению этого собрания,— это то, что весьма желательно быть членом такого собрания, если таковое существует, то есть быть в любви и истине; но нет никаких внешних признаков, по которым можно бы было себя или другого причислить к этому святому собранию или отвергнуть от него, так как никакое внешнее утверждение не может отвечать этому понятию» (ПСС. Т. 28. С. 46—47). См. также следующее примеч.

С. 99. ...*в Никейском символе... выражение истины обязательным для единения.* — Никейский (правильнее — Никео-Цареградский) Символ веры — сконцентрированное изложение христианского вероучения, принятое церковью на двух Вселенских соборах: первом — в Никее в 325 г. и вторым — в Константинополе в 381 г. Символ веры был включен Толстым в третью часть «Азбуки» (1872). Комментируемый текст сопровождался в первой публикации «Исповеди» следующим редакционным примечанием: «Совершенно основательно, что «любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения». Любовь именно и исключает обязательность; известное выражение истины принимается верою, по любви, следовательно в том и другом случае свободно и в этом смысле не обязательно. Символ веры никому себя не навязывает, а если принимается, то свободно: если же не свободно, то это уже не вера, и вместе не любовь. Кто отвергает Символ, тот добровольно исключает себя из союза и общения любви христианской» (РМ. 1882. № 5. С. 323).

С. 100. ...*«Возлюбим друг друга да единомыслием»... «...и весь живот наш Христу-Богу предадим»...* — Толстой цитирует текст ектеньи, молитвенного прошения, возглашаемого священником или дьяконом во время богослужения.

Дальнейшие слова... не мог понять их. — Этот текст в первой публикации «Исповеди» сопровождается следующим редакционным примечанием: «Автор крайне заблуждается, если в выражении догмата троичности видит выражение математическое. Не только сущность и образ бытия абсолютного и бесконечного невыразимы вполне на языке человеческом; но даже эмпирическая наука, имеющая дело с чув-

ственными, конечными телами и явлениями, утверждая по необходимости существование атомов, вынуждена сообщить им такое определение, которое для рассудка и на языке математическом есть нелепость. И, несмотря на это, существование атомов принимается и не может не приниматься; ибо иначе нельзя объяснить ни физических, ни химических явлений» (РМ. 1882. № 5. С. 324).

...*молитвы о покорении под ножи врага и супостата...* — Речь идет об еще одном отрывке из ектеньи.

...*Херувимская...* — название одного из церковных песнопений, исполняемого во время литургии.

...*таинство проскомидии...* — Проскомидия — священнодействие, совершаемое во время первой части литургии, когда приготавливаются святые дары — хлеб и вино для Евхаристии (см. ниже).

...«*взбранный воеводе*»... — первые слова кондака из акафиста Богородице.

С. 101. ...*таинство Евхаристии...* — Евхаристия, или причащение — название одного из церковных таинств, признаваемого всеми христианскими вероисповеданиями. Оно совершается во время христианского богослужения — литургии. По учению церкви в Евхаристии святые дары — хлеб и вино — пресуществляются в тело и кровь Христа.

Остальные все двенадцать праздников... Покров и т. д. — Имеются в виду двенадцатые праздники, среди которых русская православная церковь числит следующие: Рождество Богородицы — 8 (21) сент., Воздвижение Честного и Животворящего Креста — 14 (27) сент., Введение во храм Богородицы — 21 нояб. (4 дек.), Рождество Христово — 25 дек. (7 янв.), Крещение (Богоявление) — 6 (19) янв., Сретение — 2 (15) февр., Благовещение — 25 марта (7 апр.) Преображение — 19 (26) авг., Успение Богородицы — 15 (28) авг., Вход в Господень Иерусалим или Вербное Воскресение, Вознесение; Праздник Святой Троицы (Пятидесятница). День Покрова празднуется 1 (14) окт.

...*я причащался в первый раз после многих лет.* — Это было в апреле 1878 г. (см. письмо Толстого к Н. Н. Страхову от 17 апр. 1878 г. — ПСС. Т. 62. С. 413).

С. 102. *Но когда я подошел... было невыразимо больно.* — Этот текст сопровождается в первой публикации «Исповеди» следующим редакционным примечанием: «Отрешившись от рационалистических и материалистических принципов, автор становится в противоречие с собою, когда в искании примирения с верою применяет к ее истинам те же рационалистические и материалистические основания. Ни догмат крещения, ни догмат воскресения, ни догмат Евхаристии не изъявляют притязаний на материалистическое основание. Автор, читавший Хомякова, может припомнить переданный последним отзыв сельского священника относительно католических объяснений Евхаристии: «И жаль, что они воображают, что принимают мясо Христово, а не тело Христово!» Автор заблуждается, если полагает, что Евхаристия предполагает материальное тело Христово» (РМ. 1882. № 5. С. 326).

С. 103. *...при чтении Четьи-Минеи...* — Четьи-Минеи — сборник житий святых православной церкви; жития и поучения на весь год расположены в них по дням каждого месяца. Четьи-Минеи складывались постепенно и неоднократно перерабатывались; в них включались сюжеты из «Прологов» (см. ниже). Толстой читал жития святых в 12-томном издании 1864 г. (это издание, с многочисленными пометами Толстого, хранится в яснополянской библиотеке). Хорошо известны Толстому были издание «Великие Минеи-Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием» и труд В. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871). Эта последняя книга, испещренная многочисленными пометами Толстого, сохранилась в яснополянской библиотеке. В третьей части «Азбуки» (1872) помещены два сюжета из макарьевских Четых-Миней («О Филагрии монахе» и «О дровосеке Мурине») и один — из Четых-Миней св. Дмитрия Ростовского («Житие преподобного Давида»).

...Прологов... — «Прологом» в древней Руси называлась книга, содержащая краткие жития святых и поучения. Первое печатное издание относится к 1642—1644 г., позднее — многократно перепечатывалось. Упомянутое Толстым житие Макария Великого помещено в «Прологе» под 19 янв.; житие Иосафа-царевича (христианский пересказ легенды о Буд-

де) — под 18 нояб.; «Слова Иоанна Златоуста» рассеяны по всей книге: «Слово о путнике в колодце» («Притча святого Варлаама о временном сем веще») — под 19 нояб.; «Слово о монахе, нашедшем золото» («О Филагрии мнисе, иже найде тысящу златник и возврати погубившему») — под 13 сент.; «Слово о Петре Мытаре» (Иоанна Милостивого) — под 22 сент. В яснополянской библиотеке хранится экземпляр «Пролога» в издании 1875—1876 гг. с многочисленными пометами Толстого. Проложный сюжет положен писателем в основу рассказа «Два брата и золото». Подробнее об использовании Толстым житийных сюжетов см.: Куприянов а Е. Н. Эстетика Л. Толстого. С. 272—289.

Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу... — Этот текст сопровождается в первой публикации «Исповеди» следующим редакционным примечанием: «Здесь также попытка мирить веру с рационалистическим и опытным знанием» (РМ. 1882. № 5. С. 326).

С. 104. ...отношение церкви православной... к католической... — Начало разделения церквей на православную и католическую было положено разрывом около 867 г. между папой Николаем I и константинопольским патриархом Фотием (главным образом из-за претензий обоих на главенство над церковью в Болгарии, а в области догматики — из-за добавления к Символу веры слов «filioque» — см. примеч. к с. 107). Созрело разделение православной и католической церквей к 1054 г. (конфликт византийской теологии священной державы и латинской теологии универсального папства). Попытки воссоединения православной и католической церкви, предпринимавшиеся в XIII—XV вв., оказались безуспешными. Основу вероучения православия, сформулированного в Символе веры (см. примеч. к с. 99, 107), составляют Святое писание (Библия) и Святое предание (традиция). Оно исходит из признания Троидного Бога, творца и управителя Вселенной, загробного мира, посмертного воздаяния, искупительной миссии Христа, открывшего возможность для спасения человечества, на котором лежит печать первородного греха. Церкви отводится роль посредника между Богом и людьми.

Молокане — русская рационалистическая секта, образовавшаяся из секты духоборцев. Название дано ей в 1765 г.

на том основании, что сектанты в пост пьют молоко. Молокане совершенно отрицали православную церковь, ее таинства и обряды, почитание святых, мощей и икон. Единственным источником вероучения признают Священное писание Ветхого и Нового Завета.

С. 105. *...отношение... пашковца...* — Пашковцы — последователи религиозных воззрений В. А. Пашкова, разделявшего учение лорда Редстока (см. примеч. к с. 82).

...отношение... шекера... — Шекары — религиозная секта в Северной Америке. Шекары выделились из квакеров в Манчестере, объединились и, переселившись в Северную Америку, обрели многих приверженцев. Основные правила их жизни — безбрачие, общее имущество и постоянный труд.

С. 106. *Я ездил к... схимникам...* — Схимпик — монах, принявший схиму, высшую монашескую степень в православной церкви, требующую от посвященного в нее выполнения суровых аскетических правил.

Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. — Имеется в виду так называемое «единоверие», то есть соединение старообрядцев с господствующей церковью при условии подчинения их православному духовенству и принятия церковнослужителей от православных архиереев. Богослужение же и таинства единоверцы совершают по старопечатным книгам и по старым обрядам. Единоверие возникло в конце XVIII в. по инициативе старообрядцев.

С. 107. *...filioque...* (лат., буквально — «и сына», прибавление к восьмому члену Символа веры) — догматическое расхождение католической церкви с православной (См.: Православный катехизис. Гл. «О восьмом члене». Православный церковный календарь. М., 1991. С. 91—92).

Собеседник мой... веру, переданную ей от предков. — Этот текст в первой публикации «Исповеди» сопровождался редакционным примечанием: «И совершенно справедлив ответ высокопоставленного духовного лица. Духовная власть не имеет права идти на уступки в исповедании. Такие уступки вызовут справедливые нарекания на представителей этой власти; ибо не в последних церковь, а во всех верующих...» (РМ. 1882. № 5. С. 329).

При Алексее Михайловиче сжигали на костре... — Алексей Михайлович (1629—1676) — второй царь из дома Романовых. Имеются в виду смертные казни (сожжение на костре) старообрядцев за религиозные убеждения. Именно так был казнен великий писатель протопоп Аввакум.

С. 108. *...война в России.* — Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 гг.

...убийство... юношей. — Речь идет о казнях революционеров-террористов, членов партии «Народная воля», особенно участвовавших с 1879 г.

С. 110. *...следующие части сочинения... будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.* — См. примеч. к с. 31.

...я на днях увидел сон. — По свидетельству самого Толстого, этот сон он действительно видел (см.: Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973. С. 102).

В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?

Трактат был впервые опубликован отдельным изданием в 1884 г., в Москве. Но в свет книга не вышла: на нее был наложен цензурный запрет. Так же, как и «Исповедь», трактат получил широкое распространение в рукописных, гектографированных копиях.

Первые полные издания трактата на русском языке появились за границей: в Женеве, без указания года; там же в 1888, 1892 и в 1900 гг.; в Берлине в 1902 г. В России трактат был полностью опубликован лишь в 1906 г. в журнале «Всемирный вестник» (№ 2).

В настоящем издании трактат «В чем моя вера?» печатается по тексту: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1957. Т. 23. С. 304—465, с устранением опечаток; в тексте трактата сохраняется толстовская система отсылок к Евангелию; толстовский перевод с греческого части извлечений из Евангелия специально не оговаривается.

С. 117. *Пять лет тому назад я поверил в учение Христа...* — См. выше «Исповедь» и примеч. к этому трактату.

С. 118. *Догматика* — сокращенное обозначение догматического богословия; систематическое изложение всей совокупности христианских догматов.

Гомилетика — наука об искусстве проповеди.

Патристика — термин, обозначающий совокупность теологических, философских и политико-социологических доктрин отцов и учителей церкви — христианских мыслителей II и последующих веков.

Литургика — наука о богослужении христианской церкви; по своему предмету принадлежит к области практического богословия; наименование получила от одной из церковных служб — литургии.

Герменевтика — искусство и теория истолкования текстов; у христианских писателей — искусство толкования Библии.

Апология — защитительная речь, защитительное письмо или сочинение, написанное в пользу обвиняемого лица. Апологетика — наука о защите христианской религии. Авторы сочинений, защищающих христианство, назывались апологетами.

...обращаться за разъяснениями... к Павлу... — Павел — в христианской традиции «апостол язычников»; не знавший Иисуса Христа во время его земной жизни и не входивший в число двенадцати апостолов, но в силу особого призвания и миссионерско-богословских заслуг почитаемый, наряду с Петром, как «первопрестольный апостол» и «учитель вселенной». Ему приписывается авторство 14 посланий, входящих в Новый Завет. Проповедь Павлом христианства нередко встречалась враждебно: его избивали палками, бросали в темницу; предание относит его смерть ко времени гонений Нерона на христиан (ок. 65 г.); он был казнен в Риме.

Климент. — Речь идет о Клименте Александрийском (ок. 150 — ок. 217) — знаменитом христианском ученом первых веков.

Златоуст — Иоанн Златоуст (347—407) — один из отцов Восточной церкви, с 397 по 404 гг. — архиепископ Константинопольский. См. также: Э к з е м п л я р с к и й В. И. Гр. Л. Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст в их взглядах на жизненное значение заповедей Христовых //

О религии Л. Толстого. Сборник второй. М., 1912. С. 76—113.

...разбойник на кресте поверил в Христа...— См. Евангелие от Луки, 15: 7, 10—32; 23: 39—43. Этот евангельский мотив устойчив в толстовском обосновании движения от существующего к должному. См., например, в трактате «Царство Божие внутри вас»: «Жизнь по учению Христа есть движение к Божескому совершенству... Увеличение жизни, по этому учению, есть только ускорение движения к совершенству. И потому движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте составляют высшую степень жизни, чем неподвижная праведность фарисея <...> Исполнение учения — в движении от себя к Богу» (ПСС. Т. 28. С. 79).

...душевное состояние отчаяния и ужас перед жизнью и смертью...— См. примеч. к трактату «Исповедь», с. 44.

С. 119. *...два большие сочинения... с объяснениями.*— См. примеч. к трактату «Исповедь», с. 31.

С. 120. *Работа эта продолжается... дополняю то, что сделано.*— Результатом этой работы явился ряд религиозно-философских статей и трактатов («О жизни» (1886—1887), «Царство Божие внутри вас» (1890—1893), «Религия и нравственность» (1893), «Христианское учение» (1894—1896), «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1901—1902), «Учение Христа, изложенное для детей» (1907—1908), «Не могу молчать» (1908), «Сущность христианского учения» (1896, 1908), «Единая заповедь» (1909) и др.).

С. 123. *...всегда выделялась для меня Нагорная проповедь.*— Нагорная проповедь — проповедь Христа (см.: Евангелие от Матфея, 5—7). Остановливаясь на своем понимании философского, нравственного и социального значения заповедей Нагорной проповеди, Толстой подчеркивал в трактате «Царство Божие внутри вас»: «1800 лет тому назад среди языческого римского мира явилось странное, не похожее ни на какое из прежних, новое учение, приписывавшееся человеку Христу. Новое учение это было совершенно новое как по форме, так и по содержанию, и для еврейского мира, среди которого оно возникло, и в особенности для того римского мира, среди которого оно проповедовалось и распространялось <...> Вместо всяких правил прежних исповеданий,

учение это выставляло только образец внутреннего совершенства, истины и любви в лице Христа и последствия этого внутреннего совершенства, достигаемого людьми, — внешнего совершенства, предсказанного пророками, — Царства Божия, при котором все люди разучатся враждовать, будут все научены Богом и соединены любовью и лев будет лежать с ягнёнком <...> Доказательств учения не выставлялось никаких, кроме истины, кроме соответствия учения с истиной. Все учение состояло в познании истины и следовании ей, в большем и большем постигновении истины и большем и большем приближении к ней в делах жизни. Нет по этому учению поступков, которые бы могли оправдать человека, сделать его праведным, есть только влекущий к себе сердца образец истины для внутреннего совершенства в лице Христа, а для внешнего — в осуществлении Царства Божия. Исполнение учения — только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему — подражания Христу, и внешнему — установления Царства Божия. Большее или меньшее благо человека зависит, по этому учению, не от той степени совершенства, до которого он достигает, а от большего или меньшего ускорения движения» (ПСС. Т. 28. С. 40—41). См. также главу «Нагорная проповедь» в работе «Соединение и перевод четырех Евангелий» (ПСС. Т. 24. С. 197—284).

С. 125. *...если не примете меня, как дети, не войдете в Царствие Божие...*— См.: Евангелие от Марка (10: 14, 15).

С. 126. *...И кто ударит тебя в правую щеку... подставь левую...*— См.: Евангелие от Матфея, 5: 39; от Луки, 6: 29.

С. 128—129. *Ученикам Христос говорит: будьте нищие... страдания и смерть.*— См.: Евангелие от Матфея, 5: 3—11.

С. 129. *...отгоняет от себя Петра...*— По новозаветному преданию, Петр пытался оказать вооруженное сопротивление пособникам иудейских старшин, которых привел Иуда Искариот: отсекает мечом ухо рабу первосвященника. Но Христос останавливает Петра и исцеляет раба (см.: Евангелие от Матфея, 26: 47—56; от Марка, 14: 47—49; от Луки, 22: 47—53; от Иоанна, 18: 2—12). Ср. в трактате «Царство Божие внут-

ри вас»: «Петр защищал не себя, но своего любимого и божественного учителя. И Христос прямо запретил ему это, сказав, что поднявший меч от меча погибнет» (ПСС. Т. 28. С. 29).

С. 129. *Все первые ученики Его... не воздают злом за зло.*— Имеются в виду двенадцать апостолов — в христианских преданиях ближайšie ученики Христа, составившие ядро христианской общины; имена их см. в синоптических Евангелиях (от Матфея, 10: 2—4; от Марка, 3: 16—19; от Луки, 6: 14—16) и в Деяниях апостолов (1: 13).

С. 130. *...кто исполнит и научит так, тот бóльшим наречется... те получают жизнь...*— См.: Евангелие от Матфея, 5: 19.

С. 131. *...непреренно исполняйте... в Царство Божие...*— См.: Евангелие от Матфея, 5: 20.

Иоанн, его евангелист, сказал: заповеди Его не тяжки...— цитата из Первого Соборного послания Иоанна (5: 3).

С. 132. *...все построено было на законе... зуб за зуб.*— См.: Исход, 21: 24; Евангелие от Матфея, 5: 38. Толкование заповеди «не противься злу злом» Толстой сопровождает в работе «Соединение и перевод четырех Евангелий» следующим примечанием: «...Христос говорил: Вам сказано «око за око» и т. д. Приводя слова «око за око и зуб за зуб», относящиеся к поврежденной женщине, Иисус, очевидно, говорит не об одном этом случае, но вообще о суде и наказаниях <...> Он говорит о старинных средствах защиты от зла <...> и вслед за тем говорит: «А я говорю: не боритесь со злом, или правильное — не защищайся от зла этим путем, а делай обратное» и показывает, какие это обратные действия» (ПСС. Т. 24. С. 237—238).

Церковные учителя... светские учителя...— Ср. развернутый ответ Толстого «духовным» и «светским» оппонентам в трактате «Царство Божие внутри вас» (ПСС. Т. 28. С. 25—39).

С. 133. *Положение о непротвлении... есть точно ключ, отпирающий все...*— Подробное обоснование этой мысли см. в трактате «Царство Божие внутри вас» (ПСС. Т. 28).

С. 133—134. *Я недавно с еврейским раввином читал V главу Матфея.*— Речь идет о московском раввине С. А. Миноре (Залкинде) (1826—1900).

С. 134. ...это есть в Талмуде...— Талмуд (евр.— учение, изъяснение) — основной памятник раввинской письменности, содержащий кроме религиозно-правовых норм все созданное еврейскими учеными в области теософии, этики, поэзии, истории, экзегетики, естествознания, математики и медицины приблизительно от 300 г. до н. э. до 500 г. н. э.

С. 135. *Самуил* — в ветхозаветных преданиях великий пророк, последний из «судей Израилевых». Считается автором «Книги судеб» и «Книги Руфи», а также Первой и Второй Книг Царств. См. также: Бердяев Н. А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого // О религии Л. Толстого. Сборник второй. М., 1912. С. 172—195.

...и кто накормит голодного?..— См.: Евангелие от Луки, 15: 13—23, 32.

С. 138. ...может быть плохо... гонимым и плачущим...— См.: Евангелие от Матфея, 5: 11.

Я буду смеяться и веселиться...— См.: Евангелие от Луки, 17: 27—28.

С. 139. ...при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями...— Из представителей судебного мира в период работы над трактатом «В чем моя вера?» Толстой был близок с А. М. Кузминским (1843—1917) (мужем Т. А. Кузминской — сестры С. А. Толстой), занимавшим в то время должность прокурора в Кутаиси, а затем — в Тифлисе, и Н. В. Давыдовым (1848—1920), в то время — прокурором Тульского окружного суда.

С. 140. ...Христос... сталкивался... с судами Ирода, синедриона и первосвященников.— Имеются в виду Ирод Великий, в чье царствование родился Христос и по чьему приказу было совершено в Вифлесе избивание младенцев, и Ирод Антипа, правитель Галилеи. Синедрион — или Великий совет — Высший суд у евреев во главе с председательствующим первосвященником.

С. 141. При исполнении приговора суда над блудницей... Ученик станет такой же, как учитель.— См.: Евангелие от Матфея, 15: 14, 23: 16; от Марка, 8: 18; от Иоанна, 8: 3—11, 9: 39—41, 12: 40.

...указав притчей о слице...— Имеется в виду, по-видимому, следующее суждение Христа из Нагорной проповеди: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?..» (Евангелие от Матфея, 7: 3—5; от Луки, 6: 41—42).

...И если кто хочет высудить у тебя рубаху, отдай и кафтан.— См.: Евангелие от Матфея, 5: 40; от Луки, 6: 29.

С. 142. *Апостол Иаков* — один из двенадцати апостолов; автор Соборного послания в Новом Завете; по преданию, он слышал проповедь Иоанна Крестителя в пустыне и был одним из первых призван Христом к апостольству.

С. 145. *Читаю послания апостола Павла...*— См. примеч. к с. 118.

С. 146. *Афинагор* Афинский (II в.) — философ, церковный писатель.

Ориген (ок. 185—254) — знаменитый христианский богослов и философ, толкователь Священного писания. См. также примеч. к с. 206.

Вижу, что все христианство до Константина...— Речь идет о Константине I Великом (ок. 274—337) — римском императоре, провозгласившем христианство государственной религией; на месте древнегреческой колонии Византии он основал в 330 г. город Константинополь, ставший (вместо Рима) столицей империи. Ср. в трактате «Царство Божие внутри вас»: «...ко времени Константина все понимание учения свелось к резюме, утвержденным светской властью, — резюме споров, происходивших на соборе, — к Символу веры, в котором значится: верую в то-то, то-то и то-то и под конец — в единую, святую, соборную и апостольскую церковь, т. е. в непогрешимость тех лиц, которые называют себя церковью, так что все свелось к тому, что человек верит уже не Богу, не Христу, как они открылись ему, а тому, чему велит верить церковь» (ПСС. Т. 28. С. 45).

С. 147. *Говорится о том... что сами апостолы судили (Златоуст...)* — См. примеч. к с. 118. См. также трактат «Царство Божие внутри вас» (ПСС. Т. 28. С. 27).

Феофилакт Болгарский (ум. после 1085) — архиепископ

Охриды (в нынешней Македонии), автор толкования на Священное писание.

С. 148. ...*писателей тюбингенской школы*...— Имеется в виду направление в немецкой протестантской теологии, развивавшееся в университете г. Тюбингена в последней четверти XVIII в.

...*школы исторической*.— К «исторической школе» в философии и истории Толстой относил Д. Штрауса и Э. Ренана (см. примеч. к с. 154), в работах которых Христос рассматривался как историческое лицо.

С. 148—149. ...*в послании Иакова*....— См. примеч. к с. 142.

С. 149. ...*в Вульгате*...— Вульгата (Vulgata Versio) — латинский перевод Священного писания, принадлежащий блаженному Иерониму, в разное время дополненный и исправленный; впервые издан под заглавием «Biblia sacra vulgatae editionis» в Риме в 1590 г.

Лютер Мартин (1483—1546) — немецкий мыслитель и общественный деятель, глава Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма (лютеранства). Лютер стремился заменить авторитет церкви авторитетом Библии; отвергал исключительное право папы на толкование Священного писания; им сделан перевод Библии на немецкий язык, составлены катехизисы протестантской догматики.

С. 150. ...*от казней Чингис-хана*...— Чингисхан (Темучин, ок. 1155—1227) — создатель монгольской империи, завоеватель Северного Китая, Афганистана, Персии, в своих походах дошедший до Кавказа и Южной России; отличался жестокостью.

...*и казней революции*...— Имеется в виду Великая французская революция, ключевое русло осмысления которой четко обозначено в постоянном обращении Толстого к проблеме расхождения между великими идеалами (Свобода, Равенство и Братство) и практической этикой (трибуналы, гильотины): «Революционные деятели объявляют права человека (<...>) и начинают топить и резать этих людей с их правами»; «Французская революция, то есть жесточайшие убийства, вытекающие из проповеди о равенстве»; «Решительно нельзя постигнуть, каким образом книга Contrat

Social сделала то, что французы резали друг друга» (ПСС. Т. 15. С. 218, 277, 278).

...до казней наших дней.— См. примеч. к с. 108.

С. 151. ...жило при нем по Моисею...— Моисей — законодатель и политический вождь еврейских племен. Исторические события, отраженные в легендах о Моисее, имели место во 2-й половине 2-го тысячелетия до н. э. (не ранее 1230). Десять заповедей (так называемый «декалог», или «десятословие» — от греч. *deca* — десять и *logos* — слово, учение), полученных Моисеем от Яхве, — нормы поведения, изложенные в Библии (см.: Исход, 20—23; Второзаконие, 12 и след.; ср. Евангелие от Матфея, 5: 21—48 и др.).

С. 152. ...переписка православного славянофила с христианином-революционером.— Имеется в виду переписка Ивана Сергеевича Аксакова (1823—1886) с Михаилом Александровичем Энгельгардтом (1861—1915). Переписка относится к ноябрю — декабрю 1882 г. (см.: Письма Толстого и к Толстому. М., 1928. С. 317—325).

С. 154. ...свободные толкователи учения Христа... Штраусы...— Речь идет о Штраусе-Давиде Фридрихе (1808—1874) — немецком теологе и философе. Не отвергая исторической реальности Иисуса Христа, Штраус подвергал критике достоверность евангельских преданий о его жизни и деятельности и совершенных им чудесах, применял к истолкованию евангельских рассказов мифологический метод. Толстой был хорошо знаком с работами Штрауса «Жизнь Иисуса» (1835—1836) и «Старая и новая вера» (1872).

Ренаны.— Речь идет о Ренане Жозефе Эрнесте (1823—1892) — французском философе, писателе, историке религии, авторе книги «Жизнь Иисуса» (Париж, 1863). Изображение Христа как исторически существовавшего проповедника сочетается в этой книге с устранением сверхъестественного из евангельских легенд. Прочтя «Жизнь Иисуса», Толстой писал Н. Н. Страхову 17—18 апреля 1878 г.: «Если у Ренана есть какие-нибудь свои мысли, то это две следующие 1) что Христос не знал l'évolution et le progrès (фр. — эволюции и прогресса), и в этом отношении Ренан старается поправлять его и с высоты этой мысли

критикует его <...> Это ужасно, для меня по крайней мере <...> Христианская истина — то есть наивысшее выражение абсолютного добра, есть выражение самой сущности — вне форм времени и др. — Ренаны же смешивают ее выражение абсолютное с выражением ее в истории и сводят ее на временное проявление и тогда обсуждают <...> Другая новая у Ренана мысль это то, что если есть учение Христа, то был какой-нибудь человек, и этот человек непременно потел и ходил на час.— Для нас из христианства все человеческие уничижающие реалистические подробности исчезли потому же <...> почему все исчезает, что не вечно; осталось же вечное» (ПСС. Т. 62. С. 413—414). Книга Ренана с многочисленными пометами Толстого сохранилась в яснополянской библиотеке.

...есть мечтательное учение... мечтою «du charmant docteur», как говорит Ренан.— См. гл. VII, X, XVII и XVIII «Жизни Иисуса» Ренана. «Du charmant docteur» в переводе Е. В. Святловского — «обаятельный моралист» (см.: Ренан Э. Жизнь Иисуса. СПб., 1906. С. 89).

...о птицах небесных, о подставлении щеки и заботе только о нынешнем дне.— См.: Евангелие от Матфея, 5: 39, 6: 11, 26, 34.

С. 155. *...альказаров...*— Алькасар (исп. alcázar) — крепость, замок, королевский дворец.

Иоанн Креститель, или Предтеча — предшественник и предвестник Иисуса Христа. На нем заканчивается эра Ветхого Завета и начинается вера Нового Завета. После искуса в пустыне крестил людей на Иордане, в том числе Иисуса Христа, признав в нем мессию. См. также главу «Разъяснение Иисусом значения Иоанна» в трактате «Соединение и перевод четырех Евангелий» (ПСС. Т. 24. С. 149—196).

С. 156. *...я разрушу ваш храм и в три дня построю новый.*— См.: Евангелие от Марка, 14: 58; от Иоанна, 2: 19—21.

С. 159. *Бог сошел на землю... искупил грех Адама...*— См.: Послание ап. Павла к Римлянам, 5: 12—21.

С. 160. *Илья Пророк... ветерок пахнул с освеженных полей.*— См. Третью и Четвертую книги Царств (3 Царств, 17—20; 4 Царств, 1—3).

...как закон Галилея...— Галилей Галилео (1564—1642) — итальянский физик, астроном, математик и мыслитель; его научные открытия имели решающее значение для победы гелиоцентрической системы мира.

С. 162. *В Евангелиях я встретил слова... которая отрицала первую.*— См. примеч. к с. 132.

С. 164. *Фарисеи* (др.-евр.— обособленные, отделенные) — религиозная секта, считавшая себя хранительницей всех истинных религиозно-национальных традиций иудейского народа. Нравственное учение фарисеев отличалось узким формализмом, а религиозность — обрядностью чисто внешнего характера. Нравственный облик фарисеев представлялся в невыгодном для них свете не только в Евангелии, но и в Талмуде.

С. 165. *...в Тишендорфовском...*— Тишендорф Константин (1815—1874) — протестантский богослов. Результатом трудов Тишендорфа над текстом семидесяти толковников явилось его издание Нового Завета в Лейпциге в 1850 г. В 1880 г. вышло очередное издание этого труда (Novum Testamentum Graece. Recensuit inque usum academicum omni modo instruxit Constant de Tischendorf. Editio academica undecima. Ad ed. VIII. Criticam majorem conformata. Cum tabula duplici terrae sanctae. London — New-York). Именно в 1880 г., в период работы над «Соединением и переводом четырех Евангелий», Толстой получает от Н. Н. Страхова труд Тишендорфа (см.: ПСС. Т. 63. С. 21).

...списках, не принятых церковью...— то есть признанных апокрифическими.

С. 167. — *Исаия* — ветхозаветный пророк; ему приписывается авторство особой Книги в Ветхом Завете.

Ездра — лицо священнического сана; ему приписывается авторство трех Книг в Ветхом Завете.

С. 168. *...я не нарушить пришел закон... а все должно исполниться...*— См.: Евангелие от Матфея, 5: 17—18.

С. 169. *...среди еврейского народа... один закон...*— См. примеч. к с. 151.

С. 170. *Саддукеи тоже секта.*— По преимуществу секта политическая, партия саддукеев охватывала представителей правящей иудейской аристократии. Саддукеи были противниками фарисеев (см. примеч. к с. 164). Они признавали

только писанный закон и отвергали предание, стремились лишь к сохранению господствующего положения в стране. Едины с фарисеями были в одном — в ненависти и вражде ко Христу.

...я не праведных пришел призывать... но грешных. — См.: Евангелие от Матфея, 9: 12; от Марка, 2: 17; от Луки, 5: 31—32.

Неужели один Никодим? — Никодим — праведный человек из фарисеев. По евангельскому преданию, он пришел к Христу, чтобы узнать, какое же может быть Царство Божие без Бога еврейского, почитавшегося в храме (см.: Евангелие от Иоанна, 3: 1—21, 7: 50—52, 19: 39—42). Комментируя этот сюжет в работе «Соединение и перевод четырех Евангелий», Толстой писал: «Беседа с Никодимом есть полное изложение всех основ учения Иисуса о Царстве Бога на земле. Беседа эта есть объяснение того, что есть человек, что есть Бог, и что есть жизнь, и что есть Царство Бога. Беседа эта есть, с одной стороны, развитие главных мыслей, выраженных в искушении в пустыне, с другой стороны, изложение от имени Иисуса тех самых основ учения, которые выражены от имени евангелиста Иоанна в вступлении» (ПСС. Т. 24. С. 169).

С. 172. *Св. Иринея...* — Иринея (ок. 130—ок. 202) — отец церкви. Сочинения Иринея имеют особенный авторитет в христианской истории.

...нельзя вливать вино новое в мехи старые. — См.: Евангелие от Матфея, 9: 17; от Марка, 2: 22; от Луки, 5: 37—38.

С. 173—174. *«Далее, испытывая древний закон... каким ты его называешь».* — См.: Иоанн Златоуст. Беседы на разные места Священного писания. СПб., 1861. Т. I. С. 320, 321.

С. 174—175. *«Положим, что весь закон... человеколюбивее сего?»* — Там же. С. 322.

С. 175. *«Теперь приложи сии примеры... по всему городу».* — Там же. С. 323.

С. 176. *...наложенными на него левитами...* — Левиты — название особого класса священнослужителей в системе древнееврейского культа; на них лежали низшие обязанности священнослужения. Левит — название третьей ветхозаветной Книги в составе Пятикнижия Моисея.

С. 178. *Второзаконие* — название Пятой Книги Моисея (данное ей греческими переводчиками Библии), поскольку она представляет собою как бы «повторение законов», изложенных в предшествующих ей книгах.

Левит — название Третьей Книги Моисея.

С. 180. ...*гневатся на Малха*... — Малх — имя раба, которому Петр, пытаясь защитить Христа, отсек ухо (см.: Евангелие от Иоанна, 18: 10). См. также примеч. к с. 129.

С. 182. ...*не жертвы хочу, но милости*... — См.: Евангелие от Матфея, 9: 13, 12: 7.

С. 183. *Справляюсь по Гризбаху*... — Гризбах Иоганн Якоб (1745—1812) — немецкий богослов, исследователь библейских текстов. В мае 1880 г. в разгар работы над «Соединением и переводом четырех Евангелий» Толстой получил от Н. Н. Страхова книгу Гризбаха «*Novum Testamentum Graece. Textum ad fidem codicum versionum et patrum recensuit et lectionis varietatem adjecit D. Jo. Jac. Griesbach*». В книге — критически проверенный греческий текст Евангелий и других писаний Нового Завета со сводом разночтений отдельных мест, встречающихся в древнейших списках и в цитатах из неизвестных списков у отцов церкви.

С. 186. *Иоанн Златоуст*. — См.: Иоанн Златоуст. Беседы на разные места Священного писания. Т. I. С. 365.

...*ученые богословы-критики, как Reuss*... — Рейс Эдуард (1804—1891) — протестантский богослов, профессор страсбургского университета, автор семнадцатитомного труда «*La Bible. Traduction nouvelle avec introduction et commentaires*» (1875—1881). В работе «Соединение и перевод четырех Евангелий» Толстой пользуется этим трудом при расположении материала, но в то же время, часто цитируя, критикует объяснения евангельских текстов, даваемые Рейсом — представителем Тюбингенской школы богословов (см. примеч. к с. 148).

С. 193. ...*Иоанна Грозного*... — Церковь порицала разводы московских великих князей, хотя вынуждена была давать на них согласие (например, развод Василия III с Соломонидой Сабуровой). Что касается Ивана Васильевича Грозного — перед его четвертым браком церковь публично выразила порицание царю (поскольку больше трех браков православ-

ным мирянам не разрешалось), однако склонилась перед тираном.

С. 194. ...на слова первосвященника... отвечал: ты сказал... — См.: Евангелие от Матфея, 26: 63—64.

С. 195. ...во Франции, где отрицается христианство... — См.: примеч. к с. 32.

Эпиктет (ок. 50 — ок. 140) — греческий философ-стоик. Осмысление Толстым нравственного учения стоиков происходит преимущественно в 80-е годы. Характерно его признание в письме к Н. Н. Ге (декабрь 1886 г.): «Эпиктет не мешает Христу, но не заменяет Христа. Только через Христа и поймешь Эпиктета. Со мной это так было. Я читал Эпиктета и ничего не нашел. А после Христа понял всю его, Эпиктета, глубину и силу» (ПСС. Т. 63. С. 427—428). В издательстве «Посредник» вышла книга: «Римский мудрец Эпиктет. Его жизнь и учение» (М., 1889).

Сенека Луций Анней (ок. 5 до н. э.—65 н. э.) — римский философ, писатель и государственный деятель, автор книги «Нравственные письма к Луцилию», хорошо известной Толстому.

...в законах Ману... — Законы Ману — известные в индийской литературе под именем Менаведкармашаистра (законник Ману) — скорее собрание обычаев и верований, чем систематический кодекс, построенный по известному плану. Индийское предание относит их к первому прародителю человечества.

С. 198. «Само собой разумеется... возлагается на начальство»... — цитата из 1-го трехтомного труда архимандрита Михаила «Толкование Евангелия» (М., 1870).

С. 199. ...это говорит Ренан, Штраус... — См. примеч. к с. 154.

С. 200. Мытари — то есть сборщики податей.

С. 202. ...притчей о самарянине. — См.: Евангелие от Луки, 10: 25—37.

С. 206. Вот что говорит, например, Ориген в своем ответе Цельсию (глава 63). — Цельс (II в.) — философ-эkleктик, эпикуреец, автор работы «Истинное слово» («*Sermo verus*»), написанной около 150 г. Нападая на основы христианства, пытался доказать опасность христианского общества для всех общественных и политических учреждений. Ориген

(см. примеч. к с. 146) написал восемь книг «Против Цельза» («Contra Celsum»). См.: Лебедев Н. Сочинение Оригена против Цельза. М., 1878.

С. 207. ...*один крестьянин... от военной службы.*— Речь идет об Иване Васильевиче Сютяеве (ум. 1928), который за отказ от военной службы просидел несколько лет в разных тюрьмах, в том числе и в Шлиссельбургской крепости.

С. 210. ...*Христос придет в свой срок... независимо от нашей жизни.*— В Евангелии и Апокалипсисе говорится о грядущем пришествии Христа, втором пришествии (см.: Евангелие от Матфея, 24: 30; Откровение Иоанна Богослова, 12: 7—11, 17: 14, 19: 19—21, 20: 1—3).

С. 211. ...*в беседе с Никодимом...*— См. примеч. к с. 170.

Иоанн Креститель... говорит, что приблизилось Царство Бога...— См.: Евангелие от Матфея, 3: 2, 11. См. также примеч. к с. 155.

С. 212. ...*Христос предвидит соблазны мира...*— См.: Евангелие от Матфея, 18: 6, 7; главы «Соблазны», «Борьба с соблазном» в «Соединении и переводе четырех Евангелий» (ПСС. Т. 24. С. 571—649); трактат «Христианское учение» (1894—1896).

Перекуют люди мечи на орала и копья на серпы.— См.: Книга пророка Исаии, 2: 4.

С. 215. *Я в темноте избил руки и колена, отыскивая дверь... лучше пройти в дверь...*— Мотив открытия «двери жизни» — один из основных мотивов метафорической символики Евангелия. Комментируя притчи о пастыре и овцах и о десяти мудрых девах в «Соединении и переводе четырех Евангелий», Толстой подчеркивал: «...для жизни людей есть выход, этот выход есть разумение <...> Не рассуждать нужно о том, кто и как спасется, а нужно работать, биться, силою входить в двери <...> Было время входить — не вошел, дверь затворилась» (ПСС. Т. 24. С. 483, 557). См. также раздел «Иисус — дверь жизни» в этом трактате (Там же. С. 477—481). В работе «О жизни» (1886—1887) мироотношение, основанное на ложных представлениях о добродетели, сравнивается Толстым с «давкой обезумевшей толпы у дверей жизни» (Там же. Т. 26. С. 338). Объясняя неустанность своей проповеди идеи непротivления в конце жизни, Толстой писал: «...что же делать человеку, который видит, что

толпа, давя, губя друг друга, валит и напирает на неразрушимую дверь, надеясь отворить ее наружу, когда он знает, что дверь отворяется только внутрь» (Там же. Т. 37. С. 54).

С. 219. *...борьба между стремлением к жизни животной и жизни разумной... сущность жизни каждого...*— Подробнее см. об этом в трактатах «О жизни» и «Царство Божие внутри вас».

...это есть прелесть или гордость.— Духовная прелесть — грех, коренящийся не в недостатке веры, религиозности, церковности, а напротив — в ложном ощущении избытка личных духовных дарований.

С. 222. *...гегельянство и его дети...*— Гегельянство — философское течение, исходившее из учения Гегеля и развивавшее его идеи.

С. 223. *Спиритизм с его учеными последователями...*— Спиритизм (медиумизм) получил распространение в России с начала 1870-х гг. Его пропагандистами были Н. П. Вагнер, А. Н. Аксаков, А. М. Бутлеров.

С. 224. *Конфуцианство* — древнекитайская философская школа, затем самое влиятельное философско-религиозное течение; основано Конфуцием (см. примеч. к с. 226).

Буддизм.— См. примеч. к с. 65—66.

Сократ.— См. примеч. к с. 61.

Стоики... основой истинной жизни.— Имеются в виду этические воззрения Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия (см. примеч. к с. 195, 226).

...бороться с мельницами...— мотив, восходящий к «Дон Кихоту» (1605—1615) Сервантеса.

С. 226. *Конфуций* (551—479 до н. э.) — древнекитайский философ, основатель конфуцианства. Отрывок под строкой — из его книги «Великая наука». Ср.: «Великая наука, или мудрость жизни, состоит в том, чтобы раскрыть и поднять светлое начало разума, которое мы все получили с неба; она состоит в том, чтобы обновить людей, в том, чтобы научить людей свое высшее назначение полагать в совершенстве, иначе сказать, в высшем благе» (Буланже П. А. Жизнь и учение Конфуция. М., 1903. С. 103).

Марк Аврелий Антонин (121—180) — римский философ-стоик, император. Отрывок под строкой — из пятой главы

(§ 21) его книги «Размышления». Ср.: «Из всего, что есть в мире, что сильнее, а это то, что всем распоряжается и всем ведает. Точно так же из всего, что в тебе, что сильнее — оно как раз однородное первому. Ибо и в тебе это то, что распоряжается другими, и твоя жизнь им управляется» (Марк Аврелий. Размышления. Пер. А. К. Гаврилова. М., 1985. С. 27).

...Эпиктет...— См. примеч. к с. 195. Приводимого Толстым изречения в афоризмах Эпиктета не обнаружено.

С. 227. ...по догмату искупления...— Речь идет об искуплении Иисусом Христом вины рода человеческого, нарушившего первоначальный завет с Богом через грех прародителей.

С. 233. ...и целым рядом проповедей и притч показывает... отрекшись от призрака жизни...— См.: Евангелие от Матфея, 19: 17—21; от Марка, 10: 17—18, 25—27; от Луки, 12: 15—21, 33, 14: 15—24, 16: 14—31 и др.

Соломон.— См. примеч. к с. 61.

Можно, по выражению Паскаля... к которой мы все бежим...— Паскаль Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик. Толстой вспоминает следующее суждение Паскаля: «Мы беспечно устремляемся к пропасти, заслонив глаза чем попало, чтобы не видеть, куда бежим». (Франсуа Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жанде Лабрюйер. Характеры. Пер. Э. Линецкой. М., 1974. С. 150).

...жизнь... есть насмешка...— См. примеч. к с. 47.

С. 234. ...Прежде всего покайтесь... одумайтесь...— См.: Евангелие от Матфея, 3: 2, 8, 10.

...«одумайтесь, а то все погибнете».— См.: Евангелие от Марка, 1: 15.

...сгоревшие в бердичевском цирке...— Пожар бердичевского цирка произошел 1 января 1883 г., в огне погибло около 300 человек (см.: Голос. 1883. № 6).

...погибшие на кукуевской насыпи...— 30 июня 1882 г. на Московско-Курской железной дороге близ деревни Кукуевка произошла катастрофа: в ночь на 30-е — страшный ливень размыл железнодорожную насыпь. Погибло 50 человек (см.: Московские вед. 1882. № 208).

С. 235. ...*Пилат*...— См. примеч. к с. 270.

С. 237. *Притча о девах... Страшный суд*...— См.: Евангелие от Матфея, 24: 30, 25: 1—13; Откровение Иоанна Богослова, 12: 7—11, 17: 14, 19: 19—21, 20: 1—3.

С. 245. ...*говорится о Ионе во чреве китовом*...— См.: Евангелие от Матфея, 12: 39—42, 16: 4; от Луки, 11: 29—32. Иона — пятый из двенадцати малых пророков, посланный в Ниневию (столицу Ассирийского царства) проповедовать смирение и покаяние. Но от этого посланничества Иона хотел бежать. Во время бури, избалованный мореходами и выброшенный в море, был проглочен китом. Пробыв во чреве китовом три дня и три ночи, был извержен китом на берег и отправился в Ниневию. Проповедь Ионы имела полный успех (см.: Книга пророка Ионы, 1—4).

...*о восстановлении храма*...— См. примеч. к с. 156.

С. 247. *Тиле Корнелий Петр* (1830—?) — нидерландский богослов, профессор Лейденского университета.

Макс Мюллер (1823—1900) — санскритолог и историк религий. С его книгой «Исследование истории религий» («Essai sur l'histoire des religions»), вышедшей в Париже в 1872 г., Толстой знакомится в 1875 г.

...*апокрифического Даниила*...— Даниил — ветхозаветный пророк. Подлинность Книги пророка Даниила неоднократно подвергалась сомнению.

С. 248. ...*завет с Богом*...— См. примеч. к с. 32.

С. 253. ...*Я есмь путь, жизнь и истина*...— См.: Евангелие от Иоанна, 14: 6.

С. 255. ...*все жмутся и душат друг друга, напирая на дверь*...— См. примеч. к с. 215.

С. 256. ...*я огонь низвел на землю... пока не спасутся люди*.— См.: Евангелие от Луки, 12: 49—50.

С. 258. ...*притчи: о женщине, нашедшей полушку... о блудном сыне*.— См.: Евангелие от Луки, 14: 12, 16, 15: 11—32; от Иоанна, 10: 11—18.

С. 262. ...*в исполнении воли Бога, как понимал это Авраам*...— Авраам — ветхозаветный патриарх, родоначальник еврейского народа. Трагическая кульминация пути Авраама как «друга Божьего» — испытание его веры: по требованию Бога он должен принести в жертву своего сына

Исаака, единственную надежду на продолжение рода. Авраам повинуется, и в последний момент ангел останавливает жертвоприношение.

С. 269. *Нашелся человек христианин, который сказал credo, quia absurdum...*— Имеется в виду Тертулиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220) — христианский богослов и писатель.

...в теозофическом учении...— Теософическое учение — мистическое богопознание; в отличие от теологии (системы знаний о Божестве, основанной на откровении и догматах), теософия опирается на непосредственные данные мистического восприятия, которому придается форма законченной и связной системы.

С. 270. *...чьи дела были злы...*— См.: Евангелие от Иоанна, 3: 19, 20.

...отвечали себе словами Пилата: что есть истина? — См.: Евангелие от Иоанна, 18: 38. Пилат Понтий (или Понтийский) — римский прокуратор в Иудее в 26—36 гг., давший согласие на казнь Иисуса Христа.

Эти слова... иронию над одним римлянином...— Имеется в виду Сократ (см. примеч. к с. 61) и его предсмертное обращение к своим обвинителям. См. извлечение из «Апологии Сократа» Платона в «Круге чтения» (1904—1908) Толстого: «...меня, присужденного вами, постигнет смерть; вас же, присудивших меня, постигнет зло и позор, к которым вас приговаривает истина» (ПСС. Т. 41. С. 349). Извлечение из Платона Толстой предваряет следующим суждением: «С Сократом случилось то же, что потом случилось с Христом и с большинством пророков и учителей человечества. Сократ указывал людям открывшийся ему в его сознании разумный путь жизни и, указывая этот путь, не мог не отрицать тех ложных учений, на которых основывалась общественная жизнь того времени. И большинство афинян (...), чтобы избавиться от обличителя и разрушителя установленного порядка, предало Сократа суду, который должен был кончиться смертью приговоренного» (Там же. С. 348).

Учение о жизни... оно единое на потребу...— См.: Евангелие от Луки, 10: 41—42. См. также статью Толстого «Единое на потребу» (1905).

С. 273. *...подпал тому же искушению... в силе духа, вернулся в Галилею...*— См.: Евангелие от Матфея, 4: 1—11; от Луки, 4: 1—13.

С. 276—277. *Все самые тяжелые минуты моей жизни... в которых я живу теперь...*— См. «Исповедь».

С. 279. *...Молоху...*— Молох — почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы; наименование самого ритуала жертвоприношения.

С. 284. *...кто хочет следовать мне... жизнь вечную.*— См.: Евангелие от Матфея, 10: 34—42.

С. 285. *...возьми крест и иди за мной...*— См.: Евангелие от Матфея, 10: 38, 16: 24; от Марка, 8: 34, 10: 21; от Луки, 9: 23, 14: 27.

Турки жарят их... разрывают внутренности.— См. примеч. к с. 108.

С. 286. *...не замучили бы в Севастополе и Плевне.*— См. примеч. к с. 36 и 108.

С. 288. *Христос призывает людей к ключу воды... воды живой...*— См.: Евангелие от Иоанна, 4: 10—15, 7: 37—39. Ср. Откровение Иоанна Богослова, 7: 16—17, 21: 6, 22: 17.

С. 290. *Французы вооружаются... в 70-м году...*— 19 июля 1870 г. Франция объявила войну Пруссии. Война кончилась поражением Франции, которая по Франкфуртскому миру, заключенному 19 мая 1871 г., должна была уступить Пруссии Эльзас — Лотарингию и уплатить 5 миллионов франков контрибуции.

С. 291. *...как того расслабленного, который не жил 38 лет, а дожидался ангела у купели.*— См.: Евангелие от Матфея, 8: 6, 9: 2, 6; от Марка, 2: 3—5, 9, 10; от Луки, 5: 18, 24.

С. 294. *Сын человеческий... в выкуп за многих.*— См.: Евангелие от Матфея, 20: 28; от Марка, 10: 45.

С. 297. *Учение Христа о труде... и пятью хлебами.*— См.: Евангелие от Матфея, 15: 33—36, 16: 5—12; от Марка, 6: 37—44; от Луки, 24: 30—31; от Иоанна, 6: 5, 7, 21: 5—13.

...как научил их Христос на берегу моря.— Имеется в виду Нагорная проповедь, произнесенная Христом недалеко от озера Галилейского, которое называли морем.

С. 302. ...*тропари*...— Тропарь — один из видов церковного песнопения в честь какого-либо православного праздника или святого.

...в *катехизисе Петра Могила*...— Петр Могила (1596—1647) — Киевский митрополит и духовный писатель; его катехизис для православных христиан был издан в 1662 г., после смерти автора.

...в *катехизисах Платона*...— Речь идет о Платоне (П. Левшин, 1737—1812) — митрополите Московском, проповеднике и православном писателе. В его катехизисе о войне и смертной казни говорится: «Судии, кои повинного предают на смерть, так же и воины, которые, защищая отечество, убивают неприятелей, заповеди сия преступниками назваться не могут. Ибо через то они самому Богу и правосудию его по знанию своему служат» (Платон, митрополит. Православное учение, или Сокращенная христианская богословия. М., 1819. С. 190).

...в *катехизисе Белякова*...— Имеется в виду И. Беляков. Сведений о нем обнаружить не удалось.

Филарет (В. М. Дроздов, 1783—1867) — митрополит Московский, автор труда «Пространный христианский катехизис православной Восточной церкви», служившего учебником Закона Божия во всех школах.

С. 304. ...*тех детей, которых Христос... единого из малых сих*.— См.: Евангелие от Матфея, 18: 2—6; от Марка, 9: 36—37, 42, 10: 13—16; от Луки, 9: 47—48, 17: 2, 18: 15—17.

С. 305—306. «*Горе вам... клевета на Святой Дух*».— См.: Евангелие от Матфея, 23: 13—39.

С. 307. *Люди эти, садящиеся, по выражению Христа, на седалище Моисея*...— См.: Евангелие от Матфея, 23: 2.

...с *проповеди Павла... метафизически-каббалистическую теорию*...— См. примеч. к с. 53, 118. Каббала (др.-евр., буквально — предание) — мистическое течение в иудаизме.

...во *время Константина*...— См. примеч. к с. 146.

С. 309. ...*исповедуют даже глухую исповедью*...— Речь идет о предсмертной исповеди, когда исповедуют умирающего человека, который не в состоянии исповедоваться.

С. 309—310. ...*запрещающая переводы Библии*...— Первый

русский перевод Библии был подготовлен Библейским обществом под покровительством Александра I и министра народного просвещения и духовных дел князя А. Н. Голицына в конце 1810-х — начале 1820-х гг. Это предприятие встретило сильную оппозицию, которая полагала, что простой народ не должен читать Библию на понятном ему языке, так как из этого произойдут ереси и расколы. Оппозиция победила: в 1824 г. отпечатанный тираж русского «Пятокнижия» был сожжен в печах кирпичного завода Александро-Невской Лавры. Россия получила Библию на современном русском языке только после великих реформ Александра II, в 1876 г.

С. 310. *...через так называемых сектантов...*— Сектанты — последователи религиозных учений, отличных от принятого церковью.

С. 312. *Люди плыли... а кормщик правил.*— См.: Деяния, 27: 11; Послание Иакова, 3: 4; Откровение Иоанна Богослова, 18: 17.

С. 314. *Иудей жил... строил храм...*— Имеется в виду храм Соломона, который в течение семи лет строили десятки тысяч людей (см.: Третья Книга Царств, 5: 3, 6).

С. 317. *Тиле.*— См. примеч. к с. 247.

Спенсер.— Имеется в виду Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.

С. 325. *Свет светит, и тьма не обнимает его.*— См.: Евангелие от Иоанна, 1: 5.

С. 332. *...что высоко перед людьми... блаженны нищие и униженные.*— См.: Евангелие от Матфея, 5: 2—19.

С. 334. *...Бог сотворил вначале человека... так чтобы два были одно...*— См.: Евангелие от Матфея, 19: 4—6; от Марка, 10: 8.

С. 336. *...все, что сверх простого утверждения или отрицания... есть зло.*— См.: Евангелие от Матфея, 5: 37.

С. 340. *...знание истины есть талант...*— См.: Евангелие от Матфея, 25: 15—29. См. примечание Толстого к притче о наследстве (талантах) в «Соединении и переводе четырех Евангелий» (ПСС. Т. 24. С. 323—327).

С. 340—341. *Я верю... должен передать истину.*— См. примеч. к с. 245.

С. 341. *...когда возвысите сына человеческого, все привлечется ко мне...*— См.: Евангелие от Иоанна, 12: 32.

С. 342. *Миклухо-Маклай поселился... делал добро.*— Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1898) — путешественник и естествоиспытатель. Толстой имеет в виду его пребывание в Новой Гвинее: высадившись в 1871 г. со слугой-шведом и одним полинезийцем, Миклухо-Маклай прожил там до 1872 г.; в 1876 г. он возвратился в Новую Гвинею и оставался там до 1878 г., занимаясь, кроме исследовательской работы, лечением туземцев-папуасов, сумев устранить их первоначальное недоверие и враждебность (письмо Толстого к Миклухо-Маклаю от 25 сент. 1886 г. и ответ последнего см.: ПСС. Т. 63. С. 378—384).

Г. Галаган

СОДЕРЖАНИЕ

Протоиерей А. Мень. «Богословие» Льва Толстого и христианство	5
ИСПОВЕДЬ (<i>Вступление к ненапечатанному сочинению</i>)	31
В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?	117
<i>А. Панченко.</i> Несколько страниц из истории русской души	346
Комментарии <i>Г. Галаган.</i>	361

Толстой Л.

Т53 **Исповедь. В чем моя вера? / Вступ. ст.**

А. Меня; Послесл. А. Панченко; Подгот.
текста, коммент. Г. Галаган.— Л.: Худож.
лит., 1990.— 416 с.

ISBN 5-280-1355-2

В книгу вошли религиозно-философские произведения Л. Н. Толстого 1880-х гг., до сих пор еще мало известные современному читателю, так как до революции были запрещены духовной цензурой, а впоследствии публиковались редко. Трактаты «Исповедь» (1879—1880) и «В чем моя вера?» (1882—1884) — страстное обращение писателя к совести, разуму и достоинству людей.

Т 4702010101-069 69-91
028(01)-91

ББК 84.Р1

**ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ**

ИСПОВЕДЬ

**В ЧЕМ МОЯ
ВЕРА?**

Редактор А. Ш е л а е в а
Художественный редактор В. Л у ж и н
Технический редактор М. Ш а ф р о в а
Корректоры А. Б о р и с е н к о в а, Г. Щ е г о л е в а

ИБ № 6069

Сдано в набор 12.07.90. Подписано в печать 06.06.91. Формат 70×100¹/₃₂. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9. Усл. кр.-отт. 34,21. Уч.-изд. л. 17,15. Тираж 70 000 экз. Изд. № Л1-273. Заказ 724. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

**В 1991 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

ВЫЙДЕТ КНИГА:

**Гоголь Н.
Выбранные места из переписки с друзьями**

«Выбранные места из переписки с друзьями» — философско-публицистическая проза, одно из позднейших произведений Н. В. Гоголя, вызвавшее при жизни писателя резко негативную реакцию со стороны демократически настроенной критики. Мучительные раздумья о нравственности, общественной этике, приближающейся смерти, размышления об исторической судьбе России — ключевые темы этой долгой, искренней и заслуживающей вдумчивого современного прочтения книги.

**В 1991 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

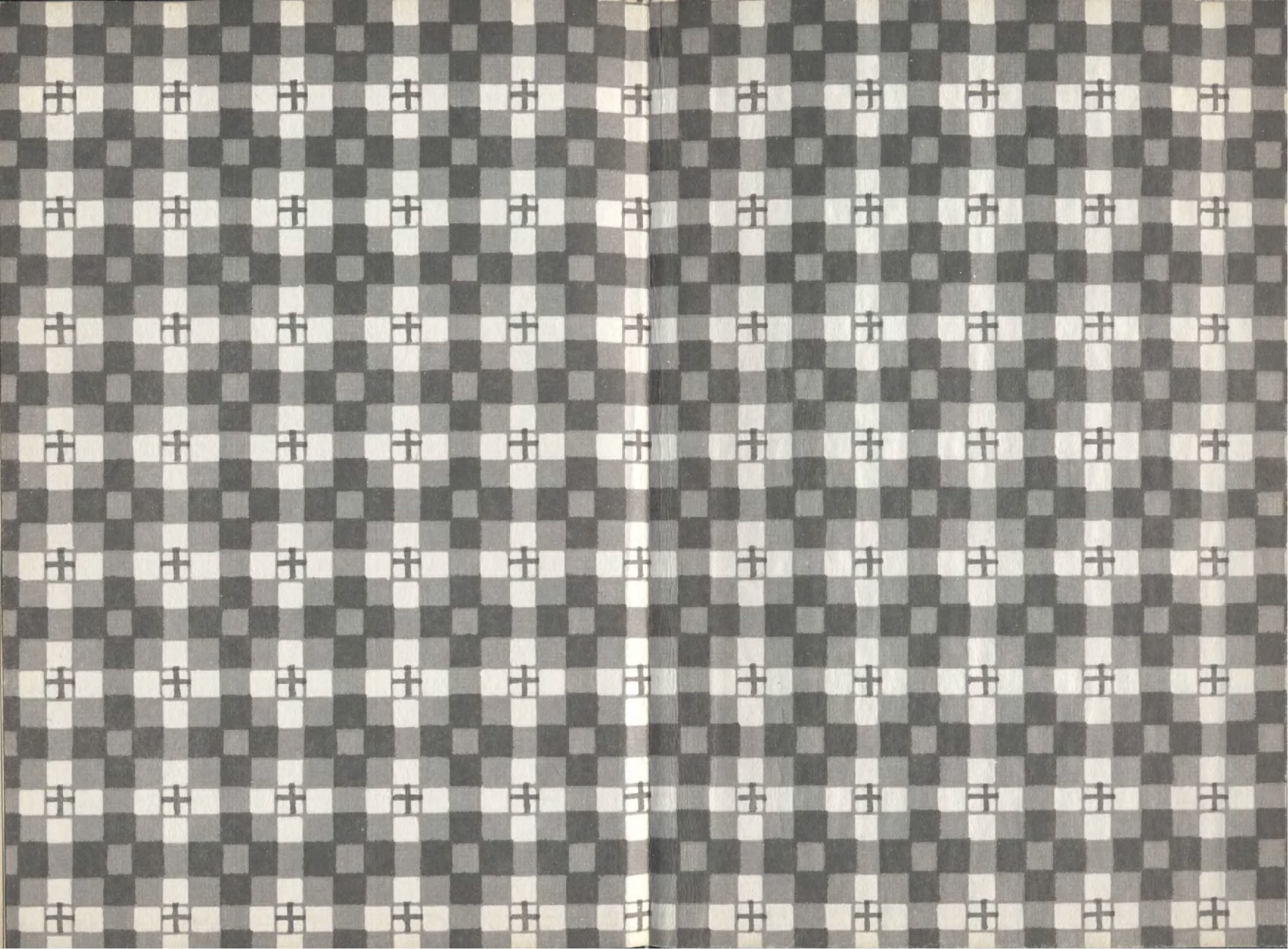
ВЫЙДЕТ КНИГА:

Переписка Н. С. Лескова. Сборник: В 2-х томах.

Мир убеждений Лескова, могучий общественный темперамент, широчайший круг знакомств, перипетии остро волновавшей его литературной борьбы — все эти разные стороны жизни замечательного художника приоткрываются в его обширной переписке. Она насыщена рассказами о творческих замыслах, отзывами о прочитанном, портретами современников.

Среди адресатов — писатели Лев Толстой и А. Суворин, иезуит И. С. Гагарин и либеральный журналист В. А. Гольцев, священник И. С. Беллюстин и царедворец С. Е. Кушелев, И. А. Гончаров, А. Ф. Писемский, И. С. Аксаков, И. Е. Репин, В. В. Стасов и другие.

Многие из писем публикуются впервые.



А.Н. ТОЛОТОВ

3 р.